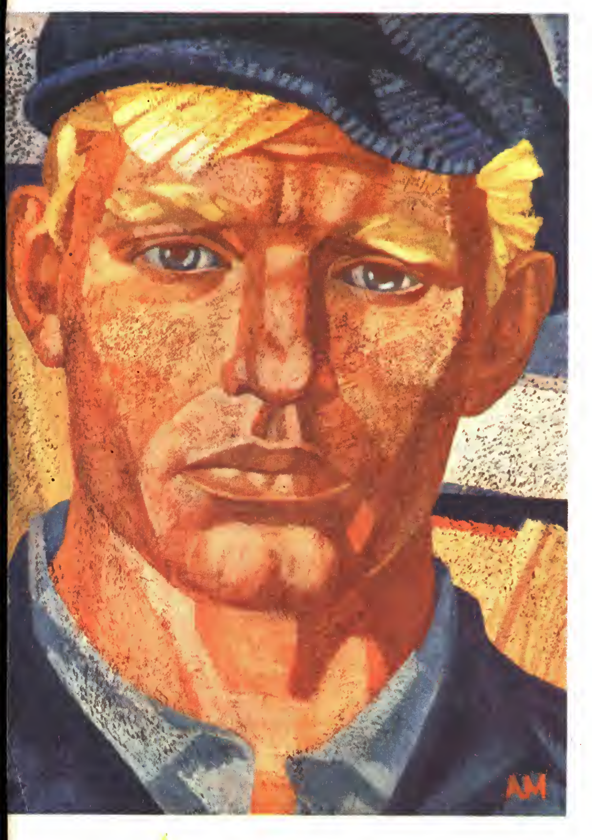


ЮНОСТЬ

4

1973



А. МОРДАНЬ. Хлебороб.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



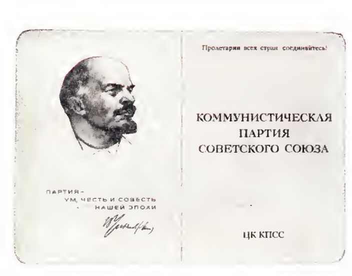
4 (215) АПРЕЛЬ 1973

Журнал основан в 1955 году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

ПАРТБИЛЕТ

№1





ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ
№ 00000001
Фамилия Ульянов (Ленин)
Имя Владимир
Отчество Ильич
Год рождения 1870
Время вступления в партию 1893
Наименование партийного органа, выдавшего билет Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
Дата выдачи 1 марта 1973 г.

УПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
19__ год

Месяц	Месячный заработок	Сумма взноса	Подпись секретаря
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			

✪

Вот партбилет.
В нем
Наша честь и сила.
Он озарен бессмертия огнем,
В дни мира и войны его носила
Моя Отчизна на сердце своем.

Страна растет.
В грядущее стремится.
И он — нетленный, чистый, как всегда,—
Раскрыл сегодня новые страницы.
Для правды,
для боренья,
для труда.
С него все так же время начинает
Своих часов стремительных отсчет,
И нас все тот же гений озаряет,
Все тот же свет волнует и влечет.
Чем больше этим светом величавым
Эпохи озаряются черты,
Тем в людях больше мужества и славы,
Отзывчивости,
дружбы,
красоты.

Леонид ВЫШЕСЛАВСКИЙ

✪

Весна... Мне кажется порой,
Что в это радостное время,
Что именно сейчас, весной
Всех знаний созревает семя,

Что все открытья на земле
Из будущего, из тумана
Весенний луч, сверкнув во мгле,
Как будто высветлил нежданно,
И смысл, который в них сокрыт,

Он сделал силою могучей,
Той, что людей вперед стремит
И направляет к жизни лучшей.
В апрельский светлый день удач
На землю к нам явился гений,
Чей мощный разум был горяч,
Как животворный луч весенний.

Мы, люди, следуя лучу,
По лестнице многоступенной
Стремимся вверх...
И я шепчу:
— Весна, о будь благословенна!

Давид КУГУЛЬТИНОВ

Перевела с калмыцкого
Ю. НЕЙМАН

Владимир Костров





Мать

Далекого времени дети,
пытаясь эпоху понять,
рассмотрят ли
в дыме столетий
простую рабочую мать!
И смогут ли с ясной и синей,
с прекрасной своей высоты
в чаду разглядеть керосинном
ее дорогие черты!
Над светлою детской постелью
припомнит ли кто наизусть
из песен ее колыбельных
протяжную долгую грусть!
Вот образ трагической силы!
Поймут ли потомки сполна,
как трудную славу России
под сердцем носила она!
Пусть в список ее поминальный
внесут от строки до строки
бесхлебие,
быт коммунальный,
бараков больших сквозняки.
На стройках простых
и особых
за всеми станками подряд
в скафандрах,
спецовках
и робах
бессмертные дети стоят.
Мы все этой женщины дети,
и нас никогда не сломать,
покуда живет на планете
простая рабочая мать.

Читая книгу друга

Я книгу прочитал твою.
Она
теперь надолго сердце не отпустит.
Пускай же поскорей
к тебе дойдет волна
моей признательности,
нежности
и грусти.
Живительные чувства
в наши дни
так часто пролетают мимо.
Спасибо за стихи твои. Они,
как все живое, часто уязвимы.
Не монолит гранитный, не утес,
не ведающий боли или страха.
Они живые, скажем, словно лес,
иль малый лягушонок,
или птаха.
Ты сочинял стихи,
а не стишки,
не строчки гнал,
а честно строил строки.
Посредственность сбивается в кружки,
таланты очень часто одиноки.
Я книгу прочитал твою.
Она
теперь надолго сердце не отпустит.
Пускай же поскорей
к тебе дойдет волна
моей признательности,
нежности
и грусти.

✪

Я уезжал надолго,
и я знаю
тоску святую по стране родной.
Но в нас еще живет
тоска по краю,
по полосе,
по области одной,
которую и в радости и в горе
вдруг ощутишь под самым сердцем
тут.
Так по горам своим
тоскует горец,
по тундре — ненец,
по тайге — якут.
Иной тоскует по рябинам тонким,
по кротким деревенькам у реки,
что ласково «родимою сторонкой»
назвали в своих песнях
ямщики.
Тепло душе от точной
русской речи.
Любой москвич припомнить
будет рад
Зарядье ли
или Замоскворечье,
Сокольники, Останкино, Арбат.

На буровой

Бурильщиков странные лица,
Печурка гудит на полу,
И добрая синяя птица
Сидит в самом темном углу.
Она залетела согреться
В убогое наше жилье.
Легонько касаются сердца
Бесшумные крылья ее.
На улице белые кони
Пасутся,
Снегами звеня,
А птицу никто не прогонит,
Никто не засветит огня.
Тень вышки за тонкою
дверью
Над лесом подлунным
И льдом,

А здесь доброта н доверье,
Рожденные общнм трудом.
Но тут, в теллом мнре вагонном,
Механнк нлн тракторнст
Поставнл на круг латефонный
Простой эбоннтовый днск.
И днск этот начал крутнться.
Игла задрожала, скользя.
Тогда наша сняя лтнца
Тнхонько открыла глаза.
В сверкнувшнх глазах отразнлось
Все то,
О чем каждый мечтал,—
В них море у лрнстанн билось,
Васнлнй Блаженный блнстал,
А больше всех девнчьн лнца...
Печурка гудит на лолу,
И добрая сняя лтнца
Снднт в самом темном углу.

✪

Я погаснл лечальный разум свой.
Я только сердцем говорнл с тобой.
Вновь в голове горнт тревожный свет.
Но грудь луста,
Как будто сердца нет.
Я лоннмаю, что себя гублю,
Но разумом однм тебя люблю,
Не как цветы, лесной ручей, траву...
Я не в мечтах жнву, а наяву.
Вот это сфера,
Это куб, квадрат...
Ах, может, все воротнтся назад,
В зеленых фосфорнческнх глазах
Зажжется вновь безумья мнлый знак.
Все ловторить, а там хоть умереть!
И не о чем мне было бы жалеть.

Леонид Мартынов



Дар воображения

Вы знаете,
Что значнт быть поэтом,
Но молодым еще н с этой целью
Печататься по маленькнм газетам
Без лодлнсн, летнтом, нонларелью,
Быть репортером — и на том спаснбо:
Ведь для стихов в газетах мало места! —
Олнсывать открытне Турксиба,
Стронтельство совхозов Зернотреста,
Не слать ночей, торчать на телеграфе...
Затем засесть без всякого зазнайства
За сформленье автобнографнн
Орденоносцев сельского хозяйства,
Не только лравя знакн прелнканья,
Но н цнтнруя постановленья...
...И редактнровать восломнканья
Улорного борца за становленье
Советской властн, будто бы лрн этом
Ты сам участннк каждого сраженья,—
Все лотому,
Что, будучн лоэтом,
Имеешь чудный
Дар воображенья.

✪

Чнтатели
Монх трудов,
На кннжных складах не лежащих,
Вы собиратели ллодов
В садах, нам всем лрннадлежащих,

Любнтелн монх стнхов,
Вы н лоныне остаетесь
Носнтелямн тех мехов,
Что с вамн я добыл, охотясь.

Умельцы виноград срывать,
Потребный на такне вина,
Которые я долнвать
Оставлю вам налоловнну,

Коль даже выллеснется хмель
В лорыве трезвостн нз чашн,
А все равно — еднна цель,
Едины улованья нашн!

Не так лн точно, как весной
Закат слнвается с рассветом
И с грозамн — июльскнй зной,
Мы — воедино в мнре этом,

Где уловает зверолов
В одно не слнться с лютым зверем,
А смутный бой колоколов
В одно слнвается
С безверьем!

Старинный театр

В этом
Старом
Северном театре,
В деревянном северном театре,
Чей фасад от ветра лобурел,
В балаганном северном театре,
Где на древе ллод запретный зрел,
В снежно-санном северном театре,
В ярмарочно-ряннчном театре,
Где Амур с колчаном, лолным стрел,
От голландской лечкн угорел,
Я бывал!
А вы бывали вряд лн
В том театре, что столетья за трн
До рожденья моего сгорел!

Демон

И под луной,
С крылами за спиной,
Похож немного на Лилиенталя,
Явился дух сомненья предо мной:
— В моем обличье многие летали!
Да!
Мильтон, Лермонтов, а вслед за тем
И Мадач с Врубелем, и помоложе
Их всех, но в свете тех же самых тем
И Маяковский в небе реял тоже!
А вот сейчас над миром этих крыш
Не признанный ни Бредбери, ни Лемом,
Паришь ты, демон, разве только лишь
Не серенькой обыденности демон!
Ты, воплощенья нового ища,
Раскрыл свои классические крылья,
От дуновенья нового смерча
Покрытые космической пылью.
Я вижу:
Их блистательный каркас
Семь тысяч лет назад не взят у бога,
Чтоб ведали потомки: и у нас
Воображенье не было убого!

Завет Верлена

Мне
На заре
Верлен приснился:
— Друг,
Чтобы сон твой объяснился,
Скажи им русским языком:
Поэзия — не что иное,
Как похожденье шальное,
Когда ты крадешься, объятый
Передрассветным ветерком,
Чтоб мяты аромат и тмина —
Ничто не пролетело мимо...
Все остальное — писанина!
Скажи им русским языком!

✪

Я на час-другой
Углублюсь в былое.
Хрустнет под ногой дерево гнилое, сучья,
буреломом.
Русь! Мое почтенье!
Сидя за столом,
Слышу шелестенье древних книг,
Теплом дышит печь и ленью.
Искрятся поленья,
Звездочки летят в воздухе морозном.
В мире стертых дат, там, где, бородат,
При Иване Грозном, грезил я крылом,
Чей каркас тугой, крытый в пестрядь ситца,
Мне помог бы взвиться,
не поджав копытца,
сатаны слугой,
А вольней, чем птица, как Икар нагой,
Ввысь на час-другой!

Лесные сказки

Они
Ржавеют,
Старые кровати...
Исчез матрац, но щурит глаз кровать
И раскрывает дряхлые объятья,
Чтоб что-нибудь негодное скрывать.
В лесной трущобе,
Где грибы поганки
В мерцании гнилушек по ночам,
В давно не обитаемой землянке,
И там кровать стоит, а не топчан.
Кто спит в ней!
Леший! Или же лесная
Кикимора, иль как ее там звать,
Об этом я доподлинно не знаю...
Но и вторая есть еще кровать.
Она — в пруду. Кто в пруд ее забросил!
Как будто никому не на беду,
Ни удочек не трогая, ни весел,
Она на дне покоилась в пруду.
И обнаружилась она случайно:
Нырять в пруду задумал кто-то, пьян,
И утонул. И вот открылась тайна,
Попал в кровать он, будто бы в капкан,
Застрял он головой в ее решетке,
И водолазов скорбные труды
Уж не могли помочь. Погиб от водки!
Вот до чего захламлены пруды.
Нигде нельзя купаться без опаски,
И пострашней коряг и всяких пней
Такие вещи! Вот лесные сказки,
Лесные были,
Были наших дней!

Ветви

Эти ветви,
Ветви голые,
Нависают с высоты,
Будто мокрые, тяжелые,
Сыромятные кнуты.
Будто бы,
Угрюмо заткнуты
За тугой кушак ночей,
Змеевидные висят кнуты
Наподобие бичей.
Виснут,
Чтоб с немым проклятием
Неприятелям грозить.
Но не надо быть мечтателем,
Чтоб себе вообразить,
Как среди
Весенней зелени
Вспыхнут добрые цветы
На ветвях,
Хоть и висели они,
Будто злобные
Кнуты!

Язык цветов

Иван-да-Марья,
То есть с Ваней Маня,
Забыв очарованье простоты,
Свои простонародные названья
Отвергли вы, надменные цветы.

И, к алебастровым склонившись урнам,
От мраморных фигур невдалеке,
Заговорили на литературном
Языке.

И, в нескончаемой своей гордыне,
Не слушая, что скажут соловьи,
Друг дружке вы сказали по-латыни
Научные названия свои.

Владимир Жилии





✪

Научно-фантастическнй сонет
мне залолночь лрисннлся. Вот в чем дело:
одна звезда обнять меня хотела,
но, не имея рук, лослала сает.

Он мчался ровно триста тысяч лет.
Моим столетьям не было лредела.
А луч летел — н все вокруг свнстело
и злобно улюлюкало вослед.

Потом отец мой лрнлоднял ллнту
и очень юный вышел из могилы,
н мы с ним обнялись что было силы
н, ахнуа, вдруг уандели заезду.

Она сказала: — Мальчнкн мои,
не время ллакать. Под Орлом бои.

✪

Заломннай места,
Приметы лрнмечай:
Березку у моста,
Поля, где нван-чай
И лютнкн
июль
Любоано рассаднл.
Заломннай места,
Где боснком броднл
По мягкому теллу
Обласканной землн,
Заломинай, лока
Снега не занеслн...

✪

Мы днкне каштаны собиралн...
Перед аойной, серьезна и мнла,
а лолулодвале, чуть лн не в сарае
та девочка старинная жнла.

Под сень древес, как нянечка, вела.
Еще другне детн там игралн.
Поодаль... я давно забыл детали,
но рядом эта девочка была.

Нн голоса не ломню, нн лнца,
но за руку она брала так нежно.
Я до сих лор светло н безнадежно
люблю каштанов смуглые сердца.

Каштаны, что с ней! Сожжена а лечах
нль к вам, как я, щекою льнет сейчас!

Евгений Гулидов





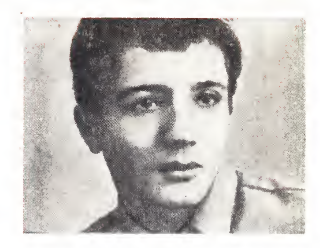
Казахстан

Из зарослей кугн
И камыша
Знак лодает неаедомая лтица.
Угас закат.
И старая Айша
Идет донть слелую кобылнцу.
Как день н год,
И десять лет назад,
Когда неслышно остыааютъ камнн,
Подобно струнам струи зазаенят,
И заколдуют лальцы лод соскамн.
Вдруг
Этот зов.
Его пришлет сюда
Тонюсенькое ржанье издалека.
И отразнтся дальняя звезда
В незрячем
Влажном лошаднном оке.

Стихи о море

Неожнданно обласканы судьбою,
Втайне радуясь тому,
Что без лотерь,
Мы нз шторма выходили, как нз боя,
Открывалн броннрованную дверь,
С нелрнаычкн ошарашенные малость
(Будто знать не зналн третнй год лодряд)
Тем, что лалуба лод намн не качалась,
Тем, что лиллерсы в объятья не слешат.
День-другой локой лрнятен,
Только асе же
Приедаться начннает роаность аод.
И на море вроде море не лохоже.
И грядущнй нас влечет уже лоход.





НИКОЛАЙ БЕРЕЗОВСКИЙ

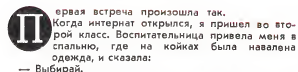


НАШ ИНТЕРНАТ

РАССКАЗЫ

Рисунки Владимира ЮДИНА.

I. Встречи



Первая встреча произошла так.

Когда интернат открылся, я пришел во второй класс. Воспитательница привела меня в спальню, где на койках была навалена одежда, и сказала:

— Выбирай.

Я долго выбирал, а выбрав и переодевшись, вышел из спальни в зал, где стоял бильярд и большое зеркало — трюмо. И первым, кого я встретил там, был Колька Радик.

Он подошел ко мне и, усмехаясь, спросил:

— Новенький?

— Да,— признался я.

— В морду хошь?

— Нет,— оробел я.

— Плохо,— сказал он.

— Почему? — спросил я, сам не зная зачем.

Он засмеялся, выставив мелкие колючие зубы.

— Потому что рыжий.

Я не понял:

— Кто?

— Ты.

Самое странное было в том, что он был рыжее меня, и я огрызнулся:

— Сам ты рыжий!

— Что?! — Он подступил ко мне вплотную.— Ты рыжий! Понял?

И я не выдержал. Ударил в сузившиеся зеленые глаза, как учил меня отец: прямо со всей силы в нос.

И мы схватились, упали на пол, забарахтались, а когда нас разняли, то невозможно было узнать, кто из нас кто: кровь из разбитых носов залепила лица, новая форма была в пятнах. Нас послали мыться, а потом наказали: заперли в одной комнате до обеда. Там мы и подружились.

Дружба наша была неровной: мы то ссорились, то мирились, но ни разу не обозвали друг друга «рыжим» и не дрались.

Закончив семь классов, Радик ушел из интерната и устроился на заводе учеником маляра. Иногда он, веселый, пахнущий олифой, приходил к нам и подолгу рассказывал, какой краской что можно красить и как надо красить...

После его ухода нам становилось грустно. Нас уже тянул тот мир, где жил Колька Радик.

2. Старый солдат

Самым теплым местом на территории интерната была кочегарка. Большую часть времени, особенно зимой, мы проводили в ней. Приходили после обеда, рассаживались, кто где мог, и смотрели, как кочегар дядя Иван работает.

Сначала он открывал дверцу печи и начинал шуровать в ней длинным скребком, потом, взяв лопа-

---

Автору двадцать второй год. Работал буровым рабочим, топографом, слесарем, плотником. В 1969 году сдал экстерном экзамены за среднюю школу. Сейчас живет и работает в Омске. Заочно учится на II курсе Литературного института имени Горького.

ту, швырял в огненное нутро уголь. Он ложился на пламя равномерно, ровным слоем, и пламя исчезало, струился сизый дым, но когда дядя Иван закрывал дверцу, мы видели в глазок, как через некоторое время уголь вспыхивал и горел с гудом и звоном.

Иногда дядя Иван разрешал подкидывать уголь и нам. Но у нас ничего не получалось: лопата ударялась о края отверстия, уголь рассыпался около печи, а тот, который все-таки попадал в печь, сбивался какими-то буграми и не хотел гореть.

Одно мы могли хорошо делать — вывозить тачку со шлаком.

Мы срывали ее с места, бегом вкатывали на доску, проложенную на улицу, так же бегом прогоняли по доске и, выкатив из кочегарки, остановившись враз у огромной смерзшейся кучи, опрокидывали тачку. Раздавался шип, взвивались тучи парной пыли...

А дядя Иван, сделав свое дело, удовлетворенно хмыкал и подмигивал нам.

И тогда мы просили его что-нибудь рассказать.

— Ну что я могу рассказать?

— Хоть что,— говорили мы.

— Ну, ладно,— соглашался он и, свернув самокрутку, закуривал.— Значит, дело было так...

...Стоял солдат на посту. Склад с боевыми припасами охранял. Темно. Ночь, черная ночь. И вдруг — шум. Человек появляется. Растерялся солдат. «Идешь?» — кричит. «Иду»,— отвечают. «Идешь?» — снова кричит. «Иду»,— снова отвечают. «Ну, больше не пойдешь!» — кричит солдат. И стреляет...

Дядя Иван делает последнюю затяжку, бросает окурок на цементный пол, давит его каблуком сапога.

— Убил? — не выдерживаем мы.

— Кого? — удивляется дядя Иван.

— Да шпиона?

— Какого шпиона?

— Да в которого солдат стрелял!..

— А-а,— улыбается дядя Иван.— Так то не шпион совсем был, а проверяющий.

— Зачем же солдат в него стрелял? — не понимаем мы.

— А потому,— объясняет дядя Иван,— что солдат молодой был, глупый еще. Ему надо было не «идешь?» кричать, а «кто идет?». Тогда бы пароль назвали, а уж если не назвали — стреляй. И по первому разу не в человека, а в воздух.

Мы грустнеем:

— Зря человека убил.

— Не убил,— успокаивает дядя Иван.— Промазал.

Мы смеемся. У нас еще одна история в запасе.

Одно только плохо: короткие истории у дяди Ивана, как раз на одну самокрутку.

— Ты больше верти,— советуем мы ему.

— Не могу,— отвечает он.— Привык.

И, свернув новую самокрутку, начинает другую историю. И все про солдат. Потому что и сам дядя Иван — старый солдат. Когда в интернате бывает праздник, он сменяет рабочую одежду на черный костюм, на пиджаке которого орден Славы и две медали.

Одна из них — за Берлин.





3. Путешествие

Сразу за кочегаркой — стоило перелезть через забор — начинался пустырь. Постепенно ширясь, он желто-грязной полосой тек на юг, к лесу, за которым, догадывались мы, был аэродром.

Часто, забравшись под крышу школы, мы наблюдали из чердачного окна за самолетами, взлетавшими с невидимой нам площадки. Постепенно набирая скорость, они уходили высоко в небо и исчезали, оставляя лишь след — туманные волнистые полосы на синем. Нам казалось, что до аэродрома не очень уж и далеко...

Толик Шелков сказал:

— Если выйти после занятий, мы успеем вернуться к домашней подготовке.

— А обед? — спросил я.

— Ты скажешь, что мы читали интересную книжку,— повернулся он ко мне.— Тебе поверят. Правда, Радик?

— Ага,— сплюнул Колька Радик.— Ему поверят.

Я согласился.

Мы спустились с чердака, куда нас послал учитель по труду Степан Петрович за фанерой, и сказали ему, что фанеры нет.

После уроков мы тронулись в путь.

Было начало мая. Земля еще не подсохла как следует, ноги вязли в глине, но мы не обращали на это внимания. Шли напролом к лесу... Иногда нам попадались зеленые острова. Мы обходили их сторонкой. Почему-то жалко было топтать траву, только что пробившую землю и согревшуюся на солнце. Быть может, потому, что на пустыре больше ничего не росло.

— На то он и называется — «пустырь»,— сказал Радик.— Пус-тырь. Понял? От слова «тырь». Тащи, значит.

— От слова «пусто»,— не согласился Толик.

— Я и говорю,— кивнул Радик.— Пусто — значит, тырь. Никто и не увидит.

Он развел руками:

— Попробуй поищи...

— Здесь и искать-то нечего,— сказал я.

Радик даже остановился.

— Черта с два! — сказал он, сплюнув.— Тут много кой-чего затырили колчаковцы разные. Я знаю. Мне бабка рассказывала. Она золотое кольцо, когда картошку копала, нашла.— И, обернувшись, кивнул:— Вон там, за бугром. На обрате покажу.

По правую руку от нас тянулась улица Лизы Чайкиной, по левую — высоченный заборище моторостроительного завода. На этот завод нас год назад водили на экскурсию.

Толик сказал:

— У меня мама там сейчас работает. Она моторы для самолетов собирает.

— А ты откуда знаешь? — спросил я.

— Знаю.

— Пожрать бы чего! — неожиданно заявил Радик.

— Можешь вернуться в интернат,— сказал Толик.

Радик буркнул:

— И вернусь.

— Уже недалеко,— сказал я.

Идти стало тяжелее. Ноги по щиколотку проваливались в грязь. Радик закатал по колено штанины.

Мы сделали то же. Говорить не хотелось, язык разбух, хотелось пить, но мы крепились.

Наконец Радик не выдержал.

— Попить бы.

— Скоро попьем,— сказал я.

— Где?

— В лесу.

Толик сказал:

— У нас нет ножа.

— У меня есть,— обрадовался Радик.

Он вытащил заточенный кусок ножовочного полотна, обмотанный наполовину медной проволокой.

— Вот.

— Сойдет,— одобрил Толик.

Мы вошли в лес. Здесь было прохладно.

На березах уже лопнули почки, выказав клейкие зеленые язычки. Радик выбрал тоненькую березку, полоснул по коре ножом и припал губами к порезу.

Толик сказал зло:

— Не захлебнись.

Радик закашлялся, удивленно вытаращил желтые глаза:

— Чего ты?

— Ничего.

— Дерево, что ли, жалко?

— Да,— сказал я.— Жалко.

— Так ты же сам...— удивился Радик.

По стволу, расплываясь, стекал сок.

— И ты...— повернулся он к Толику.

Защищаясь, он нападал. Мне стало жалко Радика.

— Пойдемте,— сказал я.— Недалеко есть озерцо.

— А ты откуда знаешь? — спросил Радик.— Не был же...

— Был,— соврал я.

— Когда?

— Давно.

Радик недоверчиво сплюнул.

— Ну пойдемте.

И залепил землей разрезанную кору березки.

Минут через пять мы и вправду вышли к яме, заполненной водой.

— Вот,— сказал я, опускаясь на колени. Вода была холодная и пахла осенью.

Радик сказал, отдуваясь:

— Вкусней, чем сок.— И бросил в воду нож.

— Зачем ты, Колька? — спросил Толик.

— Ну его,— сказал Радик.— Черт с ним. Только карманы рвет.

Недовольство друг другом исчезло.

Мы тронулись дальше, вышли на поляну и остановились вновь, наткнувшись на голубое яйцо. Оно лежало на бугорке, наполовину скрытое сухими травинками.

— Кукушкино,— сказал Толик.

— У кукушки серое, в коричневых крапинках,— сказал я.

— Наоборот,— возразил Радик.— И меньше. Надо его взять с собой и показать Курице.— «Курицей» мы называли ботаничку.— Или лучше спрячемся в кустиках и высмотрим, кто прилетит греть.

— А самолеты?

— На обрате,— сказал Радик.— Если время останется.

— Не останется,— засомневался я.— Уже, наверно, часа три.

Вдруг где-то неподалеку загудело.

Толик сказал:

— «Як» заработал...— И зачем-то привстал на цыпочки.— Точно, «Як»,— повторил он, и, как завороженный, пошел на звук.

Мы двинулись следом. Продираясь за Толиком через заросли шиповника, я оцарапал лицо и руки.

Радик — тоже. Он сказал, покрутив пальцем у виска:

— Свихнулся Толик. Как пить дать.

— Тише,— зашептал я.

Мы выбрались из леса.

Прямо перед нами лежало огромное поле. Хорошо были видны самолеты. Они стояли в три ряда, ровно, как по линейке, некоторые укрыты брезентом. Возле них суетились люди в синих комбинезонах.

Я сказал:

— Летчики.

— Нет,— возразил Толик.— Техники. Видишь, ремонтируют.

— Сверхзвуковые? — спросил Радик.

— Реактивные,— ответил Толик.— «Яки».

— Пойдем, что ли? — не выдержал Радик.— Чего стоять?

— Куда? — спросил я.

— В интернат, обратно...

— Столько шли! — сказал Толик.

— Стой! Ни с места! — прогремело сбоку.

У меня оборвалось сердце.

Раздвигая ветви, к нам вышел громадный человек в синей фуражке с золотыми крылышками. Они ударили по глазам.

— Кто такие? — спросил он и сам себе ответил, улыбаясь: — А, шпионы...— и засмеялся: — Испугались?

— Ага,— выдавил Радик.

У меня продолжали дрожать коленки.

Толик спросил:

— Вы летчик?

— Буду.

И тут мы увидели, что он совсем не громадный, как показалось вначале, а немногим выше нас. И усы у него росли еще не очень, чуть-чуть припушили губу.

Я облегченно вздохнул.

— Вы откуда? — спросил он.

Я ответил неопределенно:

— Оттуда. Недалеко.

— Понятно,— сказал он.— Звать как?

— Кого?

— Для начала тебя хоть.

— Александром,— сказал я.

Он улыбнулся:

— Тезка, значит.

— Ну, а тебя как кличут? — повернулся он к Радику.

— Радик.

— Родион, что ли?

— Ага,— соврал Колька.

Толик сказал:

— Толик.— И протянул руку.

Мой тезка пожал ее.

— Очень приятно.

Мы явно ему нравились.

— Ну, идемте,— сказал он.

Я снова испугался:

— Куда?

— Ясно, куда. К самолету. Вы же самолеты пришли смотреть? — спросил он.

— Ага,— сказал Радик.

Толик кивнул: да, мол, самолеты.

— А можно? — спросил я.

— Со мной можно.

Мы вышли на поле. Обкатанное, оно пружинило под ногами, хотелось побежать по нему, раскинув руки, как крылья, но я сдерживался, стараясь шагать в ногу с моим тезкой. Мы подошли к самолету, возле которого копошились трое в синих комбине-

зонах. Один из них, видимо, старший, спросил строго:

— Васильев, ты кого это привел? — Он сказал это, хмуря брови.— Посторонним строго запрещено.

— Они не посторонние,— ответил мой тезка.— Они мои знакомые, товарищ инструктор.

— Все равно не положено,— сказал инструктор и приказал:— Проводите, курсант Васильев, посторонних за линию учебного аэродрома.

Радик сказал:

— Васильев не виноват. Это мы сами.

— Что сами? — спросил инструктор. Он был худой, бледный, с руками, повисшими ниже колен. В правой руке он комкал мазутную ветошь.

— Сами пришли,— сказал Радик.— Сначала двигали пустырем, потом продирались лесом.— Вот он,— ткнул Радик в меня,— поцарапал лицо и руки. Видите?

— Вижу.

— И ты поцарапался,— добавил я.

Толик молчал. Инструктор спросил у него:

— А вы что молчите, молодой человек?

— Я думаю,— ответил Толик.

— О чем?

— О самолетах.

— Интересно,— сказал инструктор.— И что же вы думаете?

— Я думаю, вы занимаетесь профилактикой,— сказал Толик. И добавил: — Вы изучаете устройство «Яка».

— Вот как...

Инструктор присвистнул, оттопырив нижнюю губу. Свистеть он явно не умел. Бросил ветошь на землю.

— Вы что же,— спросил он,— разбираетесь в самолетах?

— Мой отец был летчик,— сказал Толик.

— Почему — был?

— Он разбился на учениях.

— Фамилия? — спросил инструктор.

— Шелков.

— Уж не Георгия ли Тимофеевича сын?

— Да...

— Я знал твоего батьку. Он был хороший истребитель.

Толик спросил:

— Разрешите остаться?

— Да-да,— кивнул инструктор.— Конечно.— Глаза его сделались больными. Он сказал устало: — Васильев, займитесь ребятами. А я схожу на знпз.

И ушел, сутуля узкие плечи.

Мой тезка сказал:

— Он три года назад неудачно катапультировался.

— У него загорелся самолет,— сказали в один голос двое других, до этого молчавшие за спиной инструктора. Им было лет по семнадцать. Они были очень похожи. Должно быть, братья.— Он сломал позвоночник.

Васильев добавил:

— Ему запретили летать. Он теперь инструктор нашего клуба.

Толик спросил:

— Товарищ инструктор был военным летчиком?

— Да,— сказал мой тезка Васильев.— Он летал на сверхзвуковых.

— Он награжден орденом Красного Знамени,— добавил один из братьев, возившихся у самолета.

Мы помолчали, Васильев приказал:

— Савельевы, покажите парням внутреннее устройство.

— Есть,— ответили они.

Радик сказал:

— Я первый.

— Первым пойдет он,— показал на Толика Васильев.— По справедливости...

Последним в кабину забрался я. Мне там не понравилось — слишком тесно и много непонятных приборов. «То ли дело завод,— подумал я.— И как они разбираются во всем?»

В стороне Толик разговаривал с моим тезкой о стабилизаторах и лонжеронах. Радик сидел на крыле, болтая ногами.

Тот, что был повыше, сказал:

— Слазь. Сергеев идет.

Пришел инструктор.

— Посмотрели? — спросил он.

— Ага,— сплюнул Радик.

Толик спросил:

— Можно мы придем еще?

— Да,— сказал инструктор.—Конечно.— И обратился к Васильеву и Савельевым: — Пора идти. Уже шесть. Автобус ждет.

Они собрали инструменты, затянули самолет брезентом.

— Вам куда? — спросил у нас Сергеев.

— В интернат,— ответил я.— В третий.

— Это который имени Гагарина? — уточнил он.

— Ага,— сказал Радик.— Юрия Алексеевича.

— Тогда нам по пути. Тебе сколько лет, Шелков?— спросил он у Толика.

— Двенадцать.

— Когда исполнится шестнадцать, приходи в клуб ДОСААФ. Спроси Сергеева.

— А сейчас нельзя? — спросил Толик.

— Пока нет.

— Хорошо,— сказал Толик.

— А им можно со мной? — спросил он о нас.

— Можно...

Мы перешли летное поле. У проходной будки Сергеев сказал старичку с красной повязкой на рукаве телогрейки:

— Ребята со мной, Степаныч.

— Вижу, однако. Племяши, што ль? — спросил Степаныч.

— Вроде.

— А я и гляжу: похожи.

Мы сказали:

— До свидания.

— Бывайте,— ответил Степаныч.

Васильев за проходной сказал:

— Хороший старик.

Савельевы добавили:

— Он в войну на штурмовике летал.

— Стрелком-радистом.

Мы залезли в автобус, битком набитый курсантами. Я подумал: «И попадет же нам в интернате...» Автобус тронулся, затрясся по проселку. Кто-то затянул песню о пилотах, у которых первым делом самолеты... Ее подхватил весь автобус. Не пел один Сергеев. Он, не отрываясь, смотрел в окно.

Мы ехали и пели...

4. Туманы всегда разные

Заканчивая шестой класс, я вдруг заметил в коридоре девочку. Маленькая, курносая, с большими продолговатыми глазами под прозрачными кругляшками очков, она шла осторожно по коридору, прижимаясь к стенке, и ее худенькие плечи были в известке. И я почему-то сказал:

— Дай-ка я тебя отряхну.

Она ничего не ответила, но остановилась. Я стряхнул с ее коричневого форменного платьица известку и ушел. На утро следующего дня я уже знал, что она учится в третьем классе и что зовут ее Марина. А после обеда я встретил ее в саду.

Она стояла возле почерневшей яблони, а увидав меня, сказала:

— Она умерла.

— Кто? — не понял я.

— Яблоня.

Я взял ее за руку и отвел в ту часть сада, где не было умерших яблонь.

— Смотри, эти яблони живые.

— Я знаю,— сказала она,— но та яблоня умерла.

И я не мог ей возразить: та яблоня действительно умерла.

Потом мы встречались почти каждый день. Я приходил за ней после обеда, и мы шли в сад, где Маринка рассказывала мне о туманах.

— Туманы,— говорила она,— всегда разные. Утром они молочные, в розовой пенке, днем — синие и прозрачные, как стекло вечером, а позже — клубистые и зеленые... Туманы всегда разные.

— А почему? — спрашивал я.

— Не знаю. Папа говорил, но я тогда была маленькая и поэтому забыла. Папа мне про многое говорил. .

И когда она вспоминала своего отца, глаза ее делались еще больше, и в них я видел сине-прозрачный, как стекло вечером, туман. И, видя его, я брал в свои руки маленькие ручки Маринки и, пытаясь ее успокоить, говорил:

— Ты не думай, Маринка, твой папа еще вернется.

— Нет,— отвечала она.— Тетя Клава сказала, что папа умер.

Я видел эту женщину. Высокая, в синей форме с одной звездочкой, она приходила за Маринкой по субботам и, встретив ее возле раздевалки, требовала дневник. Раскрыв его, близоруко всматривалась и громко, на весь первый этаж ухала:

— Опять тройки! — Когда подходила воспитательница, жаловалась: — Ведь такая способная девочка, в отца вся, а подумайте, тройки!

— Да-да,— устало кивала воспитательница.— Да-да.

— Может, это на нее Камчатка повлияла? — переходила на доверительное уханье тетка.— Там, знаете, туманы, говорят, вредные. Они и сейчас у нее в голове вертятся. Отца почти не помнит, а про туманы такое рассказывает, такое...

— Да-да,— кивала воспитательница.— Да-да.

Тетка тяжко вздыхала и уводила Маринку.

А в понедельник я встречал ее возле ворот.

— Ну как, тетка воспитывала?

— Что ты,— отвечала Маринка,— тетя Клава добрая.

— Ну-у,— недоверчиво тянул я.

— Правда-правда.

...До конца учебного года оставалась одна ночь. Я уже засыпал, когда дверь в нашу спальню приоткрылась и меня позвала Маринка.

Я вышел.

Она стояла возле окна, и зеленоватые отблески от горящих на улице фонарей высвечивали фиолетовый штемпель на ее ночной рубашке.

— Ты чего, Маринка?

— Я вспомнила,— сказала она, шагнув ко мне от окна.— Папа говорил, что туманы — это люди, которых забыли.

— Ты иди спать,— сказал я.— Завтра поговорим.

И Маринка ушла, шурша рубашкой по полу.

На следующий день я ее не увидел, не увидел и осенью, после летних каникул. И только много позже, зимой, узнал, что тетка увезла ее на Камчатку.

Но я и сейчас хорошо помню маленькую девочку в ночной рубашке с фиолетовым штемпелем на груди, шагнувшую ко мне от окна, и ее слова, что туманы — это люди, которых забыли. Помню ее сине-прозрачные, как стекло вечером, глаза. И помню, что туманы всегда разные, как, наверное, и люди.

5. Руки

Это случилось метельным вечером.

Я спешил из Дворца культуры, где занимался в драмкружке, в интернат и, сбившись в снеговерти с дорожки, провалился в колодец.

Колодец был довольно глубокий, лед как следует не застыл, и я, пробив его, оказался по пояс в воде. Что я в тот миг почувствовал, точно не помню, помню лишь, что мне невыносимо захотелось пить, и я, черпая пригоршнями солоноватую ледяную воду, глотал ее до тех пор, пока меня не обуял страх. И когда я ощутил его в сжавшейся груди, в коленях, то закричал дико и страшно.

Должно быть, я кричал долго, потому что, когда в сером четырехугольнике неба забелело чье-то лицо, я уже не мог кричать, а только что-то прохрипел о помощи.

— Сейчас,— гулко забилось в колодце, и лицо исчезло.

Я, успокоившись, забылся, а когда забытье прошло, увидел над собой руки.

Много рук.

И такая была в них сила и власть, что я, цепляясь за бревна сруба, полез к ним.

И сейчас, если мне случается попасть в беду, я знаю, что на помощь придут руки. Руки таких же рабочих людей, как и я.

Алим Кешоков





Перевел
с кабардинского
Я. КОЗЛОВСКИЙ.

ИЗ СТИХОВ ОБ ИНДИИ

Благоуханье чайного листа

Поведали мне женские уста
О той поре, которая бывает
Однажды в жизни чайного куста,
Когда он, как жасмин, благоухает.

Духмяный пыл зеленого костра,
Страсть, что себя означила свободой.
Влюбленный куст. Мгновенная пора,
Единожды даренная природой.

А после, в меру зелен и душист,
Являет он житейскую степенность,
И сборщица выщипывает лист,
Имеющий обыденную ценность.

И чайный куст ничуть не виноват,
Что буднично стал представлять он флору...
Пора любви. Мы ярче во сто крат
Самих себя бываем в эту пору.

Предел бессмертия

Предел бессмертия — пред ним,
Они круты или пологи,
Все прерываются дороги,
Что знаком венчаны земным.
Предел бессмертья — край вершин,
В нем нету ни зимы, ни лета,
В нем нету смены тьмы и света,
В нем цвет небес всегда один.
И, подведя делам итог,
В последний час, как в час победный,
Вошел сюда философ бедный.
А государь войти не смог.
Предел бессмертья! В свой черед
Над ним луна за солнцем следом
Путем, что ей от века ведом,
Пересекает небосвод.

И светит истина всегда
Там ярче,
вышиной объятых,
Луны и солнца, вместе взятых,
Как незакатная звезда.

Сатьявати

Была заклинателем змей зачата
Сатьявати в тропиках страсти.
Судьба, словно нянька, ее неспроста
Баюкала в тигровой пасти.

Сатьявати песни слагали тайком
Вдвоем добродетель с пороком
И вместе поили ее молоком,
Как будто бы манговым соком.

Ей шили наряды лукавой иглой
И выше и ниже коленей.
Склонялись пред ней — госпожой и слугой —
Цветы на лугах подозрений.

Сатьявати, схожие с первым стыдом,
Любовь подарила румяна
И дерзко возвысить смогла над судом
Молвы,
что растет, как лиана.

Пленителен стройной Сатьявати взор,
И с богом, на радость брамина,
Готова она завести разговор,
Лишь был бы он славный мужчина.

Сквозь столетья кричат Коджарахи[1]

О любви, погребенной во прахе,
Как об углях горячих в золе,
Сквозь столетья кричат Коджарахи
Тем, кто ныне живет на земле.

Эти каменные изваянья,
Славя вечное буйство в крови,
Всем святошам твердят в назиданье:
— Бойтесь связывать руки любви!

Не гоните земных постояльцев,
На любовь не кладите запрет.
Вся она от чела и до пальцев
Излучает пленительный свет.

Над любовью не требуйте власти,
Быть дано ей владычицей всех.
Не принявшие подданства страсти
Совершают пожизненный грех.

Поклоняйтесь достойнейшим ранам,
Изнывайте от сладостных мук,
Залучайте любовь не арканом,
Залучив, не вяжите ей рук.

Призывают к молитвам монахи,
Проповедуя строгость поста.
Рады жизнь прославлять Коджарахи,
И монахам они — не чета!

[1] Коджарахи — каменные изваяния тысячелетней давности, символизирующие любовь.

✪

Он спросит раз:
— Моею стать
Согласна ль навсегда!
И ты ему лишь только раз
В ответ прошепчешь: — Да!

Промолвит только раз отец:
— Согласен дочь отдать!
Любви венец. И только раз
Всплакнет при этом мать.

И переступишь в первый раз
Ты робость при свечах.
И растворишься в первый раз
У милого в очах.

И на рассвете в первый раз
За все шестнадцать лет
Пройдешь, не чувствуя земли,
Похожая на свет.

Но стоит древо только раз
Раздора посадить,
Чтоб в жизни сотни тысяч раз
Печали горечь пить.

✪

Ты — музыка, а я — слова,
Возникнуть песне есть причина.
Давай сольемся воедино,
Чтоб закружилась голова!

Я — грешный путник, ты — родник,
Что мною встречен был однажды.
И страстно я к тебе приник,
Изнемогающий от жажды.

Я — плуг, ты — поле.
И дано
Стать после пахоты вчерашней
Тебе беременною пашней,
Легло в которую зерно.

Стал я подобьем огня

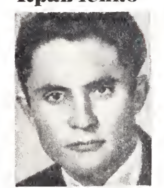
С милой лежал я на ложе,
Слушал ее не дыша.
Чья это в грудь мою, боже,
Переселилась душа!

Легче проникнуть нам в числа,
В знаки на бивнях слонов,
Нежели в таинства смысла
Полузагадочных слов.

Видеть влюбленным не внове
Магию звездных ночей
В женской улыбке и в слове,
В блеске и в дымке очей.

Знаю, влюбившийся страстно,
Стал я подобьем огня,
Значит, душа его властно
Переселилась в меня.

Анатолий Кравченко



Белые костры

К вершине шли мы трое суток.
Уже привык к пайку желудок,
уже спина под рюкзаком

болеть почти что перестала,
когда прошли три перевала
и круто взяли на подъем...

Вершина встретила нас хмуро
метелью белой, тучей бурой;
как разъяренный горный барс,

она бросала камни в ноги,
и умолкали даже боги,
всевидящий прищурив глаз.

И нам казалось, что вот-вот
она — шальная — всех сметет.
Но, зная правила игры,

она под вечер уступила
и в знак согласья пригасила
метелей белые костры.

✪

Гремят литавры — хорошо!
Трубят фанфары — что ж, неплохо!
Но вот запел и ты, рожок,
в оркестре том огромном — кроха.

Поди узнай же, кто, зачем
сюда пришел: фанфары слушать
или свою утешить душу
чуть различимым пеньем тем!

Наверно, оба хороши.
Наверно, оба допустимы:
и трубы звонкие для Рима
и просто флейты для души.

Тебе не терпится — пляши.
Мне — помолчать необходимо.



ПРОЗА



ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ БРАТА

Рисунки
Геннадия НОВОЖИЛОВА.

РОМАН

Глава десятая



Секретарша расписалась за телеграмму и, открыв одну за одной две двери, обитые дерматином под кожу, вошла в кабинет.

— Телеграмма вам, Николай Александрович.

Судья Малин сказал:

— Давайте.

И она почувствовала машинальность в его интонации. Он механически распечатал, механически пробежал глазами.

Текст телеграммы был такой: «Николай Александрович сообщаю что все нормально и я нахожусь дома если сможете приехать как обещали то жду с приветом до свидания Иван».

В первое мгновение Малин даже не понял, в чем дело, какой Иван. Все, что было с этой телеграммой связано, было отодвинуто куда-то вдаль, а точнее сказать, не вдаль, а глубоко внутрь, в тот внутренний полузаглохший слой переживаний, воспоминаний, что живет в нас как бы в полузабытьи, затаясь... Но и секунды хватило, чтобы Николай Александрович все вспомнил... «Вот и пришел Ванькин час», — подумал он, и нутро его согрелось теплом, будто он тихо и счастливо пригрелся где-нибудь у речки на весеннем солнце. Этот самый Ванькин час был отчасти и его часом, но грянул он как-то больно неожиданно, как все, чего ждешь долго... И потому Малин еще не был подготовлен к этому и не знал, что дальше делать.

А делать можно было только лишь одно — без промедления ехать к Ивану. Раньше он и сделал бы это сразу же, без колебаний, едва получив телеграмму. Теперь такая поездка представлялась мероприятием не простым, довольно громоздким, которое надо было обдумать, подготовить и решить... Даром, что ли, Николай Александрович неделю назад отметил свою пятьдесят третью годовщину?

И он дал себе небольшую отсрочку на решение, скажем, до конца рабочего дня... А сейчас рабочий день только начинается.

Но уже был разговор — и разговор важный. И не только важный, но и неприятный, трудный для судьи Малина — секретарша за пять лет достаточно изучила своего начальника, председателя нарсуда, и знала, что, когда он сидит вот так пряменько, подобранно, с чуть побледневшими скулами, когда говорит вот так тихо и раздельно, как бы безличным, без всякого нажима, голосом, — значит, разговор нехороший.

Она узнала и того, кто сидел напротив Малина, хотя видела его в первый раз. Он пришел не в приемное время, рано утром, и сидел, видимо, уже долго.

А разговор между тем не начинался. Впрочем, Николай Александрович и его собеседник помаленьку говорили, да только не на ту тему. Говорили они поначалу о летнем отдыхе, об отпусках, кто куда поедет, потом о детях, поговорили немного и о футболе, о любимой своей команде «Динамо», о том,

Окончание. Начало см. в № 3 за 1973 год.

что в этом году она, может быть... наконец... тьфу, тьфу, чтоб не сглазить...

Темы были нейтральные и даже вполне светские, однако чутье секретаршу не обмануло: Николай Александрович весь внутренне подобрался и, говоря ни к чему не обязывающие вещи, думал о другом, о том разговоре, к которому рано или поздно надо было переходить, иначе зачем в его кабинете этот человек?

Человек этот еще с юности был знаком Николаю Александровичу, как и многим другим людям в стране: когда-то Николай Александрович встречал его на Садовом кольце и смотрел в толпе сквозь сотни голов, когда мелькнет в открытой, блестящей лаком машине загорелое, с резким профилем лицо летчика, неоднократно совершавшего сложнейшие испытательные полеты на новых машинах, в том числе и на тех, что сейчас стали музейными, а в тридцатые годы будоражили умы и воображение необычностью и дерзкой новизной.

И лицо это, которое потом встречал он и в газетах и в кинохронике, а после войны и на телеэкране, воспринималось как очень знакомое, может быть, даже как лицо родственника или давнего приятеля, как что-то принадлежащее и его собственной биографии и судьбе... Оно вроде бы и не старело и не менялось, а может, изменения бросились бы в глаза тому, кто не так привычно и даже родственно его воспринимал.

Ведь известно, что близкие знакомые или родные меньше замечают перемены у рядом живущих. К тому же этот порядком немолодой уже человек выглядел отлично, и, как это ни странно, с возрастом лицо его стало интереснее, так как раньше оно бросалось в глаза резким очерком профиля, голубыми глазами, постоянным загаром, но, если приглядеться, было простовато, а теперь же, с годами, с различными жизненными перипетиями и переживаниями приобрело новые черты — черты большей интеллигентности, что ли...

И в последние годы этот человек не раз удивлял многих своей зрелой, спокойной отвагой, заключавшей в себе теперь уже не только порыв и непризнание смерти, но и опыт и профессиональное мастерство... Когда-то он легко и юношески бездумно презирал смерть и опасность. Теперь он относился ко всему этому иначе, с годами больше дорожа жизнью, чем прежде. Это не значит, что он стал трусливее, просто понял немудреную истину: тщательность порой спасает от гибели. Вот эта тщательность и помогла ему обманывать, переигрывать, на одно мгновение опережать смерть.

В последние годы Николай Александрович лично познакомился с летчиком: они регулярно встречались на районных партактивах, на торжественных собраниях в ноябрьские и майские дни, нередко сидели вместе в президиуме, чувствуя обоюдную симпатию и приязнь. Обменивались вполголоса краткими репликами почти всегда с полным пониманием друг друга, с близостью в оценках того или иного выступавшего, а это очень важно, чтобы в официальной и несколько напряженной обстановке президиума сидел человек, с которым можно доверчиво и легко перемолвиться, а то и просто переглянуться.

Николай Александрович тонко чувствовал, как к нему относятся люди, испытанный, профессиональный локатор его редко ошибался, и при встречах с летчиком он неизменно фиксировал, что голубые, холодные глаза летчика теплеют и улыбаются с той особой, искренней доброжелательностью, что бывает у людей, не часто видящихся, друг от друга не зависящих и в чем-то друг на друга (по крайней мере в их представлении) похожих.

Но сегодня странная ситуация столкнула их в этом кабинете, ситуация повседневная для Малина и единственная в своем роде для летчика — бывшая для одного вопросом службы и профессии, а для другого — вопросом жизни и смерти. Ну, может, «смерть» и сильно сказано, но вопросом глубоко личным и необыкновенно важным, от которого многое в будущем зависело, — это уж наверняка.

Надо сказать, что Малин дела такого рода терпеть не мог и не по своей воле он вынужден был объясняться с летчиком. Малин давно пришел к выводу, что эти дела в подавляющем большинстве своем не должны рассматриваться и решаться в суде, что закон здесь в ряде случаев бессилен. Ему казалось, что вторжение посторонних людей в эту сферу, никому до конца не понятную, чаще всего бесполезно, а порой и безнравственно. Конечно, не в тех случаях, когда попирались нормы права или морали.

Бракоразводные дела граждан.

Профессия приучила его «мирить» чужих и даже ненавидящих друг друга людей, задавать им порой самые интимные вопросы. Приучила, но не убедила в необходимости этого. И он делал это, не глядя в глаза людям, настолько бесстрастно, почти механически, что они воспринимали его как особого рода рентген, который просвечивает «для порядка». Не для здоровья, а для справки.

У Николая Александровича была странная и мешающая ему в ряде дел привычка: ставить себя в положение тех, кто пришел к нему. Вот и его просвечивают таким же образом, его интимную жизнь тщательно изучают, ему советуют, как дальше быть и жить, и его передергивало от одной мысли об этом. Он надеялся, что когда-нибудь это изменится, но, видно, не сейчас, потому что все-таки были еще люди, которые сами напрашивались на то, чтоб кто-то третий решал, изменял или устраивал их жизнь. А значит, ему надо было делать то, что положено... И сейчас ему положено было улаживать или даже в известном смысле решать семейные дела летчика...

История эта была не нова для Малина, да и вообще не нова. Если она и была нова для кого-нибудь, то только лишь для тех, кто принимал в ней непосредственное участие. Летчик ушел из дому, оставив жену и уже взрослых детей, ушел к молодой женщине, впрочем, тоже матери. Жена летчика, однако, не согласилась с таким неожиданным жизненным поворотом и обратилась в ту организацию, где служил муж, с призывом и требованием «призвать его к порядку». С ним действительно поговорили, вежливо и тактично, посоветовали не поддаваться эмоциям и, если возможно, вернуться и сохранить семью. Он отказался, ссылаясь на любовь...

Люди, работавшие с ним, знали его не первый день и не первый год и понимали отчетливо, что если он решил — увещевать и уговаривать его дальше бесполезно. «Ну, что ж,— сказали ему в соответствующем месте и пожали плечами,— раз так, то оформляйте все законным путем». Он подал на развод. И вот тут жена его не только решительно воспротивилась этому, не только не дала развода, но развила невероятную активность во всех районных организациях... Немало телефонных разговоров с разными людьми имел по этому поводу Малин.

Была она и сама у Николая Александровича.

Он еще и перед разговором знал, кажется, все возможные ее доводы: как же так... тридцать лет вместе, дом, дети — и вдруг... какая-то...

— Сколько лет вашим детям? — спросил Николай Александрович.

— Мальчику двадцать пять, девочке семнадцать... Самый трудный, переходный возраст.

— Ну, не такой уж и переходный,— сказал Николай Александрович.— Уже взрослые. Да и потом ведь он, насколько я знаю, не отказывается от родительских обязательств.

Это подлило только масла в огонь.

— Ах, так... Вы что же, все сговорились?! Только я так просто не отступлюсь, черта с два он получит развод! Если надо, я пойду и повыше!

— Куда же? — спросил Малин.

— Найдем,— сказала женщина.

— Если только к самому господу,— усмехнулся Малин.

— Вам смешно,— с тихой яростью сказала женщина.— Но ему не будет смешно. Я надеюсь, он забудет надолго, что такое смех.

Ненависть клокотала в ней, как пар в котле, готовый вырваться и обжечь, ошпарить все, что находится рядом...

Было странно, что речь идет о человеке, с которым она растила детей и прожила около тридцати лет.

— Вот вы хотите вернуть мужа,— тихо сказал Малин.— Ну, а вы не думаете, что после такого, ну... скажем... давления извне вернуться к прежней жизни будет трудно, если не невозможно?

— Ну и пусть,—тихо сказала женщина...—Что же вы хотите, чтобы я щеки подставляла: ударил справа — на левую... лупи... Нет уж!

— Ну ладно. Вызову, поговорю,— сказал Малин, давая понять, что прием окончен.

Но она не уходила. Она молча сидела, как бы собираясь с мыслями, чтобы высказать главный свой довод.

Но так и не собралась. И, кивнув Малину, поднялась с места.

Выражение ярости, молодившее ее лицо, незаметно ушло, и лицо вдруг потускнело, выражая лишь безмерную усталость.

Видно было, как быстро за последние два-три месяца она проделала тот путь, который женщины всячески стараются удлинить, которому так искусно противятся — путь от немолодости к старости, от женщины к старухе.

Она взяла граненый стакан, стоящий на столе у Малина, налила из казенного высокого графина воды, попила и вдруг сказала, чуть улыбнувшись:

— А помните, как вы заезжали к нам на Первое мая?.. Да, лет пять назад это было.— Она вдруг подалась вперед и сказала с мольбой: — Поговорите с ним... Ведь столько всего... Как же можно?..

Она сделала глотательное движение, Малин взял стакан, поднялся с места, но она справилась с собой и ушла достойным, твердым шагом, чуть поклонившись Малину напоследок.

А теперь перед ним сидел летчик.

Уже обо всем, казалось, поговорили: и о детях, и об отпуске, и о футболе, бесконечно оттягивая разговор, необходимость которого в разной степени угнетала обоих.

Наконец Малин начал. Ему по должности было положено начинать.

— Так что же будем делать, Виктор Иванович?

— Это в каком смысле? — сказал летчик.

— Ну, в том самом... в смысле возвращения домой,— сказал Малин, остро чувствуя неуклюжую фальшь этих слов.

— Это отчего же я должен возвращаться? — сказал летчик.

— Виктор Иванович, я не хочу ни уговаривать, ни советовать. Но после разговора с вашей женой я понял: развода она не даст ни за что.

— Буду жить так... На черта мне эта бумажка...

— Вам так жить нельзя... У вас должна быть официальная определенность.

— Что вы предлагаете в таком случае?..

— Если бы я мог что-нибудь предложить... Но тут есть только два варианта. Или возвращение, или, если это невозможно, вы сами берете огонь на себя... Уж не знаю как, но находите средства, чтобы убедить ее дать развод.

— Дорогой Николай Александрович, первое неприемлемо. Я не в том возрасте, когда решение принимают после поступков. Я лично это делаю до. Я сначала решил, а потом ушел... Никакого возвращения не будет никогда. Что же касается второго вашего предложения, то и оно вряд ли возможно. Прожив с человеком тридцать лет, все же не знаешь его до конца. Когда я ушел после долгих и не больно веселых размышлений, ушел, все оставив и сказав ей правду, я ожидал всего: горя, обиды, боли. Я не ожидал только одного: писем в парторганизацию. И поверьте, как это ни странно, стало легче, намного легче, ей-богу. Трагедия обернулась фарсом. Вы понимаете, что это такое?

Малин кивнул. Он понимал. Он видел это ежедневно.

Но рядом с этим, таким убийственным в своей очевидности, существовало как бы отдельно постаревшее женское лицо с застывшим выражением растерянности, именно растерянности, внезапной и непреходящей, почти шоковой... Растерянности, которая требует действия... А какого и зачем, этого растерянность не знает...

— Ваша жена не показалась мне таким зловредным и мелким человеком,— сказал Малин.— Просто она потеряла ориентировку.

Летчик не ответил, но глаза его похолодели, а лицо ожесточилось, напряглось. Видно, немало он натерпелся от этой женщины в последние месяцы...

«Что ж, за все радости приходится платить...— подумал Малин.— Впрочем, какой ценой?»

Малину было знакомо это выражение отчужденности и неприязни. Он видел такие лица каждый день.

И оттого, что у летчика стало вдруг такое лицо, Малину сделалось вдруг тускло и тоскливо. «Да, какой ценой»,— подумал он еще раз, и мысль эта связалась вдруг с возвращением Ивана Лаврухина, с теми годами, что заплатил Иван за недолгую радость своей свободы.

— Развод, конечно, мне нужен,— говорил летчик.— Он нужен моему начальству, дабы я не выглядел в их глазах старым беспутным козлом, и он нужен моей новой жене. Она ни в чем не виновата, кроме того, что любит меня... И ничего не требует. В этой ситуации ей нужна ясность... Но она у меня терпеливая... Так что мы оба с ней подождем.

Он встал и протянул Малину руку. Малину стало вдруг больно, что вот так они вынуждены проститься.

И Малин сказал, неожиданно для самого себя обратившись к летчику на «ты»:

— Виктор Иванович, ты знаешь, чего я хочу?

Летчик не ответил, выжидательно глядя на Малина.

— Я хочу одного: чтобы все уладилось... Но только так ведь не бывает, когда рушится... Тут, как на качелях, один вверх взлетает, парит, другой камнем

пошел вниз. Что ж тут посоветуешь, Виктор Иванович?

— А я посоветую не вам лично, Николай Александрович, а вообще суду... не лезть в такие вещи, не трогать этого, незачем. Судите воров, мошенников, хулиганов... Мало ли у вас работы? А сюда зачем же?

— Я согласен с вами,— сказал Малин.— Можно сказать, полностью согласен и не раз заявлял, как говорится, во всеуслышание. Но только вот какая хитрость: жена ваша, да и не только она, идет с этим к нам и у нас просит помощи... Выходит, так просто не отмахнешься.

— Очень может быть,— сказал летчик, видно, не желая свою частную проблему видеть на общем фоне.— Это уж вам виднее.

Он кивнул и вышел. Человеческой концовки не получилось.

Малин пожевал «беломорину», не закуривая, поморщился. Взял телефонную трубку, набрал номер, чтобы перебить смутное, безрадостное ощущение звонком, делом.

Вошла секретарша, спросила:

— Будем начинать прием?

Малин мотнул головой: мол, подожди минутку.

Это все не впервой было. Люди не терпят вмешательства... Даже самого осторожного. Как бы, интересно, заговорил летчик, если бы его вызвал не Малин, а какой-нибудь дуболом... Верно, не стал бы разговаривать. Ну, а не стал бы — вызвали бы еще раз... А если подумать, зачем он от нее ушел? Ведь все, как говорится, в конце концов одно и то же. Пойдет быт, семейная текучка, и все, что было у них вначале, пойдет прахом... А может, и нет? Человек не знает того, что сам не испытал. Многое испытал Малин, но не это. Один раз было уже совсем собрался, что называется, навострил лыжи, уже приготовился сказать жене, уже примерялся к новой жизни, да не смог.

Ближайший его друг, свидетель всех житейских бурь с малолетства по сей день, говорил ему: «Странный ты мужик, Коля, в сложнейших ситуациях держался безукоризненно, бесстрашно... Фронт прошел и окружение. Что же ты, милый, маешься в личной жизни, не можешь один раз решиться?.. Ведь жизнь-то твоя коротенькая — одна, что же ты, все прикидки делаешь?».

Оба они в тот вечер захмелели, приятель — возбужденно, он — мрачно и тяжело. И он кивал головой и соглашался с другом, соглашался с его приговором.

Он был влюблен тогда, но это не делало его счастливым, ему было только хуже. Он отлично знал, что ничего не выйдет, что он не уйдет, хотя дома давно и бесповоротно все сложилось не так. И этого уже не преодолеть, не разрушить, не начать сначала. А чего не преодолеть? Жалости, а может быть, проще... инерции. Друг был вежлив с ним, оберегал: «Нерешительный ты, Коля...» Какое уж нерешительный! Сам себе он мог бы сказать и покрепче...

Только недавно, обдумывая все это уже ушедшее, уже ничем не грозящее прошлое, он понял, что не в том дело, что был он нерешителен. Он был бы и решителен, если бы только р е ш и л. Тут был другой диагноз. У него, пожалуй, было слишком развито чувство ответственности. К самому решению относился слишком ответственно, стараясь максимально не задеть всех, кто от него зависел: и жену, и приемного сына, и ту женщину... Слишком тяжеловесно он относился к этому самому единственному, последнему решению. Слишком всерьез, никогда не умея позволить себе шага в никуда, в счастье, в неожиданность, в безответственность, бездумного и, может быть, рокового, а может быть, единственно нужного шага.

Не от хорошей жизни возникали перед ним такие проблемы. Не от самой счастливой, цельной, слаженной, одухотворенной, общей семейной жизни...

Когда летчик сказал: «Возвращения не будет никогда!» — Малин ему позавидовал. Раз уйдя, он сам бы уже, наверно, не вернулся к прежнему, но он не мог бы сказать заранее с такой выверенной, железной легкостью, с такой бесповоротной, не знающей сомнения уверенностью: «Н и к о г д а».

Впрочем, может, поэтому тот—летчик, а он—судья.

И он завидовал этой решимости, которая не выясняет, не спрашивает, не мучит себя сознанием тяжких душевных травм, наносимых другим, непоправимых последствий. Кто знает, может быть, только она и бывает права, ибо, как любят теперь говорить — «по большому счету», так вот по этому самому счету: лучше, чтобы один был счастлив, а другая несчастлива, чем тихо, не признаваясь себе в этом, будут несчастливы оба.

Впрочем, была ли несчастна в прежней своей жизни жена летчика? Наверное, нет... Возможно, она и не задумывалась над тем: любит — не любит; возможно, как хозяйка, как мать, она оставляла подобные проблемы тем, у кого забот мало, и занималась домом, детьми, им. А несчастлива она сейчас.

От разговора все-таки остался нехороший осадок... Летчик был, конечно, отличный мужик, но то ли его в последнее время дрязги доконали, то ли все-таки ему чуть-чуть не хватало уже вполне возможной в его весьма зрелом возрасте высоты... Малин стал перебирать личную почту — ту, что принесла секретарша. Письмо из клуба автомобилистов, членом которого он вот уже пятнадцать лет состоял, запоздавшее письмецо с поздравлениями ко дню рождения (ему недавно исполнилось пятьдесят три), приглашение на встречу с журналистами в ЦДЖ. Он снова перечитал телеграмму от Ивана...

Пора было начинать прием.

— Давай следующего,— сказал он секретарше.

Следующим был коренастый мужчина с розовой блестящей головой, с которой он в преувеличенной почтительности сдергивал голубую, из синтетической соломки шляпу.

— Почтеньице, почтеньице, Николай Александрович. Как влажность такую переносите? — быстро и приветливо говорил этот человек.— Весной в нашем с вами возрасте в городе тяжеловато... Весной с нами всякие такие штучки и происходят.

— Вот и решили опять садовничать на воздухе? — прервал его Малин.— И опять сутяжничать с хозяевами?

Лицо вошедшего не изменило приветливого, родственного выражения. Но глаза блеснули стальным непреклонным блеском, который, как давно уже заметил Николай Александрович, был особенно грозен у мелких, трудно выводимых на чистую воду жуликов.

— Это почему ж сутяжничать? Кто вам сказал, что сутяжничать?.. Я свой законный интерес соблюдаю, свою справедливую долю от четырехсот высаженных мною тюльпанов.

— Слушайте, Моксеев, вы в который раз судитесь с хозяевами участка из-за этих самых ваших цветов?

— Что ж, Николай Александрович,— смиренно сказал Моксеев.— Приходится... Сам за себя не постоишь, кто постоит?

— А скажите, Моксеев, зачем вы ходили на работу к Аникиной?

— А затем, чтобы коллектив знал об ее антиобщественных поступках.

— Какие же это поступки?

— А такие! — оживившись, сказал Моксеев.— Мужа своего бывшего бросила, нового из семьи увела — это во-первых, во-вторых, на даче и на садовом участке какие-то египетские ночи устраивают, в-третьих...

— Почему ж египетские? — перебил его Малин.— Вы в суде, выражайтесь поточнее.

— Именно египетские... Но это, конечно, только так говорится, образный оборот, и в том смысле особенно, что весь данный садовый участок не под полезные насаждения занят, а, извините, бутылками загажен.

— Вы что же, по всему участку лазили? — спросил Малин.

— Не лазил, а ходил,— с достоинством сказал Моксеев.

— И после этого написали письмо в организацию, где работает Аникина?

— Написал. Ничего другого не оставалось, чтобы пресечь...

— Так вы ведь не только к ней, но и к мужу в организацию тоже ходили и тоже письмо написали.

— Написал, не отрекаюсь. И точно указал номера машин, которые к ним на дачу фанеру привозили.

— Когда же вы успели записать номера машин?

— А когда только нанялся к ним. Мы сидели, обедали на терраске, ну, немножечко выпивали, как раз те машины и подъехали. Ну, я на салфеточку и записал.

— А для чего вы записывали-то? Что, уже тогда собирались с ними судиться?

— Тогда не собирался... Но на всякий случай материалы иметь надо. Теперь народ такой, ко всему готовым быть приходится.

— А с чего вы решили, что машины «левые»?

— А «правые» по воскресеньям фанеру не возят.

— Логично рассуждаете, Моксеев. Так вот, хотим вас привлекать за клевету.

— Это в каком же смысле клевета?

— В самом обыкновенном. Лезете не в свои дела, копаетесь в чужой личной жизни, слоняетесь по учреждениям и распространяете различные ложные слухи о людях.

— Эти слухи легко проверить. Тогда убедитесь, ложные или не ложные.

— А кто вам дал право проверять? Вы сýдитесь из-за тюльпанов, бог с вами, судитесь, мы уже вас знаем. Вы не первый раз отнимаете время у суда, но что вы людей-то изводите своими кляузами?

— Я, Николай Александрович, не торопился бы с выводами. У Аникина в парткоме уже работает комиссия по поводу машин.

Малин знал, что комиссия действительно работает по «сигналу» Моксеева. Аникин, фронтовик, подполковник инженерных войск, действительно попросил подвезти ему фанеру на дачу. Шоферы и машины были из его ведомства. Злоупотребление было пустяковое, но было... Ну, нужно было человеку — подвезли ему материал, причем материал им законно купленный. Но этот Моксеев сумел-таки маленькую искорку раздуть в огонек. Комиссия работала.

Сумел использовать он и личную ситуацию Аникиных, людей немолодых, недавно поженившихся (она ушла от мужа, с которым фактически не жила уже много лет; Моксеев сумел вовлечь в это дело и ее бывшего мужа).

Однако Малин хорошо знал, что прижать по-настоящему Моксеева трудно. Дело о клевете, которое Аникины хотели возбудить, было в достаточной степени щекотливым, так как здесь уже в законном порядке должны были бы перемываться все косточки, чтобы установить ложность моксеевских наветов и наказать проходимца. А такое перемывание вряд ли было нужно двум уже немолодым и достаточно битым жизнью людям. Дела о клевете порой имели свойство бумеранга, обратный удар которого трудно было предусмотреть.

Малин посмотрел личное дело Моксеева. Во время войны по справке об эпилепсии возвращен с фронта в тыл... Эпилепсия фигурирует еще несколько лет в виде справок и медицинских свидетельств, затем эпилепсия исчезает, и по дальнейшим справкам Моксеев здоров и работает «культурником» в доме отдыха. По неизвестным причинам он расстается с домом отдыха и устраивается в общество охраны природы. Он становится профессиональным садовником. Нанимается к дачевладельцам. Как правило, нигде не удерживается больше одного сезона. Аграрная деятельность Моксеева сопровождается судами с хозяевами дач... Дела возбуждает Моксеев, неизменно обвиняя хозяев в нарушении трудового договора. Дела копеечные, пустяковые. Сутяжничество Моксеева мелкое, рублевое, но не всегда можно отказать ему в иске, кое-где он находит уязвимые места в договоре, умело их использует, высуживает деньги. Закон знает, скользит рядом с законом, отклоняясь минимально, так что простым глазом не разглядишь. Такие, как Моксеев, тягостно распространены в нарсудах. Дает сигналы, ходит по учреждениям с видом обиженного, оскорбленного, обманутого в лучших чувствах человека, трудяги. Очень любит сочетания слов: «моральный облик», «поведение в быту», «нарушение норм», «разложение семьи» и прочее. И всегда он чуть-чуть прав, так как что-то вынюхал из действительной жизни, но раздул и придал другой оттенок всему, и вот уже люди становятся в позицию защищающихся и объясняют, оправдываются. И те, кто слушает их объяснения, думают, верно: все так, конечно, Моксеев — мерзавец, но ведь нет дыма без огня... В суде и в учреждениях, где он бывает, знают, что он тип судебного графомана, то, что журналисты называют «чайник». Но... все-таки... однако... чуть-чуть... нет дыма без этого самого...

Верно, доставалось и Моксееву. Был он однажды и бит, физически бит, набили ему-таки морду, но он и это обратил немедленно в свою пользу, тут же подал в суд и пришел на прием к Малину.

Малин, не выдержав, сказал ему тогда: «Да за те помои, что вы на людей льете, я и сам бы вам надавал по физиономии с удовольствием». Моксеев понимающе посмотрел на Малина, деловито достал блокнотик и записал эту фразу.

Через неделю на одном совещании заместитель председателя городского суда, усмехнувшись, мимоходом сказал Малину: «Николай Александрович, ты что же на своем участке граждан терроризируешь?.. К тебе с жалобой, а ты по морде». «Как это?» — спросил Малин. «А вот так. Пришла на тебя «телега» от одного деятеля».

К счастью, Моксеева успели уже узнать и в горсуде и поэтому ограничились легким замечанием и указанием: знать наперед, с кем дело имеешь, сдерживать душевные порывы.

Малин принял к сведению и стал сдерживать. А сейчас, глядя на Моксеева, Малин ловил себя на ощущении того, что перед ним человек с гигантской нерастраченной энергией зла, на которой могла бы работать чертова мельница или чертова электростанция.

— Так что, Моксеев, готовьтесь,— сказал Малин.— Непременно привлечем вас по обвинению в клевете.

— Будет уж вам, Николай Александрович, ярлычки клеить. Я с неба ничего не беру, у меня фактики,

чистые фактики, без вымысла. Так что вряд ли кто решится неприглядные свои дела на божий свет выставлять. Фактиками задавим, Николай Александрович.

— У вас, Моксеев, семья есть? — спросил неожиданно Малин, хотя отлично знал все о семейном положении Моксеева.

— Имеется,— сказал Моксеев,— только при чем тут это?

— А при том, что пришла жалоба от первой жены. Экономите на алиментах, скрываете заработки.

— Никаких документиков у вас по этому вопросу быть не может. То, что прирабатываю, получаю из рук в руки. Так что здесь вам копать нечего.

— Ладно, Моксеев, разговор окончен. И запомните: безнаказанность ваша временная.

— А это мы посмотрим,— сказал Моксеев со значением.— Еще надо поглядеть, чья безнаказанность временная. Некоторые думают, что если они на своем посту, то, значит, можно...

— Ладно, Моксеев, мы уже поговорили.

Моксеев удалился, кивнул, обеими руками надевая на круглую, гладкую голову жесткую, как каска, синтетическую шляпу.

— Следующий, Наташа.

Секретарша сунулась в дверь.

— Нету следующего, Николай Александрович. Смирнягин не явился.

Николай Александрович посидел несколько минут в пустом кабинете, затем запер сейф, проверил бумаги на столе, вышел. Он решил, что пойдет домой пешком. После того, как он пролежал два месяца в больнице с микроинфарктом, он старался как можно больше ходить пешком, а одну неделю даже бегал перед завтраком, прочитав в газете переводную статью о пользе бега...

Он шел сейчас по скверикам Ленинградского проспекта, врезанным островками в теплую и пыльную асфальтовую реку шоссе, где жаркий бензиновый ветер обдавал яркие, туго закатанные на краях клейкие листочки, еще вчера бывшие почками. От них пахло прохладным, свежим, будоражащим запахом, от которого Малин чувствовал себя молодым, обманчиво молодым, опасно, непрочно, ненадолго молодым, какими становятся по весне пожилые и наделенные воображением люди. Гадкий привкус от разговора с Моксеевым быстро прошел, и сейчас два впечатления владели Малиным: разговор с летчиком и телеграмма от Ивана.

Из разговора с летчиком внезапно ушли все сложные и омрачавшие этот разговор тона: непонимание одного, отчаяние другой, сломанность привычного хода жизни, нежелание и обязанность Малина влезать в эту жизнь.

Сейчас из всего этого осталось только одно — непреклонная воля к обновлению, к изменению того, что казалось незыблемым, возможность любви... Вот это, пожалуй, и было главным — возможность любви.

Пахнет только что распустившейся листвой, весенним дождем — остро, терпко, обманчиво, слышен женский смех, и голоса, и легкий стук каблуков, и чей-то светлый плащ прошелестел, исчез, и что-то в его жизни должно все-таки произойти, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра... Но проходят дни, недели, месяцы, а того, что он ждет, не происходит. Впрочем, знал бы он сам, чего он ждет!

Когда-то это было неосознанное, давнее, детдомовское — бросить учебники, выбежать из детдома, из душной спальни, слоняться по чужим весенним дворам, смотреть по сторонам, курить и ждать, что будет, что вечер принесет: то ли драку, то ли дружбу, то ли что-то еще, чего он и вовсе не знает...

И в молодости и сейчас, а сейчас даже, может быть, больше, чем в молодости, существовала у него, никогда не затихала тоска по любви...

А женился он за месяц до войны. Еще на рабфаке познакомился с тихой татарской девочкой по имени Флора и все годы учебы, как говорится, «ходил с ней». Это была спокойная, ровная, нежная и не по возрасту степенная дружба. Даже и не ругались, кажется, ни разу. И так же поженились, спокойно и тихо, степенно, без сомнений и без праздничности, как бы само собой. «Бесконфликтно», как шутил иногда Малин. После учебы собирались вместе ехать на Урал, уже назначения были в кармане, билеты на поезд, уже вещи были собраны, да только уехать не успели. Война.

Добровольцем он ушел на фронт и войну прошел счастливо, если не считать легкой контузии. А жена ждала его на Урале, работала на заводе и чаще, чем многие другие, он получал письма, спокойные и подробные. И он знал, что тыл у него крепкий, верный, что за тыл нечего беспокоиться. А ведь как это важно для фронтовика! И когда вышли знаменитые симоновские стихи «Жди меня», он видел, как ребята вырезают их из газеты, а у кого нет газеты, списывают у товарищей. И он тоже хотел списать стихи и послать жене. А потом подумал: зачем? Еще обидится, не так поймет... Ее не надо было просить ждать. Она и так ждала. И ничего не знал он из этих обстоятельно веселых писем о том, что три месяца пролежала она в больнице, избитая до полусмерти за свою неуступчивость малолетней заводской шпаной. Встретились они в Москве осенью сорок пятого, в старой своей довоенной комнате, на улице, носившей когда-то чудное название «Мясная Бульварная», а ныне переименованной в улицу Талалихина. Жена была несколько иной, чем он представлял, больше четырех лет он ее не видел, и в разлуке она была лишь такой, как ему хотелось. Встретились они хорошо, нежно, но, как говорится, без лишних слов, без вздохов, без слез... Встретились так, будто и не расставались, и пошла послевоенная, голодноватая, трудовая, вполне нормальная жизнь.

Никогда он не тяготился этим браком, этим совместным существованием, настолько привык к жене, что казалось, без нее никогда и не жил... Но почему-то редко в этой нормальной и вполне хорошей жизни он чувствовал себя счастливым и молодым. Вот именно молодым, молодости не было в их отношениях с самого начала. Это были отношения не по возрасту взрослых, погруженных в труд и заботу людей... С годами, приходя домой после работы, он почти полностью отключался, разговаривал с ней как бы механически и чаще всего по бытовым домашним делам; все, что передумано и пережито за день, оставалось только в нем, и не было даже никакого желания поделиться, рассказать. Так и жили годами почти молча, лишь переговаривались: «Деньги оставил?», «Сеньке портфель купил?», «Буду в одиннадцать», «Котлеты в холодильнике».

Сенька был приемыш. Когда стало ясно, что жена никогда не родит ему ребенка, они взяли мальчика. Сейчас Сеньке было четырнадцать.

Мгновения, когда хотелось все изменить, перевернуть, попробовать начать все сначала, приходили к нему все реже, но были остры, мучительны... Когда он задумывался над всем этим ясно, трезво и спрашивал себя: могу ли я это или нет? — стараясь не притворяться перед самим собой, он честно отвечал: не могу. Нет, не старость, не робость, не компромиссность и даже не привычка были тому виной. Просто, как бы ты ни был недоволен своей рукой или ногой, ты их не отрубишь... И жена и

Сенька — плохо ли, хорошо, но были частью его. В последние годы он почти перестал думать о каких-либо переменах в жизни, и только сегодняшний разговор с летчиком всколыхнул и взбудоражил его.

А потом эта телеграмма от Ивана. По его расчетам, Иван должен был освободиться позднее. Они переписывались постоянно, все годы последнего Иванова срока, но перерывы в письмах становились все более долгими. Одно время, когда Малин хлопотал о переводе Ивана на поселение по новому указу, он писал в те края еженедельно, причем в администрацию колонии чаще, чем самому Ивану. Да и Иван писал по настроению. Накатит на него тоска, одиночество — напишет. Или, наоборот, почувствует, что есть надежда, что дела не так уж тягостны,— напишет длинное веселое письмо с описанием своей жизни, местных нравов. Иван писал два вида писем: «под настроение» (чаще всего грустные) и с «описанием нравов». У Малина тоже было два вида писем: «воспитательные» и «просто так».

«Воспитательные» писать было нелегко, и Малин не мог иной раз закончить такое письмо в вечер, растягивая писанину на несколько дней... Впрочем, это он только про себя так называл — «воспитательные». Никаких нотаций и поучений там не было. Там были просьбы.

Малин просил Ивана не срываться, не выказывать характер перед администрацией, к чему, как было известно Малину, Иван имел склонность, в школе не прогуливать, без нарушений дойти до «звонка». Малин писал только об этом, только о существовании Ивана т а м, только о том, как Ивану освободиться. Об остальном он молчал, он всячески старался показать Ивану, что остальное — вопрос решенный... «Остальное» — это было будущее Ивана. Это был вопрос о том, как поведет себя Иван, освободившись на этот раз. Это был вопрос о том, начнет Иван по новой или нет.

Это было между ними как бы решено. К а к б ы.

Ох, Малин не был наивен! Он хорошо знал, что самые толковые люди, способные жить вне уголовщины, вернувшись и вроде бы добившись того, о чем мечтали — свободы, натыкаясь на первые сложности свободной жизни, на неустройство и на связанные с этим мелкие унижения, при отсутствии друзей, близких, нормальной среды тянулись вновь к старому, проклятому, но хорошо изученному делу, к старым, проклятым, но хорошо изученным друзьям.

Человеку легче повторить свой путь, чем начинать новый. И все-таки подсознательно Малин верил в Ивана... Ваня умный и слишком набедовался, чтобы снова ни за что ни про что споткнуться, думал Малин... Слишком тяжело дался ему последний срок, чтобы возвращаться туда, где был... Но кто знает, как все может обернуться. И еще он подумал: надо бы все-таки съездить к Ивану... Самый момент.

Он мысленно прикинул, как ему взять несколько дней за свой счет, как выпрыгнуть из того монотонного поезда, который вез его ежедневно без остановки, в каждом вагоне которого лежали несделанные дела, ненаписанные бумаги, заботы, обещания, обязанности. Придется рвануть стоп-кран.

«Все-таки поеду,— решил Малин.— Пойдем с Иваном на рыбалку. Под Оршей — хорошая рыбалка...»

✪

Странная это была дружба или связь, хотя ни то, ни другое слово здесь не подходило. Но Малина самого считали странным, а потому и тянулся он к странным людям, а значит, и связи у него были странные.

Малин судил Ивана.

Еще готовясь к делу, он заинтересовался Лаврухиным... Биография и впрямь была непростая. Он затребовал давнее, первое, «дурное», как он определил, дело с продовольственными карточками. Прочитал письма партизан, просивших тогда за Ивана, посмотрел наградные... Все это заинтересовывало, но не удивляло. Такие истории в суде тогда случались.

Удивляла полнейшая незаинтересованность Ивана на суде. Малин знал, впрочем, что̀ может означать вот такое безразличие, мертвые, как бы сонные глаза, витание в облаках, когда подсудимого приходится отвлекать, переспрашивать. Это означало потерю инстинкта самозащиты. Это означало степень полного отчаяния.

И уж потом Малину сообщили, что Лаврухин якобы замышляет побег из суда. За все время, что работал Малин, только два-три очевидных «смертника» пытались бежать из здания суда. И, конечно, заваливались. Это было стопроцентно проигрышное мероприятие.

Поначалу, в день открытия суда, Малин ожидал от Ивана гибкости, хватки, смелой, даже наглой защиты, ведь Иван был коренник в упряжке, главный по делу, а значит, он должен крутить и вертеть, замазывать, отказываться от всего, даже от самого себя, брать на себя только последнее дело. Последнее дело было ограбление командированного в Сокольниках.

Только один раз на суде Иван улыбнулся — когда потерпевший, рассказывая о том, как его раздевали, заявил:

— Сняли с меня все, лежу я босой, а вон этот...— Он показал рукой на Ивана и помялся, подбирая слово:— А вон этот товарищ указал им на недопустимость таких действий. Ну, они и вернули мне ботинки.

Иван улыбнулся, а через несколько минут вновь погас, сидел вялый, заторможенный, будто все происходящее для его судьбы не имело уже никакого значения. Малину даже показалось, что он в шоковом состоянии. И, когда вечернее заседание кончилось, Малин дал знак охране на секунду задержаться, не выводить Лаврухина.

Это не полагалось... Но ощущение какой-то непоправимо надвигающейся беды владело Малиным.

Зал был пуст. Только Малин, охранники и между ними на скамье Иван.

— Лаврухин, что с тобой? — спросил Малин.— Ты что, на неприятность нарываешься?..

— А что? — холодно глянув на него, ничуть не удивившись тому, что судья заговорил с ним, сказал Иван.— Вы моей жизнью дорожите?

— Может, и дорожу,— сказал Малин.— И очень удивляюсь.

— Чему? — улыбнулся Иван.

— Тому, что ведешь себя, как идиот.

— А как прикажете? — спросил Иван.

— Не прикажу, а посоветую. И посоветую вот что: принять срок и сделать его последним. На этот раз последним. Ты уже не мальчик, скоро стариком будешь — и все в сроках... Или пожить неохота?

— А какой срок дадите, гражданин судья?

— Тот, что заслужил. Законный.

— Не смешите, судья... Не видел я еще от вас никогда никакой законности и не увижу до конца дней своих.

Малин будто эту фразу и не расслышал. Он сказал:

— А ты, Лаврухин, как я понимаю, УК знаешь не хуже судьи. Сколько ты сам себе определишь?



Иван даже улыбнулся от неожиданности зтого вопроса, от странности зтой мнимой возможности.

— Я бы отпустил себя на свободу.

— Но зто ты уж больно расщедрился, Лаврухин. Подумай всерьез: сколько бы ты сам себе положил? Только будь реалистом.

Иван задумался. УК он знал действительно неплохо.

— Шесть лет,— сказал Иван.— От силы.

— Ясно,— сказал Малин.— Теперь хоть я твой приговор знаю.

— Только ведь и так не дадите. Вы же судите не по делу, а по биографии. Три пишем, пять — в уме. Если у человека что и было, так он за зто отмаялся. А вам лишь бы накидку сделать.

— Эх ты, Лаврухин, Лаврухин... — сказал Малин.

— Что Лаврухин? Я всю жизнь Лаврухин. Только никто меня за Лаврухина не считает.

— То есть? — удивился Малин.

— А вот так... Лаврухин — зто человеческая фамилия. А меня разве за человека считают?

— Когда ты был человеком,— сказал Малин,— с тобой и разговаривали по-человечески. Тебя наградили, тебя уважали. А когда ты перестал им быть, озверел, тебя посадили за решетку.

— Я зверем никогда не был,— сказал Иван.— На мне крови нет. И никогда не было... Да и к чему весь зтот разговор?

Разговор действительно не получился. Может быть, Малин был слишком жестковат... Да и какой мог быть разговор в той обстановке? Малин не привык и не умел заигрывать с кем бы то ни было. Разговор он вел твердый, справедливый, по профессии, по привычке. А сейчас ему хотелось сказать зтому Лаврухину что-то иное, может быть, даже обнадеживающее, но он не имел на то права... Хотелось также спросить Ивана, как попал тот мальчиком в плен, как жил в Германии, какова была судьба отряда, где воевал Иван... Но Малин не спросил... Подсудимого нельзя было задерживать долго, да и не по делу зто все...

— В общем, давай так, Иван,— сказал Малин.— Глупостей не делай. Получишь срок такой, как положено. Так что отсидишь, и еще пожить останется... Понял? Голова у тебя вроде бы не тупая, а вот дураку дана.

— Дай, судья, шесть лет,— сказал Иван.— Тогда еще шанс будет. А так — что... Плыть да плыть, пока не потонешь. Очень уж туманен берег.

— У тебя близкие есть, Лаврухин? — спросил Малин.

— Нет, гражданин судья, у меня близких. Одни далекие.

Малин дал знак уводить. Иван поднялся, пошел, сутулясь и отчего-то прихрамывая, привычно держа руки за спиной.

Двое конвойных в ритм его шагам двинулись за ним.

Иван получил семь лет — по всей строгости закона, но минимально в рамках тех статей, по которым он проходил.

Были у Малина другие дела, другие суды, но почему-то не шел Иван Лаврухин из головы. Перед последним заседанием он велел принести в камеру Ивану старое, но теплое пальто. Было дождливо и сыро, наступала осень, а Иван ходил в тоненьком пиджачке и на суде хлюпал носом. Малин, впрочем, просил не говорить, от кого пальто, так как Иван, по его мнению, и зто мог истолковать как хитрую «покупку».

Через месяц Малин сделал запрос в администрацию колонии, как ведет себя Лаврухин, где он работает. Малин ждал ответа от администрации, а получил письмо от Ивана. Видимо, в колонии Ивана уведомили о малинском запросе.

Письмо было короткое. Лаврухин сообщал, что он на общем режиме, что же касается остального,

то «смогу вам сказать одно, гражданин судья: понял и разочаровался я в своей жизни давно. Понял-то понял, а вот как выкарабкаться... ведь сколько нужно сил, чтобы дойти до последнего звонка. А что еще впереди ждет?» Малин ответил ему большим письмом. Когда он его написал, хотел перечитать. Но потом запечатал и отослал.

Он знал, что если перечитает, то ему может не понравиться. А раз не понравится — значит, он станет себя редактировать. А раз он будет редактировать себя, то какой же смысл в таком письме? Это уже будет не письмо, а статья.

А статья не нужна Ивану. У Ивана и своих статей достаточно.

Это случалось не первый раз, он увлекался людьми нередко во вред себе. Он возился с ними, тратил силы, верил — его обманывали. Тогда он говорил себе: ну, что же, и на старуху бывает проруха. Больше уши не стану развешивать.

Развешивал снова.

Он был человек, навидавшийся подлости, грязи на много лет вперед, настолько, чтоб не удивляться ничему, однако иной раз он позволял себе пойти против логики, на поводу чувств. Чувства чувствами, а результат-то какой?

Малин нередко принимал участие в трудоустройстве только что вернувшихся из колонии, звонил на предприятия, просил директора, а через неделю его протеже брали под стражу и спустя несколько месяцев привозили к нему же в суд.

Бился как-то за одного малолетку, хотел перевести его на условно-досрочное. Парнишка ему понравился, какую-то искорку он в парне почуял и вот ходил в управление мест заключения, писал письма, так что его даже заподозрили в скрываемом родстве... Добился он условно-досрочного для этого парня, а тот, освободившись, затеял драку с таксистом, который отказался сажать его в машину, ударил камнем по голове...

Начальство сделало Малину замечание за то, что поддерживает сомнительные элементы, что недальновиден и близорук...

Кое-кто из коллег считал его слишком доверчивым для юриста, слишком полагающимся на эмоции, на чутье. Иные были уверены, что все это показуха, что Малин разыгрывает из себя «человека», что ему это надо для чего-то... возможно, для большой карьеры. Однако таковая, вопреки их ожиданиям, не предвиделась. Третьи считали, что это все оттого, что Малин не имеет детей, что не израсходованные на приемного запасы своего «педагогического таланта» он тратит на эксперименты с разными, не стоящими того типами... Четвертые Малина любили.

Впрочем, множество дел было-таки скучнейших, где и разобраться-то было невозможно, кто прав, кто виноват: коммунальные склоки, разделы имущества, бракоразводные. Сам Малин такие дела, как правило, не вел, но посетителей, как председатель суда, принимал он, и приходилось разбираться во всем.

Были люди, прямо-таки созданные для данной статьи, другие не укладывались в статью. Более того, всем своим обликом, казалось, противоречили ей, да и самому факту своего привлечения к суду.

У него были свои, не юридические категории, по которым он разделял подсудимых. Он делил их, например, на убийц и неубийц. Убийцы не обязательно проходили по делу об убийстве. Просто это были люди, способные убить. Те, для которых не существовало человеческого барьера, лишь временный тактический барьер страха, осторожности, неудачного момента.

Неубийцы зачастую были матерыми преступниками, аферистами, изворотливыми типами, но в определенном отношении у них был барьер. Они не могли ударить человека ножом. Он, Малин, защищал собственность граждан, но внутренне он всегда предпочитал тех, кто отнимает собственность, даже самую крупную,— тем, кто отнимает жизнь. Да, он люто ненавидел убийц, но все-таки каждый смертный приговор, «исключительная мера наказания», потрясал и его, вызывал чувство страшной, немыслимой, несовместимой с его правами — нравственными ли, судейскими ли — ответственности. К тому же за долгие годы своего судейства он пришел к выводу, что ужесточение наказания, даже необходимое, все-таки никогда не ведет к снижению преступности.

Разные люди проходили перед ним, он мог наблюдать ежедневно парад человеческих слабостей— слабостей, ставших на мгновение силой, способной уничтожить, искалечить, унизить человека... И сколько общего было у всех этих странных и одновременно несчастных людей, которые сидели сбоку от него между конвойными! У этих стриженых, как бы безликих, напуганных, как правило, настолько неуверенных и робких, что странным казалось, что еще вчера они грабили, нападали...

Одних он сам, лично, не раздумывая, прибил бы, такие это были мерзавцы, но обязан был выносить приговор, в котором значились весьма умеренные сроки отсидки. Других он жалел, почти сочувствовал им, но обязан был вынести приговор, от которого бледнели и менялись в лице на что-то надеющиеся, избегающие глядеть ему в глаза люди... Был Закон. Срок диктовался реальностью содеянного.

А иной раз все счастливо пересекалось: и субъективное его отношение и его юридическое отношение к сути вопроса. Так было и с Лаврухиным, тут был срок резиновый, его можно было растянуть, а можно было и сжать... Прокурор требует десять, адвокат просит шесть. А чего подсудимый заслуживает? А заслуживает он и того и другого. Это как посмотреть! Как истолковать данное преступление в совокупности с прошлыми делами. Смотря как истолковать личность подсудимого и его жизнь... Конечно, то, что повоевал мальчишкой и прошел немецкие лагеря и что судьба от этого во многом пошла наперекос,— все это следует учесть, и верно, что на это напирает адвокат... Но ведь это давно было, а что было потом... Подсудимый безразличен, то ли устал, то ли прикидывается... Кажется, устал.

Потерпевший его чуть ли не благодарит — не оставил босым, не позволил снять брюки. Ну что ж, учтем и это как смягчающее (чуть-чуть, самую малость) обстоятельство, но, с другой стороны, опытное жулье никогда не мелочится... Когда другие начали бить потерпевшего, не велел. Ну, что ж, зачтется и это, хотя зачем ему бить, зачем ему брать себе еще и другую статью...

Да и вообще этот парень, набедовавшийся сам, а сейчас несущий беду другим людям, чем-то задевал и привлекал к себе Малина.

Может, независимостью своей и, как это ни странно в таком положении, чувством собственного достоинства, а может быть, тем, что в глазах его была не тупость, не жалкость, не жестокость — живое, острое, человеческое в них просверкивало.

Был он похож не на матерого хищника, а на усталого, разочарованного, побитого, на все плюнувшего человека со странной и несчастной судьбой.

Человека ли?..

Переписка их шла уже несколько лет. Малин привык к письмам Ивана, где тот описывал свою работу, учебу, местные нравы, учителей в школе, дружков по колонии.

Малин не писал теперь «воспитательные» письма, а отвечал односложно и кратко — такая почти семейная, регулярная переписка.

Однажды Малин проводил судейский семинар в тех краях, где сидел Иван. Он попросил начальника областного УМЗ разрешить ему свидание с Иваном.

Когда он стоял в узкой комнате, курил и ждал Ивана, он пытался вспомнить его лицо, то оно появлялось, то дробилось и исчезало. Малин знал Ивана вот уже несколько лет, а видел его, по сути дела, только на суде.

— Видно, лоск наводит после работы сынок ваш,— сказал охранник.— Все ж таки не хочется перед своими черт те кем показаться.

Через минуту Ивана привели.

Он тоже в первое мгновение не узнал Малина. Лицо его выразило отчужденное непонимание, словно ошибка произошла, но тут же он понял, узнал, подался вперед к Малину, улыбнулся во все лицо, изумленно.

— Не ожидал, Иван? — дрогнувшим от волнения голосом сказал Малин.— А я вот нагрянул, поглядеть хочу, как ты тут живешь.

Сидели долго, никто их не ограничивал во времени.

О чем они говорили?

Ну, сначала о работе, как там у Малина, как здесь у Ивана. Потом о родных. Пишет ли Ивану мать, и как себя чувствует жена Малина, и как учится его сын.

Потом о местных порядках и о том, есть ли возможность выйти на поселение. Затем разговор пошел, как говорится, нестройно...

Тут Иван сказал Малину:

— Я ведь думал сначала, что вы меня ловите... Со мной многие поначалу хорошо разговаривали: мол, на каком ты фронте воевал, а я, дескать, рядом был, значит, мы однополчане... А потом как начнет раскалывать, прижимать, чтобы я на себя взял то, чего не было... Всю жизнь меня, как волка, флажковали, потому и кидался на людей. Сейчас только бы досидеть! Эх, надо было б лет семь назад выдираться, тогда бы я еще кое-что успел!

— Брось, Иван... Не гневи бога, ты молодой мужик, чего тебе назад глядеть? Выйдешь скоро, осмотришься. Десятилетку постарайся дожать, будешь человек со средним образованием... Устроишься, а там, гляди, и женишься, семью заведешь.

Малину хотелось еще что-то сказать Ивану, необыденное, простое, то, ради чего он, может быть, и приехал к нему; сказать, что Иван испытает то, чего никогда раньше не знал: любовь, покой,— и жизнь еще подарит ему свои большие и малые радости, что он, Малин, все-таки не ошибался, думая о людях: не такие уж они сволочи, какими часто кажутся,— что-то в этом роде хотелось сказать, но одно дело — подумать, другое — высказать. Когда выскажешь, все звучит как-то фальшиво... Не просто ведь выразить то, что думаешь.

И он сказал Ивану, прежде чем уйти:

— Все, Иван, будет у тебя нормально.— Помолчал немного и добавил: — А как освободишься — сразу мне телеграмму. Приеду, если что, помогу на месте... Да и вообще посмотрю, как ты обживаться будешь.

Самое трудное — это первые недельки, когда на тебя все косятся.

Глава одиннадцатая

Иван собирался на свидание... Он старался не слишком об этом думать, чтоб не сглазить, но все-таки думал все время.

Он брился долго и старательно, и ему казалось — электробритва жужжит вхолостую, оставляя кусты на шее и щеках. Не привык он к электробритвам. Когда он побрился наконец, в комнату вошла мать и положила на стол какой-то пакет.

Иван развернул тугой целлофановый пакет с черно-серебряными ярлыками. В пакете, распяленная на картонке, лежала белая нейлоновая рубашка.

— Спасибо, мать,— сказал Иван.— Но зачем же такая роскошь?

— Это тебе от Вячеслава Павловича, он выбирал,— сказала мать со значением.

Как мало, в сущности, человеку надо! И хотя Иван подсознательно понимал, что так нужнее матери, чтоб от Вячеслава Павловича, он вдруг со стыдом подумал о неприязни к этому человеку, о том, что он, Иван, сам все время выискивает то ту, то эту неприятинку в муже своей матери, а зачем выискивать-то? Ну, не доверяет он Ивану, а на каких основаниях доверять? И кто ему вообще, Ивану, обязан? Встретили как человека, не гонят из дому, на работу устраивают, рубашку вот подарили... Пустячная вещь — рубашка, у него миллион было рубашек, но краденых или купленных, а не дареных. Да и к тому же такой — с плечиками, в таких нашивках да медальонах на пакете — у него никогда не было.

Он стал ее разворачивать, посыпались тоненькие булавочки, которыми была она закреплена, стал надевать, влезая в твердые, цвета сахарного рафинада манжеты. Матовая эта материя холодила тело. От шуршания новой рубашки, от шелка галстука, который он медленно завязывал, от тишины в квартире, нарушаемой лишь мягкими шагами матери, тихим скрипом чистых половиц, он ощутил удивительный покой, который знал когда-то очень недолго, в детстве, до войны, но позабыл... Одеваясь, застегивая новую рубашку, собираясь идти, он вдруг представил себя нормальным сыном, который уходит вечером на свидание, а потом вернется. Потому мать и положила перед ним выстиранное или новенькое полотенце и ушла по своим хозяйственным делам.

Он посидел несколько секунд перед зеркалом, посмотрел на себя: галстук был завязан правильно, ровно, по моде прошедшей семилетки — маленьким узелком-удавочкой.

Половицы скрипели, слышался голос Сережи, шипение, треск — это включили телевизор... Как-никак субботний вечер.

Младший вошел и по-хозяйски оглядел брата... В галстуках, видно, он тоже не разбирался, так как не носил, а остальным остался доволен.

Брат, по невысказанному мнению Сереги, был в большом порядке. Крепкий, плечистый, мужественный, в белой рубашке с галстуком, пахнущий одеколоном «Полет». Такого брата приятно проводить до места его назначения.

— Ну что ж, двинем,— сказал Серега.

— Пошли,— сказал Иван.— Проводишь меня немного.

— Я могу и до конца,— сказал мальчик.— Куда хочешь, могу, мне еще до спанья десять часов.

— Ну, уж десять,— придрался Иван.— Что ж ты, под утро ложишься?
— Ну, не десять, а все равно много.
— Ну, тогда пошли.
Они немного не дошли до горсада, и Иван сказал:
— Ну, давай, братан, назад, дальше я сам дотопаю.
— А ты найдешь? — с сомнением спросил мальчик.
— Найду. Я в любой местности ориентируюсь.
Серега удовлетворенно кивнул. Что он, забыл, кто его брат? Пограничники, они хоть где ориентироваться обязаны. Серега улыбнулся брату и пошел домой.

Иван в одиночестве похаживал у входа в городской сад. У него еще было минут пятнадцать до прихода девушки, и он вошел на территорию сада. Народу было множество, в основном около танцплощадки, огороженной металлической сеткой, но кое-кто стоял у эстрады-раковины, где у микрофона вовсю старался культурник.

Публика была совсем молодая, а ребята постарше дружно сгруппировались вокруг павильончика «Пиво — воды».

Музыка уже гремела, ломкий и как бы чуть хмельной, приятный мужской голос рвался из динамика, постанывая: «Ай, ай, Дилайла...» Во всей этой суете Иван ощутил вдруг свое одиночество, и свой возраст, и то, что был здесь как бы неким гостем с другой планеты, летевшим много световых лет и вот опустившимся рядом с танцплощадкой, неким пришельцем с той планеты, название которой неизвестно местной молодежи, так же как и неизвестен факт его появления здесь, в инопланетной форме (светлый костюм, белая, в первый раз надеванная рубашка, галстук с искорками). Что он, робел перед этой танцплощадкой? Перед девушкой, которая, возможно, не придет? Перед этими юнцами в широченных, как юбки, брюках, с металлическими украшениями по обшлагу? Видал он таких фраеров!

Не много погулял он в своей жизни на воле, но танцплощадки видывал, и прошел, и вымерял их вкрадчивыми шагами танго, прыгающими — фокстрота, и даже во времена рок-н-ролла успел повертеть партнерш юлой около себя. Он в этом деле был человек передовых взглядов и уважал новые танцы, и парки культуры, и заводские клубы, и особенно летние рестораны с танцплощадками, куда приходил в различные периоды своей жизни по делам, а часто и просто так, для собственного удовольствия... «Дилайла» так «Дилайла»,—думал он.—Сегодня «Дилайла», а вчера было «Арабское танго», а позавчера «Мишка, Мишка, где твоя улыбка». Расклешенные брюки с блестящими инкрустациями тоже можно пережить, вчера были узенькие дудочки, что на ногу не налезали, носили и такие, а сейчас будем носить нормальные, но если кому охота, пусть подметает пыль клешами с бубенцами, пусть звенят однозвучно, ему не жалко, но он лично такой сарафан с музыкой на себя не напялит... Вот мини-юбки — это другое дело, это нам нравится, это пусть носят».

Правда, когда он видел жалконькие, острые коленки, которые совсем не вредно было бы прикрыть бальным платьем со шлейфом, он отводил глаза далеко-далеко с некоторым смущением, но когда появлялись круглые, нагловатые, откровенно себя подававшие колени, как у его продавщицы, то тут приходилось заставлять себя притушить фары, чтобы не ослепнуть от такого блестящего зрелища. Все это было нормально, это и была та жизнь, о которой он думал в последние годы с таким ожиданием и с такой надеждой, что, казалось, один лишний день срока — и червы порвутся, лопнут, как пересохшие веревочки.

Ни перед кем он не робел. За свою долгую, так называемую жизнь он приучил себя ни перед кем и никогда не робеть...

И чувство грусти было от другого — от того, как теперь в это войти, не будучи тем, кем он был вчера.

Как войти в эту музыку, в этот шум, в эти танцы, в этот круг беззаботных и веселых людей без друзей, без прошлого, без денег, без ничего?.. Как в это войти, чтобы почувствовать себя на равных с другими, не хуже, не лучше, чтобы незаметно скинуть свой шлем или скафандр человека с другой планеты, скинуть, положить под кустик и посыпать землицей... И пусть никто не узнает, где он лежит.

И, как в юности, как очень давно, он подумал о себе в третьем лице, как о постороннем. Так, много лет назад, попав в первую свою пересылку, он подумал о себе с искренним ужасом и вместе с тем, чуть играя с самим собой, как бы наблюдая себя со стороны и любуясь жуткостью своего положения: «Теперь всю жизнь он будет здесь».

А сейчас он думал с удивлением, иронией, отгоняя боль и неуверенность и стараясь найти силы для радости:

«Пришел на танцы».

Это было действительно странно и смешно: он пришел на танцы... Ну что ж, попробуем потанцевать.

Иван посмотрел на часы... Пора ей было уже прийти...

Запаздывает. Ладно, подождем. Куда ему торопиться?

Он подошел к ларьку «Пиво — воды», стал в хвосте очереди, все время поглядывая на вход.

Его очередь уже подошла, но вдруг появился малый, узкоплечий, с румяным, будто температурным лицом, в широченных обношенных брюках, и встал впереди Ивана.
— Что-то я тебя здесь не видел,— сказал Иван.
— Пенсне надень! — сказал парень высоким, охрипшим голосом.
Иван промолчал.
Парень сдувал пену с пива, а к нему еще подошли человек шесть, и он стал брать на всю компанию.

Очередь зароптала:
— Шпана бесстыжая!
— Чего оскалились? — сказал румяный.— Мы тут стояли.

Он помахал рукой под носом у Ивана.
Парень был приблатненный. Именно не блатной, а приблатненный.
Таких Иван мог узнать по двум фразам. Подделочник, малолетка, строящий из себя урку. Иногда такие оказываются просто щенками. Но иногда бывают безжалостней взрослых.
Пили они демонстративно долго, шумно и выплескивали остатки на землю так, что брызги летели на ботинки стоящих в очереди.
— Засосали, клопы,—тихо, но отчетливо сказал Иван.

Румяный посмотрел на него и сказал:
— Тебе что, фраер, банки поставить?
Иван встретил его взгляд и улыбнулся. Он оглядел их всех по очереди, всю стайку. Выпил свою кружку, поставил. И неторопливо пошел к выходу. Связываться с ними не входило в его намерения. Спиной он чувствовал их взгляды.

Он стоял на людной площадке возле входа, искал ее глазами.

«Не придет,—решил он и подумал с обидой: — А зачем тогда согласилась... Сказала б, не могу — и все... Тоже, артистка».

Он решил прождать еще пять минут и идти домой.

В этот момент появилась продавщица. Она показалась ему другой, чем днем в магазине...

На ней был белый свитер и белая короткая юбка, она не сразу увидела Ивана или не узнала, обвела скользящим взглядом полукруг входа и было собралась уже брать билет и идти к танцплощадке одна.

Тут Иван решительно двинулся наперерез.

— Добрый вечер. А я уж двадцать минут прохлаждаюсь.

— Здравствуйте! — Она посмотрела на него, как ему показалось, оценивающе: как, мол, он вечером смотрится.

Так Иван и не понял, одобрила или нет.

— Ну что ж, давайте, так сказать, раскопемся на имена,—сказал Иван.

Девушка глядела, не понимая.

Иван пояснил:

— Ну, в смысле представимся друг другу.— И первый протянул руку: — Иван Лаврухин.

— Тамара,—сказала девушка, едва дотронувшись до его руки.

— Куда двинемся?—спросил Иван.

Девушка поглядела на него и сказала:

— Вы знаете, я должна извиниться.

— То есть?

— Я пришла сказать, что я не могу.

— Сегодня или вообще?—в упор спросил Иван.

Она помешкала, помолчала.

— Сегодня...

Иван вздохнул с облегчением.

— Ну что ж, бывает. Хорошо, что вы пришли... А то, знаете, когда не приходят, стоишь, как дурак, глазами хлопаешь.

— Я это тоже не признаю,—сказала девушка.— Какой смысл договариваться, чтобы не приходить?

— Вот именно.

— А у меня сегодня непредвиденные обстоятельства, так что уж извините...

— Ну, конечно. Всякое бывает. Можно вас немного проводить?..

Они прошли еще метров сто молча. И говорить вроде было не о чем. Вот если б они зашли в ресторан, посидели бы как следует и он бы, что называется, понял ее, тогда было бы о чем разговаривать.

Для того, чтобы с человеком разговаривать, надо его понять.

Конечно, эта девушка не похожа на Галу. Гала была постарше и, возможно, поумней. И она сама подсказывала тему разговора. А эта девочка в магазине казалась очень бойкой и шустрой, а здесь что-то застеснялась.

Да и сам он в магазине, как это ни странно, чувствовал себя свободней.

Во-первых, для того, чтобы разговаривать, надо решить: кто он? Вернулся с погранки—нет, это только с Серегой проходит. А может, приехал с дальнего Севера, отработал ряд годков на ударной стройке, привез много косых... А не лучше ли рассказать все, как есть?.. Отбыл срок, а теперь на свободе, о которой мечтал... Ну и что особенного, посидел немножко и вернулся. Она удивится... Бывает и такое?.. Да, бывает иногда.. Ну и что? Ну и ничего. Что было, то было—и нет ничего. Можно порассказать много интересного... Какая разница, где он был, откуда вернулся! Важно найти общий язык.

— Ну вот, спасибо,— сказала она.— Здесь мой автобус.

— Так, значит, мероприятие переносится?

— Какое еще мероприятие?

— Ну... встреча... свидание.

Она не ответила.

— Знаете, Тамара, я ведь не случайно подошел к вам в магазине. Я ничего не делаю случайно. Я бы хотел увидеть вас еще раз... Это очень важно.

Автобус подошел. Девушка вскочила на подножку, стояла у незакрывшейся двери, ища в сумке мелочь.

Иван как бы издали, как бы со стороны вновь увидел ее и понял снова, что она очень хороша. Автобус тихо тронулся, Иван сказал, догоняя автобус:

— Я зайду в магазин... Во вторник.

Она делорито бросила монетку в кассу, взяла билетик, посмотрела номер и, не найдя то, что нужно, досадливо поморщилась. Автобус уже набирал скорость.

Тамара подошла к задней двери, закрывшейся не до конца, и крикнула оставшемуся позади Ивану:

— Не надо в магазине. Здесь, в понедельник, в восемь!

Иван пошел домой пешком. Он миновал горсад, откуда доносились приглушенные, ухающие звуки духового оркестра...

Иван остановился на мгновение у входа, раздумывая, идти туда или нет, но потом, вспомнив чертовых малолеток, решил не идти. У ларька стояло всего два человека, все отвалились туда, где громыхал оркестр.

Иван снова выпил маленькую кружку пива, на этот раз с наслаждением, спокойно, и, крякнув от удовольствия, отправился домой.

Он шел по главной улице, навстречу субботней толпе...

Сейчас он чувствовал себя как бы иностранцем, который когда-то здесь жил, потом уехал, все позабыл и вновь вернулся.

Девушек и молодых женщин было в этом городе много, пожалуй, даже больше, чем он мог предположить... Некоторые походили на Тамару одеждой, прической, выражением лица, были почти как Тамара, почти, но не совсем, большинству из них было далеко до Тамары, все-таки не случайно он первой увидел именно ее. Иван гулял по улице. Не по зоне, не по двору—по улице. Просто гулял... Не уходил, не догонял, просто так шел по улице своего города.

«А все-таки я поздновато выбрался,— подумал Иван. — Ведь если бы я был поумнее и не убежал тогда, уже давно был бы на свободе».

Он выругал себя за тот побег, как больной человек ругает себя за то, что по-глупому подхватил болезнь...

«Но все это с какой стороны посмотреть,—сказал себе Иван.— Это чудо, что я здесь, с руками, и ногами, и с головой, и даже часть зубов осталась после цинги, и возрастом еще не старик... А значит, не так уж все плохо».

И он решил больше не мучить себя нелепыми сожалениями и вопросами.

Друзья считали его слово и решение непререкаемыми, знали, что, если он что-то сказал, от этого не откажется и не догадывались, что он мысленно отменял свое решение десятки раз, ставил его под сомнение, ругал себя за якобы неправильный ход, но никогда и никому не признавался в том.

Он шел по улицам, даже не пытаясь их вспомнить, так они изменились. Ведь он не был здесь в общей сложности почти двадцать лет. Один переулок, тёмный и немощеный, с булочной на углу, показался ему знакомым. С этой булочной было связано и единственное в его жизни воспоминание об отце.

Он шел с отцом из этой булочной зимой и незаметно отковыривал мягкую корочку свежего, только что из печи, батона и не мог оторваться, почти всю корку изгрыз, такой она была вкусной, так хорошо пахла на морозе... Грыз и грыз, а отец шел рядом, задумавшись, и не замечал. Потом к отцу подбежали какие-то люди и что-то сказали, Ваня не расслышал, а только подумал, что это отцу нажаловались на него за хлеб. Люди отошли, а отец кинулся к нему и стал жестко драть ему уши... «За что? Что я такого сделал? За эту несчастную корку?!»— думал Иван, кривил лицо, но не плакал. Уши, однако, почему-то не болели. Иван, испуганный отцом, вдруг услышал, что тот шепчет ему: «Терпи, Ванюш, терпи, сынок».

И это очень удивило Ваню. Сам наказывает и сам жалеет.

Только чуть позже, когда мочки ушей вдруг начали неожиданно болеть и как бы вспухать, он понял, в чем дело: просто он забыл опустить уши треуха и не заметил, как обморозился, а прохожие увидели, что уши белые, и сказали отцу.

Вот именно у этой булочной оно и было. Здесь, по этой улочке, и шли они с отцом, здесь и грыз Ваня ту вкусную, теплую корку, запах которой и сейчас не позабыл, здесь и обморозился.

Вот и все, что он про отца помнит.

И еще помнит, только совсем смутно, как отец ушел из дома на фронт. Было это ночью, Иван спал, а когда отец подошел к его кровати скрипя ремнями портупеи, он проснулся и чуть полуоткрыл глаза.

Но он не показал виду, дурачок, что проснулся, потому что в полусне затаил обиду на отца: уезжает, а не берет его с собой. А ведь говорил ему, что возьмет с собой, что куда угодно возьмет с собой, даже на фронт, и научит стрелять... Говорить-то говорил, а теперь прощается в спешке, в темноте с ним, полусонным, прикладывает губы к его щеке и что-то шепчет. А Ваня и не слышит, лежит, задержав дыхание, ему хочется зареветь, но он крепится из последних сил.

— Спит,—говорит отцу мать.—Не буди. Зачем лишние слезы?

— Я и не собираюсь,—вроде бы говорит отец.— Жалко, что вот так... Что с Ванькой-то и не простился... Все скажешь ему, как надо. Он уже большой, поймет...

Но ничего не хотел понимать Ваня в тот миг, обида, невыплаканные слезы и предчувствие чего-то плохого сдавили ему грудь, и он не ответил на поцелуй отца. Только когда отец и мать вышли из комнаты и он остался один во всем доме, в полумгле, в зябкости рассвета, испугался и зарыдал громко, ни от кого не таясь...

Больше никогда он не видел своего отца и, чем дальше жил, тем больше отвыкал от той простой мысли, что у него был когда-то отец. Теперь отец все чаще становился строчкой в деле, и, когда он говорил следователям об отце, о том, что отец, секретарь райкома партии, погиб на фронте, они всегда укоризненно качали головой, видно, мысленно сравнивая жизненный путь Ивана с биографией его отца, того самого человека, который действительно когда-то существовал и тер онемевшие уши Ивана в переулке возле булочной...

Глава двенадцатая

Иван легко нашел свой дом, прошел садик, показавшийся вечером более просторным, чем утром, увидел свет в окнах с открытыми ставнями, покойный и теплый, и, казалось, услышал голоса там, в доме. Он неторопливо прошел сенцы, разулся, снял пиджак и вошел в комнату. Первое, что он увидел, было серое, вытянутое, озабоченное и недоброе лицо матери, а уж потом взгляд его буквально вонзился в молодое мужское лицо, в голубые, как бы равнодушные глаза, чей свет был неожиданным и чужим в этой комнате, казенно знакомым. Обычный костюмчик, тупорылые ботинки, рубашка, узенький, как селедка, галстук — все было обыкновенным в этом человеке и все же обожгло неприятной знакомостью, и в соединении с угрюмо-болезненным лицом матери, понурым — Вячеслава Павловича, в соединении с пустотой и тишиной, означавшей отсутствие в комнате младшего брата,—все это не оставляло места для лишних вопросов, кто пришел и зачем.

Животом, чутьем Иван понял—кто, да только еще не знал ответа на второй вопрос — зачем. В нем мгновенно заработала отлаженная годами пружина, сжавшая его тело, приготовившая к броску, к уходу, к побегу, но усилием воли он застопорил, свел на нет это инстинктивное, мощное движение, подумал с холодком: далеко не уйдешь да и незачем ему бегать, нет такой необходимости на сегодняшний день, ибо сейчас, как никогда в жизни, за ним действительно ничего нет.

Он заставил себя пройти по ставшему тесным квадрату комнаты, сказать: «Привет всем присутствующим»,— сесть на стул, вытащить, не торопясь, любопытствуя на незнакомого гостя, пачку папирос, ударить пальцем по донышку пачки, выбивая папироску для гостя, протянуть ему ее...

— Спасибо, некурящий,— сухо ответил гость.

Он оглядел Ивана, как бы мысленно сверив его облик с кем-то ему одному знакомым, и сказал:

— Значит, Лаврухин-Серебров Иван Владимирович, если не ошибаюсь.

— Не ошибаетесь нисколько... Только еще не все фамилии назвали.

— Ну, основные, по которым вы проходили.

— Еще проходил примерно по пяти, у вас, видно, не полные сведения имеются, только могу сообщить одну небольшую поправочку.

— Какую же?—спокойно, как бы без интереса, спросил гость.

— А вот какую, уважаемый...— Он поискал обращение: «гражданин»— нет уж, хватит, отговорено, этого ты не услышишь; «товарищ»— не нужно Ивану таких товарищей; наконец Иван нашел то, что искал...— Молодой человек! Простая у меня, единственная фамилия—Лаврухин. Так прошу и называть. А все остальные, к вашему сведению, недействительны, так как по ним я проходил по делам, а дела эти на сегодняшний день полностью закрыты. Известно ли это вам?

— Известно,—сказал гость.

— Вам-то, как я погляжу, все известно, но мне лично неизвестно, молодой человек, по какой причине вас это может интересовать.

— Давайте обойдемся без «молодых людей»,— наставительно, с легким звоном металла, но без злости сказал гость.— Моя фамилия Шандрин Борис Петрович, участковый инспектор.— Он двумя

пальцами взял что-то лежавшее в верхнем кармашке и, приподняв, показал краешек красной книжечки.

— Что вы ко мне имеете, Борис Петрович? — спросил Иван.

— А то, Лаврухин, что надо бы соблюдать некоторые моменты.

«О чем это он?—подумал Иван. И ему показалось, что он действительно что-то уже натворил, нечто такое, что одному этому менту и известно, о чем он сам, Иван, позабыл.—Да что за бред?—подумал Иван.—Кто мне может что предъявить, если ничего я не делал?»

Однако все сигналы тревоги, бедствия вдруг вспыхнули, включились, саднище обжигая все внутри, он почувствовал прямо-таки физическую боль, такую острую, какую он не испытывал и в более тяжкие моменты своей жизни. Мысль о том, что можно потерять все, что за эти два дня было: дом, мать, вчерашнее утро в саду, булыжную улочку, по которой ходил с отцом, музыку в парке, Тамару и больше всего братана, несущего подаренный им автомат,— мысль об этом показалась нестерпимой, безвыходной, как самый плохой приговор.

— Вам должно быть известно, Лаврухин, что по прибытии вы должны были немедленно явиться в отделение милиции по месту жительства по существующему порядку о лицах с двумя и более судимостями.

Иван почувствовал облегчение.

— К тому же, по нашим данным, вы никогда здесь прописаны официально не были, да и вообще нигде не имели прописки, кроме временной.

— Когда же ему было являться к вам? — вступила в разговор мать.— Когда только с поезда слез... Что ж, прямо с вокзала — прямо к вам бежать?.. Вас-то он частенько видел, а вот с нами долгие годы не виделся... Странно вы рассуждаете, товарищ дорогой.

— Зачем же с поезда?.. Сегодня с утра мог бы зайти. Ведь это поважнее, чем в парке толкаться.

— Сегодня суббота,— сказала мать.

— Мы без выходных работаем,— сказал участковый Шандрин.— Дежурный всегда на месте.

— Нет уж, извините,— сказал Иван.— После долгой отлучки и в парке не вредно потолкаться... В обычном таком парке культуры и отдыха.

— Проводите время, где хотите, Лаврухин. Но сперва получите официальное разрешение на проживание в данной местности, а во-вторых, не нарушайте порядка для лиц с двумя и более судимостями, освободившихся после заключения.

— Слушайте, вы,— тихо, сдавленно сказала мать,— вы все-таки потише давайте... Выбирайте выражения... Тут ребенок в соседней комнате, младший брат... Ему это совсем не обязательно.

— Извините, не учел,— сказал участковый.

— И вообще, уважаемый товарищ, я завтра, между прочим, зайду к Алексею Гавриловичу и спрошу: что это за порядки? — сказал Вячеслав Павлович, до этого момента молчавший.— Приехал сын, можно сказать, из мест не столь отдаленных... Честно отработал то, что положено. Приехал не к чужим, а к родне, которая тоже, можно сказать, натерпелась из-за данной ситуации. И что же происходит? У нас, можно сказать, праздник, а вы тут являетесь и начинаете...— Вячеслав Павлович со стариковской какой-то укоризной пожал плечами.— И нечего вам беспокоиться за работу и за прописку. Я лично его устрою... И с начальником вашим тоже знакомы. Не первый день в этом городе живем.

Иван удивился и обрадовался таким высказываниям отчима. Главное, чтоб тылы были надежные, чтоб свои не предавали, а что касается этого неожиданного прихода, то Иван начал понимать, что это все, как говорится, для понта, узнать, что к чему, какова обстановка в доме, показать недвусмысленно: ты, мил друг, не хорохорься где не надо, мы тут рядышком, мы не дремлем... Почему не заглянуть на огонек, раз служба такая? Почему не посмотреть лично: что это за птица с клювом — Иван Лаврухин? А клюва-то и нет... Был, да отпилили.

— Товарищ начальник,— мирно сказал Иван.— Не тратьте на это нервы. У нас все в порядке было, есть и будет... А подсечка у вас поставлена четко.

— Ну, уж было-то не совсем в порядке,— сказал участковый, как бы не услышав последней фразы Ивана.

— Что было, то было,— сказала мать.— Знаете, как в песне поется? Зачем же былье не к месту вспоминать?

— Песня здесь ни при чем. Одно дело — песня, другое — жизнь,— сказал участковый.— А порядок для всех установлен.

— Но согласитесь: существуют же некоторые деликатные моменты,— сказал Вячеслав Павлович.— На такой службе все понимать надо.

Участковый посмотрел на Ивана, усмехнулся, как показалось Ивану, со значением. Иван подумал, что родня малость перебрала и все эти словопрения могут кончиться для него нехорошо, что парень, видно, оскорбился, они ведь не любят, когда качают права, и вот сейчас он заведется и заберет с собой Ивана, и в соответствующем месте отстучат Ивану бумажку на машинке, чтобы в двадцать четыре часа уматывал на все четыре стороны.

Участковый, однако, ничего не сказал, встал, повернулся резко, как по команде, и пошел к выходу. Весь вид его, похоже, не понравился не только Ивану, но и матери, потому что она сорвалась с места и, перегородив путь милиционеру, сказала одновременно и просительно и властно:

— Нет, так у нас не положено. Раз в гости пришли, садитесь к столу.

Участковый бросил коротко:

— Спасибо. Ни к чему это.

— Знаете что,— сказала мать,— простите, забыла, как вас зовут...

— Лейтенант Шандрин Борис Петрович.

— Так вот, Борис Петрович, вы уж нас не обижайте... Праздник у нас большой. Вы уж поймите.

— Не об том речь ведете,— сказал лейтенант, задержавшись у дверей.— Мы тоже люди и тоже понятие имеем... Но раз ты вернулся кое-откуда, то зайди по-хорошему: так, мол, и так... А то ведь как получается на практике? Сначала дело новое придет, потом уж самого увидишь. А в районе, между прочим, какое положение создалось? На днях очистили магазин райпотребсоюза, обувную мастерскую, кафе «Буратино».

Мать сделала протестующее движение.

Лейтенант кивнул.

— Не о вас речь. Мы уже цепочку взяли. Но представьте себе, человек из определенных краев вернулся. Вокруг него начинают группироваться старые знакомые... И вот на этом фоне в районе что-то случилось. Вот и начинаешь думать, есть тут связь или нет. Вам это нужно? Нет. И нам, кстати, это не нужно.

— Ладно, начальник,— сказал Иван.— Мы вас поняли... Вы нас тоже поймите.

Участковый пошел к двери. Но мать, видно, не собиралась его отпускать.

— Нехорошо так. Все-таки уважить надо людей... Окажите нам честь, а Ивану доверие... Прошу вас к столу.

Вячеслав Павлович уже пододвигал стул.

— Ну ладно, посижу минутку,— согласился лейтенант.

Через минуту появился штофик с водкой, остатки вчерашнего пиршества. Вячеслав Павлович точной рукой, не целясь, разлил беленькую в мелкие рюмочки.

— Ну, вздрогнем! — сказал он.

Все, даже мать, быстренько вскинули рюмкой, только лейтенант не шелохнулся, все осеклись, замерли, чувствуя разницу между собой и им, таким молодым по возрасту и с виду похожим на всех обычных парней, но являющимся в полном смысле слова представителем власти.

Мать начала очень бодро, настолько бодро, что Ивану показалось, будто это наигранно, она улыбалась и говорила громко, а глаза были потухшие, но вдруг голос ее сломался, и все лицо быстро и сильно побледнело, и рот дернулся, будто она поперхнулась костью.

Она замолчала и села на стул.

— Да что ты, Ната? — сказал Вячеслав Павлович. Иван удивился этому имени: «Ната». Разве у матери есть и такое имя? Никогда он не слышал, чтобы кто-нибудь ее так звал.

А она между тем тяжело сползала со стула. Иван с опозданием, Вячеслав Павлович на мгновение раньше кинулись к ней. Иван поддерживал ее за руки, старался, чтобы она не упала, с ужасом чувствовал безвольную, неуправляемую тяжесть ее тела. Вячеслав Павлович начал метаться по комнате, беспомощно размахивая руками, что-то искал, что-то неразборчиво бормотал.

Иван с усилием подтащил ее к дивану, подложил под голову подушку, увидел, как набухшие веки начали прикрывать глаза, дотронулся до ее лба, и ему показалось, что лоб холодеет. Вячеслав Павлович увидел лицо Ивана и закричал.

Лейтенант быстро и деловито, как врач, подскочил к матери, склонился над ней, взял руку, нащупал пульс, глазами приказал Вячеславу Павловичу, чтобы тот перестал бегать, чтобы замолчал.

В комнате стало тихо, лейтенант сидел, выражение лица у него было колдовское, а Иван и Вячеслав Павлович со страхом и надеждой смотрели на него, как на врача.

— Прощупывается,— сказал лейтенант.— Но слабенький...

Он покопался в пиджаке, нашел цилиндрическую металлическую коробочку, откупорив ее, сунул матери что-то в рот. Зубы ее были сомкнуты, он стал с усилием разжимать челюсти, но она сама неожиданно открыла рот, по-собачьи, языком взяла таблетку, что-то надтреснуто, неразборчиво прошептала.

— Сейчас, сейчас получше будет,— говорил лейтенант.— Это — хорошее средство, проверенное. Валидол.

То ли средство помогло, то ли мать сама справилась, но лицо ее начало окрашиваться слабым румянцем, она провела рукой по лицу, сказала виновато и тихо:

— Ну вот... напугала всех.

— Вот видите, помогло,— возбужденно говорил лейтенант.— Нелишне иметь при себе. Я иногда в сильную духоту, в жару или как понервничаю, сам употребляю, оно кислое, приятное, вроде мятной конфеты...

Он еще раз пощупал пульс у матери и сказал:

— Ну вот, теперь все в порядке... Я уж пойду, пожалуй.

— Нет, погодите,— слабым голосом сказала мать.— Сейчас Слава чаю поставит.

Вячеслав Павлович, весь еще напуганный, сжавшийся, покорно выскользнул на кухню.

Мать лежала на диване, а Иван с лейтенантом молча сидели у большого обеденного стола. Иван сказал лейтенанту:

— Давай, лейтенант, по маленькой — за мать.

Лейтенант посмотрел на Ивана, подумал, согласился.

— За мать выпью... Чтобы не было у нее больше с тобой неприятностей. Согласен?

— Согласен, лейтенант. И чтоб ты ее больше не пугал.

Они чокнулись, выпили. Вячеслав Павлович возился на кухне, чашки звенели, круто, громко закипал чайник.

— Ты, лейтенант, за меня не бойся,— сказал Иван.— Я уже старый. Я вот лет на десять тебя старше. А может, и на сто... Я уже устал, да и здоровье не то, так что можешь за меня не волноваться.

— Только потому, что здоровье не позволяет,— сказал лейтенант.

— Не только. Есть еще много, много других причин, да ведь мы еще не сошлись так близко, чтобы рассказывать.

— А близко нам и не надо,— сказал лейтенант.

Вячеслав Павлович уже принес чай, пироги, варенье.

Пропустили еще по одной перед чаем. Попили чаю, не торопясь, поговорили о чем-то незначащем, неважном.

— Где живете-то? — спросил неожиданно Вячеслав Павлович.

— Между небом и землей,— усмехнулся лейтенант.

— То есть?

— А вот так. Обещали дать с назначением, но уже год тянучка идет. Холостой, семьи нет, вот и таскаюсь с квартиры на квартиру по углам. А ведь мог в Средней Азии остаться работать. Я в Ташкенте училище кончал. Бывал кто? — спросил участковый инспектор.

— Я бывал,— сказал Иван.— Приходилось.

— Так вот, как приехал с Ташкента, так и не устроюсь.

— Что же это?.. И вас, выходит, обделяют? — сказал Иван.— Не дело. Власть своих не должна обижать.

— У нее все свои,— сказал лейтенант.

— Выходит, что и я свой?

— А то какой же? Ты, можно сказать, нарыв на теле общества, но свой.

— Спасибо за комплимент, начальник.

— Да нет, я не в настоящем времени имею... Я имею в прошедшем. А то кто ж ты был, как не нарыв... Роза, что ль, чайная?

— Ну, опять пошли не в ту степь,— сказал Вячеслав Павлович.— Конечно, нарыв, а то кто же, только был нарыв, да лопнул. А теперь новая кожа наросла. Не так ли, товарищ лейтенант? А с квартирой безобразие.

— Оставайтесь у нас,— сказала мать.— И места много, и Иван у вас под рукой. Чуть набедокурит — сразу за шкирку.

— А что,—сказал Иван,— идея. По крайней мере не соскучитесь.

Все улыбнулись, и лейтенант тоже, но как-то невесело. Он поднялся с места, но Ивану показалось, что скорее по необходимости, чем по желанию... Видно, не так уж и хотелось ему уходить из теплого, обжитого дома на квартиру, которую он снимал.

— До свидания, товарищи,— сказал он официальным, таким же, как вначале, тоном. Он постоял, поглядел в раздумье на Ивана и добавил тем же тоном, только понизив голос:— А ты, Иван, на днях зайди куда надо. Ко мне лично.

— Будет сделано.

— И вообще,— сказал лейтенант,— надеюсь...

— Все будет нормально, товарищ лейтенант, чин чинарем.

— Ну, спасибо и будьте,— бросил лейтенант и ушел.

— Про свое не забывает,— сказал Вячеслав Павлович.— Из молодых, да ранний.

— А что, вроде симпатичный,— сказала мать.

Иван промолчал. Может, и симпатичный. А может, и нет; лично для него, Ивана, все они симпатичные.

Глава тринадцатая

Правда, был один. Лет двенадцать назад Иван возвращался из колонии с Урала, отбыв свой срок. Возвращался он к старым друзьям и знал уже заранее, что начнется все снова, потому что тогда ни к чему другому интереса не имел. Но в дороге об этом думать не хотелось.

Была весна, он стоял все время у окна вагона и смотрел с нежностью на то, что давно уже не видел, от чего отвык: на мелькавшие домики, на темные голые поля, на проносящиеся станции, где скорый не останавливается, на мальчишек, что-то громко, возбужденно кричащих вслед поезду.

Зябко ему было, и странно, и одиноко, и интересно... Чувствовал он себя и молодым и старым, глупым, как лопоухий щенок, и хитрым, как травленный на охоте волк.

Шел он сквозь вагоны спокойно и медленно, не прыгая на ходу, не свисая с подножек, никуда не торопясь, а просто так, пассажир, идущий в направлении вагона-ресторана. Ему нравилось идти по вагонам, на секунду заглядывая в чужую жизнь: вот эти спят, а те играют в карты, а третьи пьют вино, а вот девушка на нижнем боковом, в некупированном вагоне. Вот что его интересовало сейчас: не деньги, не работа, не будущее, а девушки, стоявшие у окна, сидевшие у столиков, читавшие, лежавшие на сиденьях, спящие и притворяющиеся, что они спят. И не то чтобы он конкретно чего-то хотел от них, хотя, конечно, и это было, но просто ему было хорошо и радостно, что они есть, вот тут рядом, отделенные от него не стеной, не проволокой, а тоненькой вагонной перегородкой, а некоторые ничем не отделенные.

Он разглядывал их и разговаривал с ними, записывал их адреса, все они сходили на разных станциях, махали ему ручкой, делали грустные глазки, но кто-то там их встречал, ждал, а он ехал дальше. За одной он ухлестывал довольно сильно, она была спортсменка и ехала на сборы. Ее окружали рослые парни с румяными ряшками. Иван таких не уважал: они все казались ему глупыми и занимались не делом. Хоть были они с виду и здоровы, и рослы, и мускулисты, но Иван представлял себе, что если понадобится, если жизнь заставит, то он будет ломать их как захочет и давить, как приземистый, худой волк может задавить любую рослую и мордастую овчарку, даже если у нее на шее болтается несколько золотых медалей. Но заводиться с ними без причины он не собирался, настроен был по-весеннему мирно, да и к чему ему валиться на чепухе?

Но девушка эта, Верка, чемпионка по плаванию, уж больно была хороша. Беловолосая, тоненькая, в синем спортивном костюме, который как бы приравнивал ее к мужчинам, да только не мог приравнять.

Все они, парни и девушки, были в своей спецодежде, в синих штанах и курточках. Эта облегающая одежда к женщинам была беспощадна: если ноги коротки, или толст живот, или что-то еще не так, как надо, то форма только выпячивала все эти недостатки. Она же, Вера, чемпионка области или района, это Ивана не интересовало, была тоненькая, с узкой, детской талией, с сильными, длинными ногами и, казалось, вот так и родилась в этой синей эластичной кожуре. Очень подчеркивал спортивный костюм ее хрупкость и силу, девичество и женственность.

Иван и так и эдак подходил к Вере, но она улыбалась ему, как всем, приветливо, но ничего не обещая.

В ресторан она идти отказывалась, а различные байки, которые Иван вспоминал к месту и не к месту, слушала вежливо, но рассеянно.

Спортивные парни смотрели на Ивана искоса, водку, которую он покупал в станционных буфетах, не пили и, казалось, при первом удобном случае готовы были его отколошматить. Тогда Иван, не любивший ходить на любую охоту в одиночку, нашел себе напарника. В купе к нему подсел молодой азербайджанец. С кавказцами было легче знакомиться, и через несколько часов Иван и азербайджанец были если не друзья, то хорошие приятели.

Правда, азербайджанец пил только сухое вино, да и то понемногу, и сильно темнил насчет работы, и на прямой вопрос Ивана: «Где имеешь приварок?» — он отвечал: «Ай, в одном месте».

Разумеется, Иван не раскалывался насчет себя: работал он будто товароведом в одном хорошем месте по распределению после окончания техникума. Было это и культурно и привлекательно для собеседника.

«— А у вас такого-сякого не бывает? У нас этого почем зря не достанешь.

— А чего ж, бывает... иногда в конце квартала...

— Так... может быть, я прямо к вам в случае чего, если...

— Зачем так сложно?.. Я и сам для вас возьму, если будет, и пришлю, потом отдадите...»

Но собеседники не любили неопределенности, они хотели уж все наверняка, зная, что если оставить деньги, то это обяжет товароведа повертеться и достать... Ну, а на всякий случай (хотя, как они могли не поверить такому хорошему, отзывчивому человеку?) записывался точный адресок Ивана. Конечно, Иван не преминул показать свое служебное удостоверение, а кто там будет разбираться подробно, что, где и зачем, если синими чернилами на белой картонке написано: «То-варо-вед».

Все чин чином. А иногда и не брал Иван задатка, просто так — на симпатию, на интерес, в счет будущих поставок. Порой и без умысла, не для корысти и махинации, а просто так представлялся людям на их вопрос: «Кем работаешь?» «Товароведом».

В конце концов кем он и был, если не товароведом?..

Азербайджанец же вообще нравился ему. С ним приятно было заходить в купе к девушкам, очень он был мягкий и обходительный. Что азербайджанец может понравиться девушке больше, чем он сам, этого Иван не мог допустить. Так и появлялись они вдвоем в вагоне, где ехали спортсмены.

Азербайджанцу тоже сразу понравилась беленькая Вера, и он с ходу начал «гулять по буфету», приносил девушке конфеты, выскакивал на полустанках, притаскивал ведра яблок, теплую картошку в кожуре.

Допоздна они сидели в ее купе, бесконечно раздражая спортсменов, остря и стараясь выделиться на общем фоне, а она только тихо посмеивалась, оставляя обоим расплывчатые и весьма неопределенные надежды...

Потом она сошла вместе со своими спортсменами, оставив адрес все-таки азербайджанцу, а не Ивану.

Правда, она сказала Ивану: «Будете в Запорожье, заходите». Но адрес не дала. Просто — Запорожье. Спортивное общество «Буревестник».

Да Иван нашел бы при желании, умел он и без адресов находить, да только зачем?.. Зачем все это, когда нет ответного чувства? Так и сказал ей Иван на прощание: мол, всего вам доброго, новых рекордов на благо советского спорта, прыгайте выше всех, ныряйте глубже всех, но ведь выше себя все равно не прыгнешь...

Девушка не поняла, что именно этим хотел сказать Иван, а он не стал пояснять. И ребенку был ясен смысл: какую сильную промашку сделала девушка, не оценив Ивана... Молодой был тогда Иван, глупый и думал, что все должны его ценить. По заслугам. А получалось, что по заслугам ценили его не женщины, а городские, областные и даже республиканские суды...

«Ах, все это блажь: и спортсменки, и любовь, и разные варианты,— думал Иван.— Главное, доехать, не наколоться на пустяке, найти своих, немного отдохнуть, погулять — и снова за дело». Потому как что еще он в жизни любит и умеет?

А Верочка стоит на станции, чемоданчик у ног, стоит среди таких же синих, форменных, спортивных и молодых, машет рукой то ли азербайджанцу, то ли Ивану. А может, и всему вагону. Вот подошел автобус, синяя стайка вкатилась в него, вот мелькнула в последний раз в окошке белая кудрявая голова, и автобус скрылся.

— Ну, что ж, друг,— сказал Иван.— Ни тебе, ни мне, а какому-нибудь атлету с секундомером. Пойдем посидим.

И азербайджанец, почему-то до этого избегавший вагона-ресторана, неожиданно согласился.

Они хорошо, спокойно, долго сидели, обсудив Веру и вообще женщин. Азербайджанец сказал Ивану, что есть у него невеста, что как только устроится на работу, получит квартиру, так и вызовет свою девушку, хотя и не хотелось ему ехать в Россию.

— А что за работа у тебя такая? — спросил Иван уже не в первый раз.

Парень помешкал, поглядел на Ивана, будто впервые его видел, будто соображал, стоит он признания или нет, и, убедившись, что Иван все-таки этого, несомненно, заслуживает, сказал:

— А работа простая. Училище МВД окончил, получил звание, назначение, еду к месту.

«Ах, вон что, так вот ты из каких слоев общества!»— подумал Иван и сказал:

— Ну что ж. Такие люди нам нужны.

— Кому нам? — удивился азербайджанец.

— Всем нам, — пояснил Иван. — Людям.

Они посидели еще часок-другой под мирный перестук колес, попивая красное сладкое вино, запивая его горьким пивом, заедая жестким дорожным бифштексом с застывшим оранжевым фонарем яйца на верхушке.

Азербайджанец рассказал Ивану, что работал на заводе слесарем-сборщиком, что был дружинником в заводском отряде, что у них в городе резня сильно распространена и есть повод, нет повода — чуть что, мужчины за железку хватаются. Вот он и боролся с нарушителями, однажды самого порезали, две благодарности получил, а потом вызвали, предложили по комсомольскому набору, и он пошел. Училище окончил, получил назначение, вот и все дела...

— А почему не в форме едешь? — спросил Иван, сделав наивные глаза.

— Приеду на работу, надену. Зачем людей стеснять, себя обременять?

— Ну, а если в дороге что?

— Если да кабы, во рту вырастут грибы...

— А вдруг вырастут?

— Ну, а вырастут — поджарим. И без формы можно свой долг выполнять.

У Ивана вдруг сердце заныло, и он спросил все так же спокойно и дурковато:

— А без пухи можно долг выполнять? Пуха у тебя с собой?

— Какая еще «пуха»?— сказал азербайджанец не то чтобы с подозрением, а с недоумением.

Впрочем, Иван догадывался, что недоумение — это как бы начальная стадия подозрения. И еще он почувствовал, что вопрос его был лишним, что так, «в лоб», не вызнаешь, а все завалишь, если что и задумал. А он еще ничего и не задумал.

— Ну, какая пуха, — спокойно сказал Иван. — Обыкновенная пушка, пистолет, называй, как хочешь. Ты что, в армии не служил, что ль?

— Почему ж, служил. Только у нас там никаких «пух» не было.

— Не знаю, где ты служил, — равнодушно и как бы теряя интерес к теме, сказал Иван.

Однако вскоре прежнее доверие было восстановлено... Иван даже рассказал азербайджанцу о том, как партизанил, как был взят в плен.

Глава четырнадцатая

Он рассказывал об этом редко и без прикрас. О чем угодно он мог врать. Об этом — никогда. Это было, и он часто удивлялся сам: ведь надо же было такому случиться именно с ним.

Теперь все реже и реже вспоминал он тот лагерь под Эрфуртом и дом, где он впоследствии батрачил у пожилой вдовой немки.

Она любила выпить и, чтобы не пить в одиночку, наливала ему немножко густого, желтого, пахнущего мятой пойла. Она разбавляла это водой и давала ему на закуску пару таких же мятных конфет. А ему хотелось есть: мяса, или кусочек сыру, или хотя бы хлеба. Она пьянела быстро; узкое длинное лицо ее наливалось румянцем, она включала патефон и заставляла его танцевать.

Он танцевал не в склад, не в лад — русского, вприсядку, под картавое цветочное танго. Она не сердилась на него. Муж ее погиб во Франции, а сама она жила когда-то в России, ее мать была остзейская немка, и к русским она относилась довольно терпимо. Главным ее врагом была Франция. Выпив, она начинала разговаривать: «Вот как бывает, мой бог... Никто там не остался, в этой стране шлюх, никто не остался навсегда, никто там и не погиб, может быть, пятьдесят человек, не больше, и среди них мой Карл Вальтер. Надо же быть таким растяпой, чтобы дать подстрелить себя там. Мой муж не был рожден для войны, у него была лучшая в го-

роде коллекция марок, и он переписывался со множеством филателистов... Что поделаешь, на войну всех забирают, даже чудаков...»

Она не мучила Ивана, не издевалась над ним, как другие хозяйки. Побила раза два-три «для порядку», но не сильно, без злобы... Кормила не досыта, но так, что жить можно было.

Он хотел ее ненавидеть, но не мог.

В своей жизни затем он встречал людей гораздо более несправедливых и страшных, чем она.

Однажды он подрался с двумя немецкими мальчишками с соседнего двора. Они облили его водой из шланга, а была зима и довольно крутая для тех мест, и волосы его, облитые водой, стали стынуть, слиплись, казалось, вот-вот покроются ледяной коркой. Братья показывали на него пальцем, хохотали, мотали взад и вперед длинным шлангом, кричали:

— Russischer Schwein! Russischer Schwein!

Они дразнили его и раньше, но Иван сдерживался, молчал, он не считал этих ребят такими уж злыми, однажды они даже дали хлеб с повидлом, но иногда на них находило черт те что, и тогда они бешено цеплялись к нему.

Раз летом он работал во дворе без рубашки, голый по пояс. Когда он кончил работать и подошел к сараю, взял свою рубашку, увидел, что она мокрая и пахнет мочой. Братья как ни в чем не бывало гоняли мяч на соседнем участке. Иван в то время работал у хозяйки недавно и старался изо всех сил, боялся, что его отправят обратно в лагерь. И он промолчал, хотя всю ночь не спал и все обдумывал, как на рассвете возьмет кухонный нож, перемахнет через забор, дождется их во дворе у сарая и, когда они пойдут в школу, нападет и зарежет, как свиней, которых резал под руководством своей хозяйки. Он думал только об этом.

А в этот раз он стоял перед ними, уклонялся от холодной, твердой струи, и не было у него под рукой ничего, даже камня. Но в нем поднялась и стала разрывать его грудь кашлем и болью такая ярость, что, когда он рванулся на них с белым, перекошенным лицом, с прищуренными, покрасневшими от гнева глазами, с полузамерзшими волосами, они рванули от него в дом, хотя были и старше и рослее его.

Одного он догнал, ударил под дых, свалил на землю и стал пинать чоботами. Тогда он почувствовал нечеловечески твердый и тяжелый удар по плечам. Он покачнулся, удержался на ногах и продолжал бить ногами лежавшего фрица. Он увернулся от второго удара, такого же чугунного и свистящего, чуть задевшего его руку и прокатившегося мимо. Повернувшись, он увидел второго мальчишку, державшего в руках железный прут из забора... На этом пруте был зеленый полусгнивший кусок геральдического бронзового орла.

Иван бросился под удар, ухватил плечо врага, толкнул его, железка выпала из его рук, и они упали оба. Они вапялись в снегу, немец хрипло ругался и стонал, потому что Иван вцепился зубами в его руку и сжимал зубы что было сил, чтобы прокусить не только эту вонючую и толстую кожу, но и кость. Попалось бы горло — Иван прокусил бы и его. Немец орал все громче и бил Ивана по голове свободной рукой, но удары ослабевали, а крик усиливался, потому что боль становилась невыносимой.

Ивана уже тошнило от этой мокрой, окровавленной, как бы резиновой человеческой кожи, и его действительно вырвало, только тогда он отпустил руку немца. Но немец лежал навзничь, Иван видел белую, измазанную ржавчиной от железки руку с нешироким волчьим надкусом ниже локтя и чуть левее вены. Сначала был алый след, зазубрина, потом густо пошла кровь.

«Фашисты, ублюдки!» — сказал Иван, выругался, ударил проклятого немца ногой по ступне и пошел.

Второй, бледный, сидел на карачках, плакал, звал отца и ругался.

Иван ушел со двора, не зная, куда бежать. Он слонялся по городу, по окраинам, зашел в какую-то пивную, там попрошайничал (он знал немало слов по-немецки). Какой-то лысый мужчина, одноногий инвалид, узнал в нем русского, подозвал к себе, начал что-то тихо, вкрадчиво говорить, все время показывал, доставал монетку, подразнивая Ивана, а потом неожиданно ударил его несколько раз костылем по голове, да так, что Иван потерял сознание. Его доставили в полицию, привели в чувство, стали допрашивать, откуда он, где работает. Он запирался. Тогда его посадили в карцер и сказали, что наутро отправят в пересыльный лагерь. Тут он назвал свою хозяйку. Ей позвонили, и она приехала через полчаса.

Иван не знал, что будет дальше, чего еще можно ждать. Голова болела, ему хотелось спать. Он знал, что хорошим это все не кончится. Хозяйка сказала, что послала его в магазин, но он, видимо, заблудился. Его отпустили. Она крепко, грубо держала его за руку и молча вела домой. В дом они почему-то вошли с черного хода, как бы тайком. Когда они были уже в комнате, она спросила:

— Что ты сделал с двумя немецкими детьми?

— Я их бил, — сказал Иван, — изо всех сил, только мало. Они сволочи.

Он рассказал ей, как они облили его водой, как в прошлом году мочились в его рубашку. На хозяйку это не произвело впечатления, и она сказала спокойно:

— Свопочь ты! — и прибавила по-немецки: — Dreck! — Она помолчала, хмуро посмотрела на Ивана и добавила: — Меня уже посещал их отец. Он брал с собой ружье.

Иван был страшно голоден и попросил поесть. Она дала ему жидкого кофе, хлеба с маленьким кусочком масла, он быстро съел все это и попросил еще хлеба и кофе. Она не отказала и на этот раз, но он видел, что она еще больше рассердилась. Она не любила, когда он что-нибудь просил. Просить в этом доме не полагалось. Надо было брать то, что дают. Хозяйка знает, сколько надо дать и когда, а просить — это хамство, свинство, русская невыдержанность.

Когда он поел, она повела его на второй этаж в маленькую комнатку, напоминавшую чулан, и ушла, заперев комнату на ключ. Уходя, она сказала:

— Убежишь — погибнешь.

А он и не собирался убегать. Куда ему убегать? Он сидел в чулане в полной тишине и ждал того момента, когда станут слышны ее шаги на узкой деревянной лестнице. Два раза в день она приносила ему еду. Остальное время он лежал на сундуке, застланном одеялом, и смотрел в чердачное окно... Делать ему было нечего, он спал так много, что опух от сна, а когда просыпался, то начинал вспоминать отряд, и как ему там жилось, и как их неожиданно взяли. Он вспоминал до этого момента, дальше был лагерь, и вспоминать не хотелось. Еще он вспоминал мать и отца, как тот ушел, не попрощавшись, ночью, и как он, Ваня, делал вид, что спит. «Зачем так делал? — корил он себя. — Почему я с ним не простился?.. А где он теперь, батя? Может, в плену, а может, в бою погиб».

Почему-то Ване не верилось, что отец его живой. Он слишком много видел, как умирают, и понял

теперь, что это очень легко — сделать из живого человека мертвеца. Ему становилось страшно оттого, что и его может прибить отец этих двух маленьких немцев. Придет с ружьем и запросто пристрелит, как ничью собаку.

Но он не жалел, что связался с ними, он жалел, что мало им дал. Если бы он мог, он бы их убил. Они были фашисты. Он кусал руки от тоски, страха, одиночества, от бессильной злобы и обиды. На кого? Он не знал. На этих двух фашистиков? Не только на них... Вообще на всех немцев и вообще на всех людей.

И вообще на свою жизнь.

Он утыкался носом, лбом в маленькую жесткую цветастую подушку-думку и скулил в голос, без слез... Это избитая его душа томилась, стонала, посылала свои сигналы людям... Но только их никто не слышал.

Однажды хозяйка зашла к нему в такую минуту. Ему было так плохо, что он не услышал даже ее шагов, а когда открылась дверь, он мгновенно вскочил и выругался. Но она, видно, сама испугалась, поглядев на него, что-то прошептала, замешкалась, потом вдруг протянула руку, дотронулась до его головы. Он подумал, что она хочет его ударить. Но он ошибся. Бить его она не собиралась. Это он понял через секунду, когда увидел ее лицо. Лицо было постаревшее, бледное, с удивленными глазами, такое, как после церкви. Когда она приходила из церкви, у нее всегда были такие просветленные, тихие, измученные глаза.

Словно забыв, что она умеет говорить по-русски, она что-то долго, неразборчиво шептала по-немецки, обращаясь к нему и прикладывая руки к груди. Он этого не понял. Он понимал про еду и про работу... Потом она перестала шептать, постояла еще минуту, оглядывая его, это помещение, сундук, узкое чердачное окно, точно она прощалась с этим, точно она не видела этого никогда. Оглядев все, она ушла.

И все продолжалось, как было. Еще месяц она не выпускала его из дома, но теперь он жил не на чердаке, а внизу. С едой становилось все хуже, они ели теперь вместе за одним столом и почти поровну. Ваня забыл тот день, когда он видел мясо. И они не выпивали теперь вместе, как раньше. Хозяйка пила одна. Но она не оживлялась, как прежде, была рассеянна, неразговорчива, выключала радио, никогда не заводила патефон. Несколько раз город бомбили, и под прерывистый вой сирен они с хозяйкой шли в подвал. Когда ухали зенитки, хозяйка морщилась, а он считал залпы. Ни он, ни она не боялись...

Наконец она выпустила его погулять. Прошло три месяца его затворничества. На улице было черно, ни один огонек не прорывался сквозь затемненные окна. Изголодавшиеся, дичавшие собаки отрывисто, коротко лаяли, и натужно гудел движок. Ивану почудилось, что он дома, под Оршей, что это те самые улицы, что собаки соседские брешут, а электричество выключили, потому что поздно. И пахло уже не зимой, а весной, и необычный этот запах, легкий и свежий, тянул его бежать за околицу, еще дальше, по мокрой, нетвердой земле, бежать и бежать, пока дыхания хватает, а потом взлететь, как ястребок, и вонзиться в черное близкое небо.

— Не высовывать нос за ворота,— сказала хозяйка. — Далеко не ходить. Только двор.

И он не ходил далеко. Он не знал счет дням и не знал, какой месяц, то ли март, то ли апрель. Днем он почти не выходил на улицу, а когда вышел тайком, то увидел, что улица очень солнечная, снег стаял, правда, темные, мусорные куски неистаявшего снега еще темнели и гнили во дворе около изгороди, на обочинах улиц, что было необычно и странно. Иван встречал здесь уже не первую весну и видел, как немцы тщательно очищают улицы и дворы от снега, так, будто корова все языком слизала. На этот раз все было непривычно, заброшено, грязно, гнило. То ли хозяева забыли про свои обязанности, то ли ушли куда-то. Пригород совершенно опустел, и было много свежих развалин.

Несмотря на запрет хозяйки, Иван стал ходить иногда в город. Никто не обращал на него внимания, да и людей было мало, только школьники на территории стадиона занимались строевой подготовкой, бегали, ползали по грязной земле, протыкали воздух штыками. Некоторые были одеты в шинели, другие в гимназическую форму. Ване было интересно, настоящее у них оружие или так, игрушки. По виду было настоящее, и Иван стал уже было примериваться, как бы украсть ружье или хотя бы тесак. Но его приметил офицер, махнул рукой, чтобы Иван подошел, но Иван рванул изо всех сил по улице и влетел в первую подворотню, где спрятался за мусорный ящик. Видно, им было не до него, особенно не искали. Прождав полчаса, он дворами вернулся домой и несколько дней не вылезал.

Он смутно понимал, в чем дело, что происходит, но еще боялся в это поверить. Тайком от хозяйки он включал радио, пытался что-то понять, но не мог. Работал только репродуктор, приемники были сданы.

Соседский дом, где жили мальчишки, был тоже пуст, стоял с заколоченными окнами. Но однажды он заметил, что на дворе появился хозяин. Он медленно ходил по двору, толкал впереди себя тележку, собирал и бросал на тележку какое-то барахло. Ваня хотел спрятаться, но хозяин его засек. Хозяин остановился, отставил тележку, сплюнул и стал долго и неподвижно смотреть на Ивана. Затем он достал садовый нож и провел им по своему горлу, пальцем указывая на Ивана. Затем он длинно выругался, Иван не расслышал, но ему показалось, что по-русски. Ваня не знал, что делать, то ли бежать в дом, то ли лететь к сараю, хватать хозяйкины вилы.

Но немец не сдвинулся с места, он стоял все так же неподвижно и злобно глядел на Ивана, ругаясь, затем повернулся к Ивану задом, ударил себя ладонью по заду, показывая Ивану воочию, кто он, Иван, есть на самом деле. И снова поволок свою тачку, снова нагибался, что-то искал, находил и на эту тачку бросал.

Губы его шевелились, видно, он все еще ругался, ругательство было длинное, как стихи.

Через несколько дней в город вошли наши.

Первым делом Иван узнал, где находится комендатура, пришел туда чуть ли не на рассвете и стал уговаривать часовых пропустить его к коменданту. Часовые пропустили, но дневальный к коменданту-полковнику не пускал Ваню, выспрашивая его, по какому он делу и зачем. Иван сказал, что ему нужен именно полковник, что ему он все и расскажет. И его в конце концов пустили. Едва войдя в комнату, даже не разглядев как следует коменданта, Иван начал рассказывать про отряд, про плен и лагерь, почему-то вставляя в русскую речь немецкие слова.

Ваня говорил и говорил, не мог остановиться, иногда повторял одно и то же по нескольку раз, а полковник, коренастый, широкий грузин, сидел неподвижно и слушал его очень внимательно. Руки полковника были сложены, лежали на столе, и Иван все время смотрел на эти загорелые, темные, широкие руки, и ему почему-то дико хотелось лизнуть их, будто он был собачкой, щенком.

Он и чувствовал себя от счастья не человеком, а зверьком, собакой и только по привычке говорил языком человеческим, а на самом деле ему хотелось лаять, ходить на четвереньках, лизаться по-

щенячьи. Когда он чувствовал чужую власть и силу, то всегда наперекор старался перечить этой власти, а сейчас он сделал бы все, что прикажет ему этот человек... и Ивану хотелось даже поцеловать эти загорелые спокойные руки.

Полковник говорил медленно, с акцентом, был усат. Он позвал другого офицера, маленького и лысого. Маленький и лысый обнял Ивана за плечи и увел в другую комнату.

Он запер ее на ключ, чтобы не мешали, и стал спрашивать Ваню быстро, вразброс: в какой местности находился отряд и в какое время, как звали командира, когда и как Ваня попал в плен. Кто может подтвердить его пребывание в партизанском отряде.

Иван отвечал быстро и четко, он все понимал и врать не собирался, а лысый делал кое-какие пометки на бумажке, а через некоторое время он сказал Ване, что тот свободен.

Иван еще раз пошел к полковнику. Дневальный снова его не пускал, но Иван стал голосить, и комендант услышал и велел пустить.

— Ну, в чем дело?

Иван сидел и не знал, что говорить. Просто ему не хотелось уходить из кабинета коменданта.

Но полковник сказал:

— Ты иди, мальчик, мы все проверим.

— А где мой фатер? — спросил Ваня. — Вы можете проверить, живой он или... — Ваня подумал и сказал зачем-то по-немецки, сделав при этом жест рукой: — tot.

— Конечно, живой. Должен быть живой. И больше не употребляй немецких слов. Помни, теперь ты снова гражданин Советского Союза.

Он открыл ящик стола, достал две банки американской свиной тушенки и пакет с кофе.

Целый день Ваня гулял, ел и пил с солдатами, они дарили ему гостинцы, и пришел он домой очень поздно.

Хозяйка ходила по комнатам, беспорядочно бросая в чемоданы и в кожаные баулы какие-то платья, простыни, туфли.

— В чем дело? — строго спросил Иван.

Хозяйка не ответила, только махнула рукой. Лицо у нее было очень красное, с белыми пятнами, будто она отморозила щеки. Иван уже знал: такие щеки у нее были, когда она выпивала больше обычного.

— Куда вы драпать собрались? — спросил Иван.

— К сестре, — сказала хозяйка. — В другое место. Видит бог, я хотела остаться здесь, в своем доме. Я не политик, не нацист... Но приходили днем, обыскивали, сказали убираться ко всем чертям.

— Кто приходил? — спросил Иван.

— Ваши солдаты. Будут дом забирать.

— Не будут, — сказал Иван. — Я скажу полковнику... Он здесь главный хозяин.

Она посмотрела на Ваню с недоверчивой усмешкой. А Ваня продолжал:

— Дом не заберут. Я сейчас к нему пойду и доложу. А соседа и двух его гадов мы заберем и отправим.

— Куда? — спросила она.

— Куда следует...

Хозяйка постучала пальцем по лбу.

— Совсем потерял голову, бедный, глупенький русский мальчик... Кому ты нужен? Где твоя мать и где ты будешь жить? Куда ты денешься после вашей победы?

— Не волнуйтесь, — сказал Ваня. — Страна у нас большая.

— Хочешь ликеру на прощание? — сказала хозяйка.

— Давайте, — согласился Ваня.

Его упрашивать долго не надо было... Первый глоток спирта он выпил тайком от всех в партизанском отряде. Горло обожгло, голова пошла кругом, и захотелось плакать, и он стал звать мать... Но ее не было рядом. А может быть, вообще ее не было нигде. Однажды он сильно промерз, простудился, и тогда его стали лечить, принесли в кружке спирт, сказали, чтобы выпил и заел яблоком. Ваня выпил это лекарство, свернулся калачиком, лег на шинель, и снова ему захотелось увидеть отца или мать, но не успел он и подумать о них, как заснул... Наутро все смеялись и кричали: «Ванька, опохмелись!» И протягивали ему кружку крепкого чая. А насморка как не бывало.

В плену, в пересыльном лагере, он заболел крупозным воспалением легких, и взрослые украли где-то спирт и влили ему несколько капель в глотку... То ли от спирта, а скорее всего оттого, что живуч был, как волчонок, уцелел и тогда Ваня. А здесь, в доме хозяйки, когда ее не было дома, он частенько прикладывался к высокой фаянсовой бутылке с рыцарским замком вместо крышки и похлебывал из тонкого горла тягучую, как патока или как мед, желтую жидкость, сладкую, с горечью... Когда же на хозяйку находило и ей хотелось выпить, а выпить было не с кем, она наливала ему наперсточек. Она велела ему лить в чай.

Но он употреблял это в чистом виде. Иногда он незаметно подливал себе сам и тут же хмелел, хотя наперсток был очень мал. Она велела ему плясать, и он врубал русского или гопака два-три коленца — то, что помнил, то, что мать плясала с ним, когда были праздники.

...Хозяйка достала длинную бутылку, налила на этот раз не в наперсток, а в большой бокал, в верхней части которого была нарисована свинья, в нижней — осел. Это означало, что если ты пьешь очень мало, то ты осел, а если наливаешь себе доверху, то ты свинья.

Хозяйка налила ему «до осла». Иван достал банку с тушенкой.

— За победу над фашистской Германией! — сказал Иван громко, повторяя фразу, которую он слышал сегодня днем на митинге.

Он протянул свой бокал, где было налито «до осла», к хозяйкиному бокалу, заполненному «до свиньи», и хотел чокнуться с ней, но она отстранилась. Она сказала что-то быстро по-немецки.

— Давайте чокнемся, — упрямо сказал Иван.

Она прикрыла рукой свой бокал.

— Давай чокнемся! — приказал Иван.

Она молча смотрела на него с недоумением и жалостью, будто он заболел и бредит. Будто он лежит на чердаке, уткнувшись в подушку, и скулит.

Она тихо сказала ему:

— Это русский обычай. У нас в Германии не чокаются.

Она подняла бокал, посмотрела сквозь толстое стекло на свет — на желтую жидкость, на маленького осла с опущенными ушами, на поросенка с розовым пятачком — и сказала:

— За мою любимую поверженную родину. — И чуть отхлебнув, поставила бокал на стол.

Ваня вскочил, в сердцах хлопнул свой бокал об пол. Хозяйка тихо, неслышно ушла на кухню... В этот момент энергично, повелительно позвонили в дверь. На звонок выскочил Иван. Справился со щеколдами, задвижками, отворил. Вошли двое солдат и старшина. Ваня радостно заулыбался: «Свои».

— Кто такой? — отрывисто, сердито спросил старшина.

— Я военнопленный, — сказал Ваня. — У немки здесь работаю.



Старшина усмехнулся.

— Да, да, — сказал Иван. — Я сегодня у коменданта был. Я был связным в партизанском отряде.

— Ну, дает! — восхитился один из солдат.— Артист.

— Да не артист, а правда, — обиженно сказал Иван. — Не веришь — смотри сюда.

Ваня закатал рукав рубашки, показал выколотый на руке лагерный номер.

Старшина поглядел, сказал примирительно:

— Ладно... Не в этом дело, — и спросил прежним, недоверчивым тоном: — Помещение знаешь?

— Знаю.

— Покажи, что тут есть.

Ваня понял, что они кого-то ищут. Иван провел их по дому. Они открывали шкафы, поднялись на чердак, в ту комнату, где прятался Иван от соседа, потом пошли во двор, отыскали сарай.

— Никого не видел в доме? — спросил старшина.

— Никого, — сказал Ваня. — К хозяйке редко кто приходит.

— По нашим сведениям, она жена погибшего офицера.

— Жена,— сказал Ваня.— Только он давно погиб и не у нас.

— Доставалось тебе? — спросил один из солдат.

— Не очень,— сказал Ваня. И добавил, обращаясь к недоверчивому старшине:— Она, как выпьет, все время Гитлера ругает,— этого Иван ни разу не слышал, но почему-то, когда он говорил, ему казалось, что так и было,— она вроде как коммунистка... Ну, не совсем, конечно... В общем, не очень вредная.

Солдаты поискали что-то еще здесь и на соседнем дворе и ушли. Ваня так и не понял, что им было надо. Он проводил солдат и вернулся в комнату. Хозяйка снова сидела за столом. Глаза ее были полузакрыты, казалось, она дремала... Иван увидел, что длинный, узкогорлый штоф с ликером на две трети опустел. Он хотел налить себе еще полрюмочки сладкого ликера, но посмотрел на красное, неподвижное лицо хозяйки, махнул рукой и выскочил на улицу.

На улице можно было ходить с шести часов утра до восьми вечера, до комендантского часа. Можно было ходить, бегать или просто сидеть на солнышке в любом дворе и что-нибудь кричать тихим, напуганным немцам. А можно было подойти к нашим солдатам, попросить папироску, посидеть с ними, поболтать, сжевать плитку трофейного шоколада, а можно было побалакать и с американцами, проезжавшими через город. А можно было вообще ни с кем не разговаривать, а просто тихо идти по улицам, и что-то бормотать, и тихо ругаться от счастья... Почему ругаться?

А какими еще словами выразишь то, что на душе? Может, они и есть, какие-то другие слова, да только Ваня их не знал.

Через месяц он стоял перед полковником, перед комендантом, стоял, глядя то на него, то на большой яркий портрет Верховного Главнокомандующего товарища Сталина над головой полковника.

— Так вот, Лаврухин,— сказал полковник,— мы запросили соответствующие органы, и почти все факты, приведенные тобой, подтвердились. Ты действительно состоял в партизанском отряде, был взят в плен и содержался в лагере. Возможно, мы будем ходатайствовать о награждении тебя правительственной наградой. А сейчас ты зачисляешься на временное довольствие в одну из частей, получишь обмундирование, паек и все, что положено.

У Вани кружилась голова от счастья.

И чтобы уже все взять от этого замечательного дня, полного новизны, от этого всемогущего человека, Ваня спросил напоследок:

— А еще насчет бати узнать хотели...

Лицо начальника вдруг отвердело, будто он осерчал на Ваню за неуместный вопрос.

— Запрашивали, запрашивали,— тусклой скороговоркой сказал полковник.— Ну, что я могу тебе сказать.— Он взял двумя пальцами круглую крышку медной блестящей пепельницы, точно собираясь ее запустить, как юлу, по зеленому сукну письменного стола.— Твой отец, Лаврухин Владимир Федорович...— продолжал он, неожиданно повысив голос, точно он не разговаривал с Ваней, а читал какой-то приказ. Иван сжался и передернулся, как бы дотронувшись до заградительной сетки с током в лагере, а полковник замолчал, будто ему нечего было сказать Ване, будто никаких других сведений и не поступало. Все так же не подымая глаз, убирая на другой конец стола пепельницу, мешавшую своим нестерпимым блеском, он сказал тихо и как бы удивленно:— Нету твоего отца, Ваня,— и, помешкав, снова повысил голос:— Пал смертью храбрых.

Глава пятнадцатая

Вагон-ресторан, где Иван сидел с азербайджанцем, уже закрывали, и официантка, убирая столы, покрикивала:

— Молодые люди, пора по вагончикам!

А уходить ни Ивану, ни азербайджанцу не хотелось. Признание азербайджанца и рассказ Ивана сблизили их, и теперь им хотелось долго и молча сидеть за подрагивающим столиком, глядя в окна, слепые, отражающие лишь отблеск настольных ламп.

— Ладно, посчитайте,— сказал Иван официантке. Она подала счет, и не успел Иван рукой шевельнуть, как азербайджанец, обнаруживая мгновенную реакцию, уже кинул ей на поднос красную бумажку.

«Быстрый парень,— отметил про себя Иван,— прямо-таки спортсмен».

Иван взял бутылку шампанского, ничего другого не было, и они пошли в купе.

Разговаривать уже не хотелось, все было рассказано, и каждый думал про свое...

Иван про то, как странно бывает в жизни: вот он с милиционером откровенничает и вино пьет, а в другой ситуации азербайджанец, быть может, пускал бы в него пулю. А ведь нет у Ивана сейчас против него зла, а даже наоборот — симпатия, да и азербайджанец к нему ничего не имеет, а стоит только им разойтись по углам и приступить каждому к своему делу, тут же появится друг против друга (опять же, может, не по душе, а лишь по суровой необходимости) лютая, смертная злоба.

О чем азербайджанец думал, Иван не знал... И еще Ивану представилось вдруг, что он очутился в каком-то маленьком азербайджанском селе, в ауле, что ли, как это называется, Иван не знал, очутился в домике вроде сакли, на полу ковры постланы, и люди сидят на них, отдыхают, аккуратно сложив под собой ноги... И вроде получается, что он, Ваня, гость этого азербайджанца. Его поят и кормят, и различные песни поют, и на инструменте народном играют, и, если он, скажем, на что посмотрит — ну,

например, на кинжал, что висит на стене, или же на транзисторный приемник «Спидола» на тумбочке,— то тут же данные предметы заворачивают (несмотря на все его отговорки) аккуратненько, как в ЦУМе, а если он невзначай посмотрит на жену, которая сидит в соседней комнате, вся закутанная, ни ног, ни лица не видно, все на догадку,— то еще неизвестно, как все обернется и что из этого получится.

То ли великодушный лейтенант пригласит его в ковровое помещение и по широте душевной, а может, и по обычаю — Иван этого в точности не знает — оставит его с женой (у него их много, жен-то, по закону, чего жаться), или же дело примет совершенно другой оборот, и хозяин сделает Ивану знак, чтобы тот вышел во двор... И вот Иван послушно выходит во двор, а небо такое черное и звезды такие огромные, и тихо козочки блеют около сакли, и добродушно лают собачки. (Ох, не любит Иван эту породу животных, этих прихвостней власти, с давних детских времен не любит их Ваня, сильно они его кусали, до сих пор отметины сохранились, но и он, в свою очередь, немало их передушил.) Так вот, выходит Ваня во двор в эту прекрасную погоду, в тишину, в нежный лунный свет, освещающий небогатую растительность. А вслед за ним выходит азербайджанец, крепко прижимая к груди узкий продолговатый предмет. И говорит азербайджанец Ване без всякого акцента: «Всем ты хорош, кунак ты мой ненаглядный, фраер вологодский. Кормил я тебя мясом и кислым молоком поил, ни в чем я тебе не отказывал, но ты, свет очей моих, не ценишь человеческих отношений и начинаешь превышать полномочия, к бабе моей приглядываешься. Скажу я тебе, Ваня, от чистого сердца: топай отсюдова да поскорее, а то незамедлительно пристрелю тебя из своего ружья по такой-то статье УК нашей республики в виде высшей меры социальной защиты... Беги, пока цел, нехороший ты мой...»

И Иван, как во сне, рвет когти от тихой сакли, от гостеприимного хозяина, от богатых угощений и добрых подарков, от исключительно молчаливой и замаскированной, как во время бомбежки, супруги... «Тиха украинская ночь».

Вот какие картины виделись Ивану, когда он засыпал на своей полке полужесткого купированного вагона.

Азербайджанец уже спал и по-детски чмокал губами. Ивану вдруг стало жаль его, и себя, и вообще весь мир, все прогрессивное человечество, ему захотелось спокойно и глубоко заснуть и проснуться в тихом доме, может быть, у матери, а может, и у жены, не исключено, что и у посторонней женщины, но важно, что уже заварен чай и что от него ничего не хотят и никуда «на дело» не посылают... Он помечтал немножко и уснул, будто прыгнул в мягкую яму, засыпанную песком.

Он неожиданно проснулся посреди ночи: ему захотелось пить. Он перегнулся с верхней полки, протянул руку, взял пустую, нудно дребезжащую на столике бутылку шампанского, опрокинул, поймал губами несколько теплых и сладких капель со дна... Он поглядел на соседнюю полку, лейтенант спал, легко посапывая.

Ивану, привычному к тяжелому, мучительному храпу в колонии, со вскриками, с путаными полустонами-полуфразами, это сопение показалось ночным дыханием младенца. Иван встал и пошел в туалет. Он попил противную кипяченую воду из титана и посмотрел расписание. Ближайшая стоянка была короткая — три минуты.

«Три минуты,— подумал Иван.— Как раз». План уже владел им, и если он и сопротивлялся своему Плану, то не очень решительно. Теперь внезапно возникший План вел его, а не Иван распоряжался Планом. Так с ним уже бывало. Возникал План и подчинял себе все. В первую очередь его самого, а затем других людей, его товарищей и помощников. Но сегодня других людей не было. Сегодня он был один. И азербайджанец на соседней полке. И План.

План быстро повел его по сонному коридору, с храпом, насморками, с ночным вагонным шелестением и звяканием посуды на стыках — туда, куда надо, к своему купе. План заставил его встать очень близко к верхней полке, но так, чтобы, не дай бог, не задеть плечом азербайджанца, заставил его глядеть в лицо спящего человека, определяя и проверяя глубину и крепость сна.

Азербайджанец чуть поерзал на полке, что-то гортанно полузадавленно пробормотал и снова стал мирно, чуть слышно сопеть.

Видно, чуткий сон у него не был отработан. «А ведь полагалось бы их тренировать в училище, — подумал Иван, — явное упущение. А может, чуткий сон у него и отработан, но не скорректирован на местные условия: в поезде, в вагоне, в самолете. Ведь трудно же в условиях училища отрабатывать чуткий сон в купе, да еще рядом с таким сверхчутким соседом».

Ивану стало на мгновение жаль азербайджанца. Ему захотелось оставить его в покое, а самому забраться на свою полку и спокойненько дрыхнуть до утра... А утром придет симпатичная проводница, принесет им чай с очень быстро растворимым рафинадом, и, растворив его, они мирно поведают друг другу о ночных видениях и будут разглядывать девушек, идущих мимо купе.

Желание покоя заныло внутри, заурчало, как несытый желудок на ночь. Но План сидел в голове, все четко рассчитав, владея Иваном, вовлекая в азарт привычно постылой, захватывающей игры. За дело, Ваня.

Иван быстро обшарил пиджачок, брюки, пальто... Чуткие, как у часовщика, пальцы буквально угадывали предмет, еле прикасаясь к нему. Вот часы в кармане пиджака — не нужны. Вот какая-то «сопля» (брелок на цепочке) — к чертям! Вот деньги — тут Иван на минуту засомневался, но брать не стал. Т о г о, ч т о н а д о, не было.

«Может, это он на теле носит, может, к трусам у него привязано»,— ругаясь про себя, думал Иван. Он знал многие человеческие хитрости, связанные с хранением личных вещей и денег, но как выпускники соответствующего училища хранят оружие, он не знал. А шарить по майке, по трусам было уж слишком... Азербайджанец еще не так поймет, «зарзжзт».

Иван был разочарован, но остановиться уже не мог. Было еще два чемодана, большой и маленький. Один — вверху за полкой, другой — в ногах. Иван взял вилку, подтянулся и, осторожненько присев на краешек верхней полки и чуть громыхнув чемоданом, мгновенно вилкой сломал и открыл замок большого чемодана. Эти вещи он делал довольно четко, не было бы вилки, мог бы открыть зубочисткой.

В чемодане были яблоки, орехи, айва, термос и несколько рубашек. Выругавшись, Иван взял маленький чемоданчик, лежавший у стенки, в ногах азербайджанца. Иван стал открывать, занервничал, и на этот раз проклятый маленький чемоданчик долго не открывался. Наконец, успокоившись, Иван вонзил свою вилку в упрямую сердцевину маленького неподатливого замочка и крутанул ею, ломая пружину. Чемодан открылся... Того, что он искал,

там не было. Там лежала аккуратно свернутая плотная синяя милицейская форма.

«А что, тоже может сгодиться»,— решил Иван. Он посмотрел на спящего, который неожиданно перестал сопеть, начал ворочаться и вздыхать. Сначала Иван испугался, потом успокоился, понял, что парень спит. Поскольку азербайджанец не вез с собой того, что Ивану хотелось, он и спал спокойно. Вряд ли ему могло прийти в голову, что кто-то по пьянке уворует его новенькую форму. «Что же он будет делать утром? — подумал Иван.— Как он будет вертеться, ведь если он расскажет все, то ему наверняка припишут пьянку. И прости-прощай тогда и звание и новое назначение.— Иван помешкал.— А, не по делу все это... Да как бы и мне не нарваться на крупную неприятность, если он уж очень постарается, то ведь и найти меня сможет». Но Иван был уверен: стараться не будет, себе дороже... Просто купит новую форму. И еще одно немножко мучило Ивана: так хорошо вчера сидели вместе, так душевно. И парень ничего, на других не похож, неиспорченный, тихий. И невеста какая-то у него есть, и вот нате вам, заварится каша, которую не расхлебаешь. Так думал Иван... Но, ожесточая себя, подчиняя себя уже созревшему Плану, он стал вспоминать другое.

«Я его жалею, дурачок,— думал Иван.— А они меня жалели? А он меня пожалеет, если меня возьмут?.. Нет уж, дудки, нашли малахольного». И, быстренько скатав форму и положив ее в свой чемоданчик, Иван вышел в тамбур, быстро прошел в другой вагон, чтобы не встречаться с проводницей, и на подходе к станции спрыгнул с высокой подножки.

Поезд замедлял ход, а Иван быстро побежал по лабиринту тускло поблескивающих путей, мимо ночных огоньков светофоров туда, где стояли низкие, приземистые бараки, все эти однообразные темные и как бы нежилые предстанционные здания. Иван обернулся к поезду, махнул рукой этому сонному временному дому на колесах, своему новому кавказскому другу.

«Прощай, дорогой товарищ, не грусти обо мне... У тебя своя компания, у меня своя».

Глава шестнадцатая

В понедельник с утра Иван вместе с отчимом отправился в районный трест «Электромонтаж» устраиваться на работу. Вячеслав Павлович, видно, давно уже обрабатывал начальника, и Иван по достоинству оценил его труды. Начальник был в курсе дела, ни о чем Ивана не расспрашивал, хотя было видно, что ему очень хочется... Он спросил только:

— Сколько лет работали с мегомметром и где?

Иван ответил.

Начальник спросил неуверенно:

— Ну, а трудовая книжка или что-то в этом роде имеется?

Иван ответил спокойно:

— Нет. Не положена мне трудовая книжка, только справочка. Могу предъявить.

Начальник кивнул. Иван протянул ему справочку, пеструю от печатей. Начальник взял как бы с некоторым почтением и одновременно с легкой брезгливостью, будто бумажка только-только из дезинфекции, повертел справку, почитал. Вернул Ивану.

Он еще спросил, в каких «когтях» работал Иван. Иван назвал номер.

— Теперь у нас новые,— сказал начальник,— облегченного типа. Значит, говорите, благодарности были?

— Я не говорю,— сказал Иван.— Это в характеристике написано.

— За что же?

— Как «за что же»? — притворно удивился Иван.— За то же, что и у всех,— за выполнение плана.

Иван учтиво замолчал. Вячеслав Павлович шуршал газеткой, свертывая ее в трубочку и распрямляя, а начальник задумался. Пришла пора кончать беседу, принимать решение и давать ЦУ.

— Ну, так как? — неожиданно улыбнувшись и сверкнув глазами, сказал начальник.— Не подведешь, работать будешь? — И быстро, как бы зорким, всепроникающим взглядом посмотрел на Ивана.

«Все-то ты хорошо, мужик, разговаривал, по делу, и вдруг на тебе — такой детский сад»,— подумал Иван и, не умея себя перебороть, сделал дурашливую детскую и несколько дебильную рожу и сказал:

— Не-а...

И победно посмотрел на начальника и Вячеслава Павловича.

У Вячеслава Павловича физиономия аж вытянулась, а начальник руку к уху приложил, будто он не расслышал.

— Что такое?!

Наступила пауза. Состояние равнодушия и спокойной вялости, какое бывает после сильного лекарства, владевшее Иваном с начала этой беседы, уходило, вытекало из него с журчанием, как вода из раковины, и какое-то новое, опасное волнение и возбуждение начало охватывать его.

— Понимаете,— сказал он глухо, перебарывая себя изо всех сил, стараясь как бы выкачать из себя это волнение в некий боковой насос, чтобы оно не клокотало в нем, не качало его, не кренило в ту сторону, в какую не надо.— Понимаете,— еще раз повторил Иван.— Я не мальчик... Мне уже порядком за тридцать. Из них я много просидел, некоторые думали, что я там навсегда останусь. Не верили, что я выйду. А я вышел. А для того, чтобы выйти, я что делал? Я работал. Я как зверь работал. И это не для красного словца. Для чего я работал? Чтобы вот здесь сидеть, на воле, и оформляться к вам или к кому еще... Буду ли я работать? Да я буду вниз головой стоять на проводах, только оформите, только дайте постоянное место. Не подведу ли я? Вас бы, может быть, и подвел, да вот себя уже подводить нельзя!

Иван хотел еще что-то добавить, теперь его буквально тащило по скользкой дороге, но он огромным усилием заставил себя остановиться, рванул жесткий, неподатливый тормоз.

Пауза была долгая.

Вячеслав Павлович смотрел на него с явной укоризной, а начальник сказал, не глядя на Ивана:

— На голове стоять не надо,— и добавил: — Идите к кадровику. Будем пока оформлять на временную.

Другого Иван и не ждал. На постоянную его могли зачислить только с пропиской. Через минуту он уже сидел в маленькой комнатке отдела кадров, отделенный от пожилого кадровика предохранительным фанерным барьерчиком. Иван еще подумал: «На черта такая глупость, подумаешь, стена».

Кадровик был, верно, когда-то строг, а сейчас, судя по всему, пребывал в предпенсионном состоя-

нии. Он с живейшим интересом поглядел Иванову справку и сказал:

— Заполняй, дорогой, автобиографию. И давай... это... все, как есть.

— Все-все? — спросил Иван.

— А то как же? Как есть, так и пиши.

— И плен? И награды?

— Чего-чего? Какие еще награды?

— Да вот в плену мне пришлось побывать. И награды правительственные имею.

Кадровик усмехнулся: «Чудной парень, ну еще бы, из каких широт приехал... Они после этого все такие — с чудинкой, тронутые малость. Нервы, конечно, имеют место».

— Пиши и награды, раз есть,— сказал кадровик.— Кто б другой стал спорить, а я не буду. Все пиши, милый друг.

— А судимости?

— А много их у тебя?

— Маленько есть.

Кадровик еще раз пробежал Иванову справку, характеристику из колонии и сказал тихо, подводя черту разговору:

— Ладно, все не надо. Не обязательно.— И добавил, повысив голос: — И давай без лишних подробностей, чтоб все коротко и ясно: год рождения, место рождения, национальность, адрес, последнее место работы. Напиши, и будь здоров.— И, глянув на Ивана, закончил: — Не в космонавты же тебя зачисляем.

— Это уж точно,— подтвердил Иван.

Все пока шло, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. По крайней мере, если еще не было полного порядка ни с пропиской, ни с работой, то дело, во всяком случае, сдвинулось. А это — самое главное, чтоб в деле было движение. Чтоб не тянулась резина. А то тратишь силы, жмешь, суетишься, а резина тянется и тянется до бесконечности. Так и у Ивана бывало, когда, освободившись в прежние времена, он начинал устраиваться на работу. И нельзя сказать, что ему отказывали, не то, чтобы мордой об стол встречали, но тянулось все долго: на работу не устраивали из-за прописки, не прописывали из-за того, что не работает. Это была вечная проблема отбывших срок. Многие, покрепче, добивались своего после долгого натиска, просьб, заявлений, объяснений. Другие же быстро теряли терпение, уставали долбить стенку лбом и, едва только пачечка, заработанная в колонии, таяла, снюхивались с кем попало из прежних своих дружков или из новых таких же, и все начиналось сначала... А на этот раз у Ивана дело пошло.

Иван, со своей стороны, прекрасно понимал, что аплодисментами его никто здесь не встретит. Чего ради? Ведь не впервой приходили на различные предприятия такие, как он, и всякий раз с возмущением отвергали чьи-то сомнения: «Да чтоб я по новой?! Да никогда!» А через две недели их ловили на преступлении. Поэтому Иван нисколько не обиделся на начальника, а просто нервы у него съехали, да и знал он, что даже если школьника спросить: «Хорошо себя будешь вести или нет?» — школьник всегда ответит: «Конечно, хорошо». Разве что словами определишь?

Домой Иван вернулся в хорошем настроении. Он повозился на кухне, помогая матери, с удовольствием поколол дрова во дворе, потом появился Серега, прибежал из школы. Серега сел за уроки и с ходу попросил Ивана решить задачу. Иван, хоть и недавно закончил десятилетку в колонии, о чем и имел соответствующее свидетельство, вспотел и измучился, прежде чем по всем правилам смог записать условия, рассовать, куда следует, все иксы. Очень научно эти задачки решались. После того, как Иван с Серегой с грехом пополам осилили уроки, они долго гонялись друг за другом по саду, и младший палил из новенького автомата длинными трескучими очередями, а Иван старательно отстреливался из пластмассового пистоля с обломанным дулом.

— А какая дальность боя у автомата Калашникова?— между очередями спрашивал брат.

«А фиг его знает»,— думал Иван. И отвечал со знанием дела:

— Большая.

— Ну, а если враг движется по ту сторону реки,— вот я, например, сейчас по ту сторону реки,— то пограничник его достанет?

— Достанет. Обязательно.

— А гранатометы пограничники применяют?

— Применяют.

— А какой радиус боя у гранат?

— Огромадный,— не растерялся Иван.

— А служебная собака в дозоре сколько может не есть?

— Три дня.

— А на четвертый что?

— А на четвертый она начинает жрать пограничников.

Братан, однако, не улыбался. Напротив, рожица у него обиженно вытянулась. Он таких шуточек не принимал. С человеком по-серьезному, а он черт те что городит. Правда, через минуту брат забывал обиду, и снова начиналось:

— А с какого возраста собак принимают на службу?

— С молодого,— отвечал Иван. И добавлял для конкретности, для уточнения: — Полгодика ей стукнуло, ее сразу на службу.

В собачьих вопросах он чувствовал себя более уверенно.

Глава семнадцатая

А свидание было назначено на восемь часов. Иван успел уже с утра простирнуть парадную нейлоновую рубашку, материн и отчима подарок, а сейчас наскоро погладил ее, нацепил галстук и в сопровождении брата отправился в парк. Шел дождь, густой и по-весеннему шумный, и через минуту Иван вымок и из пижона превратился в мокрую курицу. Брат же был в полном порядке — в резиновых сапогах и в маленьком плащеболонье он чувствовал себя амфибией, водоплавающим, прыгал по лужам и кричал от восторга. Иван хотел было вернуться, переодеться, надеть резиновые сапоги, но, поскольку был человек суеверный, не вернулся и, махнув рукой на внешность, потопал к парку.

Когда они подошли к парку, у Сереги настроение упало. Он уже чувствовал, что сейчас старший даст ему знак топать назад, а ему еще хотелось побыть с Иваном, сходить куда-нибудь, может, в кино, а лучше всего в тир, а если и туда нельзя, то просто походить с братом, разговаривать на различные интересные темы, и вернуться домой вместе, и вместе лечь, и вместе уснуть, и вместе проснуться, и завтра тоже кое-как проглотить школу, и, чуть только раздастся звонок, бежать домой, задыхаясь и предвкушая новую встречу с братом. Насколько инте-

реснее стала жизнь с приездом старшего! Да, уходить Сереге ие хотелось. Но Серега не любил быть приставучим, как липкая бумага, он знал тот момент, когда взрослые перестают разговаривать с тобой от души и начинают отвечать механически, а сами думают о своем и косятся по сторонам. Вот тогда и надо от иих тикать по своим делам, чтобы их не раздражать и не портить себе настроеиие.

Однако, несмотря на эти рассуждеиия, уходил он от брата с некоторой грустью и непониманием. Ну что он, мешает, что ли, брату? Если надо, может и помолчать и не задавать вопросы про пограничников, а просто ходить рядом, не говоря ни единого слова. Он может даже приносить пользу Ивану — сбегать за сигаретами, или показать, как пройти на ту или иную улицу, или постоять для Ивана в очереди за пивом, или что еще...

Разве он, Серега, станет лезть в чужие разговоры, если Иван, например, будет разговаривать с каким-нибудь дядей или даже тетей?.. Какое дело Сереге, с кем разговаривает и гуляет брат? Ему лишь бы быть рядом, а не идти домой одному, чтобы опять, как в те вечера, что были до брата, сидеть в темноте у телика и смотреть, что покажут, и слушать с отвращением надоевшую песенку из дошкольных, бесправных времен: «Спят усталые игрушки», одеяла и подушки, и лягушки, и квакушки, и черт те еще кто.

Серега чувствовал, что сейчас наступит этот момент, когда брат снисходительно и жалеючи посмотрит на него и скажет деловито: «Не пора ли домой, брат?» И чтобы предотвратить этот момент, Серега сказал тихо и как бы равнодушно:

— Ну, значит... Мне пора домой.

Он еще надеялся, что брат улыбнется и скажет: «Куда ты, Серега?.. А как же я без тебя?»

— Да, брат, пора тебе,— сказал Иван.— Отдохни малость.

— А я не устал,— сказал Серега и быстро повернулся, чтобы скрыть обиду, и пошел, выпрямив плечи, нарочито бодро — мол, мие что, мне ничего, у меня свои дела есть. Он высоко вскидывал ноги в резиновых сапогах, как прусский солдат на марше, и со страшной силой бил ногами по широким, неглубоким лужицам, подвижным, как ртуть. Он решил не оборачиваться и не думать о брате, может быть, даже забыть о нем. Забыть на время, не навсегда, может быть, до следующего утра. И он обернулся только один раз, уже дойдя до самого угла.

Он увидел тогда, что сквозь мерцающие на излете прерывистые струйки дождя, из темноты на свет фонаря у входа выпорхнуло что-то похожее на серебристую рыбу, а может, и на ракету, длинненькое, тоненькое, сверкающее — то ли плавниками, то ли хвостовым оперением. Но если вглядеться как следует, то окажется, конечно, что это не ракета и не рыба. Да, да, не ракета и не рыба. А человек. Женщина. И если уж совсем присмотреться, то обыкновенная продавщица из униввермага... та самая. Только в серебристом плаще. И в таких же серебристых сапогах. И Сереге сразу же стало неинтересно, и он захлюпал дальше.

— Ерунда все это! — шепотом сказал он и громко, чтобы перекричать дождь, запел, давясь от непонятной горечи: — «И снег,и ветер, и звезд ночной полет...»

Иван и девушка шли по парку, шли исключительно целеустремленно, будто у них были билеты в кино и они запаздывали. Рыжая галька, которой были посыпаны дорожки, казалось, вскипала от дождя.

— Вы промокнете совсем,— сказала девушка, достала из сумочки коротенький складной зонтик. Щелчок — и зонтик, такой же серебристый, как и ее плащ и сапоги, раскрылся над головой Ивана. Иван перехватил из ее рук зонтик, поднял его повыше, она невольно придвинулась к нему, и они пошли, почти прижавшись друг к другу. «Однако дождь объединяет»,— подумал Иван.

— А что, если пошлепать босиком? — предложил он.

— Нет уж,— строго сказала девушка.— Я лично в воспалеиии легких не нуждаюсь.

— Какие вы нежные! — сказал Иван.

— А вы грубый? — спросила девушка.

— Иногда... На всякий случай,— сказал Иван.

Девушка не ответила ему, как видно, не приняв его шутки, и разговор снова повис, как дождевая капля на спице зонта.

Они сделали круг по парку, дошли до танцплощадки, пустой, темной, зарешеченной сеткой от любителей бесплатных удовольствий, миновали старого дискобола с отломанным диском, купальщицу и физкультурника, смирно стоящего с зажатым под мышкой мячом, с круглыми мускулистыми ягодицами, сплошь испещренными короткими выразительными надписями.

«Надо срочно сматываться из этого половодья. Вопрос куда? В кино билетов не достанешь. В ресторан она не пойдет... И вообще все как-то не так, как ожидал. Когда слишком ждешь, всегда так бывает».

— Куда пойти, куда податься? — сказал Иван.— Я здесь человек новый, давайте, Тамара, командуйте парадом.

— Я не знаю,— вяло сказала девушка.— Скорее всего по домам.

— Нет, так ие пойдет,— решительно сказал Иваи.— Выходит, за что боролись, на то и напоролись. Пошли в рестораи?

— Ресторан у нас паршивый,— сказала девушка.— Да и публика... А оркестр там только раз в неделю.

— А что иам оркестр? Мы сами спляшем и споем.

— Какой вы бойкий, одиако,— сказала девушка, оглядела вымокшего Ивана и усмехнулась.

Иваи отчетливо понял, что вот сейчас он ей явно не нравится. Он увидел себя ее глазами: не такой уж молодой гражданин и все шебуршится: танцы, шманцы, а у самого брюки круглые, и короткие, и без складки. Но Иван давно уже выработал в себе силу сопротивления чужому иеодобрительному глазу, он знал, что только поддайся — и сам почувствуешь себя таким, каким тебя видят со стороны. И иадо перебить этот взгляд, надо стать таким, каким ты сам ощущаешь себя, а если ты иикак себя ие ощущаешь, а тоже, к примеру, чувствуешь себя жалкой, мокрой курицей, то придумай что-нибудь про себя и заставь другого человека поверить этой выдумке.

— Ну что ж, Тамара,— сказал Иван.— Если тут негде культурио отдохнуть двум хорошим людям, то сейчас возьмем такси и поедем в республиканский город Минск.

— Ну да, разбежались,— все с той же иронией сказала девушка.

— Я ие шучу,— сказал Иван, вышел на мостовую и подиял руку.

— А я не поеду,— поняв вдруг, что он действительно ие шутит, сказала девушка.

— Тогда пошли в ресторан. Я семь лет не был в ресторане.

— Это почему же?.. Времени не хватало?

— Времени навалом было. Только вот ресторана там, где я находился, не было.

— На луне, что ли, находились? — спросила девушка.

— Почти что... В предлунной области.

— Это что же, служба? — со слабым проблеском интереса спросила девушка.

«Все-таки падки они на погоны»,— подумал Иван.

— Служба в некотором роде.

— Таинственно звучит. Может, вы наш агент на луне или что-нибудь в этом роде?.. Сейчас таких каждый день по телевизору показывают.

— Может, и агент,— сказал Иван.— А может, и контрагент. А может, просто агент по снабжению. В тепле поговорим.

— В ресторан я не пойду,— решительно сказала девушка.— А вот в кафе «Молодежное» зайти можно.

Какими-то дворами она вывела Ивана к новому дому, где соседствовали две стеклянные витрины: Дворец бракосочетания и кафе «Молодежное».

Стены кафе почему-то выложены кафелем. Иван удивился и спросил девушку:

— А что, здесь баня была раньше?

— Нет, кафе «Мороженое»,— сказала девушка.— Знаете, такой ледяной терем. А теперь ассортимент расширили, стало кафе общего типа, некоторые сюда со своим запасом приходят. Магазин тут рядом.

— Это ценно,— сказал Иван.— Жаль, мы своего не прихватили. Свое-то, оно греет.

Надо сказать, что соседство магазина больше сказывалось на облике кафе, чем соседство Дворца бракосочетаний. Примерно половину посетителей составляли шоферы, которые перед заходом в «Молодежное» отоваривались в магазине беленькой, которой в нежном ассортименте молодежного кафе, естественно, не числилось. Они отдыхали, громко разговаривали и разливали свою беленькую втихую (больше для порядка, чем из опасения). Старушка уборщица проходила между столиков, нагибалась, артистически ловко прихватывала бутылки и кидала их в какую-то торбу. Иван обратил внимание, что в другой части зала сидела в основном молодежь, те пили мало, медленно, важно, но зато дымили вовсю. И оценивающе цепко оглядывали каждую и каждого вновь входящего, девушке давали мгновенную молчаливую оценку по всем статьям, а на мужчину глядели с таким видом, будто ждали, что он сейчас же покажет фокус, по крайней мере достанет из ушей трешник и тут же положит им на стол. Иван бывал в краткие паузы светской своей жизни в таких вот кафе и, признаться, их не любил. По опыту своему он знал, что надо идти в хороший ресторан, где за те же примерно деньги тебя напоят и накормят да еще салфеточку на стол положат.

В ресторане можно было отдохнуть, да и музыка там живая, человеческая, не то что эти чудеса техники, когда бросаешь пятак в щель, и он беззвучно летит куда-то, в тартарары, и только автоматические зубы щелкнут, а в ответ — ни музыки, ни пятака.

Когда-то в Москве Ваня приходил в ресторан «Узбекистан». На весь квартал пахло шашлыками. Степенные люди с дамами мерзли в ожидании чарки и куска жаренного на угольках мяса. Иван же проходил к стеклянной двери, расталкивал почтенную публику плечами, стучал по стеклышку, и через пару минут к стеклу прилипало круглое, безносое лицо симпатичного швейцара Пети. Хоть Иван и был в то время мальчишкой по возрасту, но Петя уже хорошо знал его, и лабухи знали... Знали, что этот мальчик даст на чай как следует и не зажмурится, а, выпив, будет заказывать, чтобы сыграли вот это модное:

Мы с тобой пойдем
сквозь ресторана зал,
нальем вина —
в искрящийся бокал...

— Слышали такую мелодию? — сказал Иван и напел... Слух у него был хороший.

— Слышала,— сказала девушка без уверенности.

— А «Сан-Луи блюз»? — спросил Иван.

— Нет, такого мы не проходили.

Подошла официантка, принесла меню, сказала:

— Из горячего — только гуляш со сложным гарниром.

— А попроще? — спросил Иван.

— А попроще — рядом в магазине,— сказала официантка.— На троих без бутерброда. А у нас здесь молодежное кафе.

— Ладно выступать,— сказал Иван.— Принесите гуляш со сложным, вина и апельсинов.

— Сегодня яблоки пойдут.

— Давайте.

— А вино какое, портвейн или шампанское?

Иван посмотрел на девушку. Она сделала безразличные глаза, мол, все равно.

— По обычаю по-цыганскому,— сказал Иван.

— Ваш намек поняла,— подобрела официантка.— Бутылочку или в фужеры?

— Бутылочку, и чтоб с салютом,— сказал Иван.

Теперь Иван действовал уверенно, здесь он был в своей стихии, и, как ему показалось, его уверенность понравилась девушке. Они ведь не любят кавалеров, которые мнутся, ежесекундно спрашивают: «Вы это будете, а это будете...»,— которые вынуждают их отвечать: «Нет, не хочу ни того, ни этого». Девушки любят, когда им выкладывают готовое решение.

Появилось шампанское, официантка выстрелила, приятно запахло свежим газовым, винным запахом. Сработал наконец чей-то пятак, и зазвучала мяукающая, но приятная польская песенка, где отдельные слова угадывались по-русски.

— Ну что ж, вздрогнем? — сказал Иван.— За что?

— Давайте без тостов,— сказала девушка.— Я не люблю эти чоканья и прочее.

— А я люблю,— сказал Иван.— И давно ни с кем не чокался. А сегодня мне очень хочется чокнуться с вами... У старых людей, знаете, свои привычки.

— Да, да,— передразнила его девушка, протянула руку с бокалом.

Они звонко чокнулись.

А пластинка все крутилась, и все вспыхивали эти слова, которые легко можно было перевести на русский, а можно было и вовсе не переводить: «То ля доля, то ль нядоля...»

Девушка разрумянилась в тепле и стала красивее, чем там, на улице, и чем в магазине. Снова щелкнул пятак, и снова техника сработала, и завертелось что-то быстренькое и заводное.

— Ну что ж, попляшем? — сказал Иван.

— А никто еще не танцует,— сказала девушка, видно, не очень-то уверенная в Иване.

— Кто-то ж должен начать,— сказал Иван.— Я лично вас приглашаю.

Девушка поднялась. Иван чуть-чуть оробел, замер внутренне. «Сейчас опозорюсь, сойду с круга, и все пропало. В таком возрасте они глупые, пустяков не прощают».

Однако Иван знал, что в танце, как и во многом другом, главное не умение, а смелость.

Сплясали разок — и ничего, все в порядке. Иван держался так, будто только и делал в дальней своей отлучке, что изучал мелодии новых танцев. Конечно, твист Иван не танцевал никогда. Когда его забрали, еще царствовал рок, а твист почти не танцевали в общественных местах, а только критиковали. Впрочем, Иван осмелел и, глядя на других, тоже стал шаркать ножкой, извиваться туловищем, точно был мокрый и вытирал спину насухо полотенцем. Уже

вся молодежь, бывшая в кафе, вышла на пятачок, стало душно и тесно, но танцевать на многолюдье было уютней. Меньше думаешь, кто как посмотрит и что скажет, и больше близости со своей партнершей. А партнерша его могла плясать что угодно и как угодно, ее чуткие шелковые ноги в серебристых сапогах мгновенно откликались на первый же такт любой мелодии и повторяли эту мелодию на свой лад, красиво, легко и четко. И всякий раз перед началом танца, когда ее тонкая маленькая ладошка ложилась на его плечи, он вздрагивал и, сам того не осознавая, отчетливо испытывал что-то похожее на благодарность.

За все тебе спасибо,
За то, что мир прекрасен,
За то, что ты красивый
И взор твой чист и ясен.

Это он уже слышал когда-то... Кажется, у Галы это «спасибо» уже было. Только что из этого вышло? Да, да, то самое «Арабское танго»... Смотри, никак не выйдет из моды. Батыр Захиров, или Захар Батыров, он не помнит. Музыка сладкая, как растаявшее мороженое. И все-таки растравляет душу. Особенно если она уже удобрена для этого и если ее чуть-чуть подгазовать шампанским.

Ах, как хорошо и тепло ты держишь свои руки на моих плечах! За все тебе спасибо. Как ладно и хорошо покачиваться в такт, не сходя с места, а только с пятки на носок, с носка на пятку, с земли на воду, с воды на небо. Не сходишь с места и вместе с тем движешься, плывешь по теплой реке, по общему течению. Все танцуют, и ты. Ты, как все, такой же... Во всем. В общем танго, в общем фокстроте, в общем твисте, в общем счастливом сумасшествии, как в том анекдоте «Идея. Иде я нахожуся?» В кафе я нахожусь... Неужели и вправду? Не в колонне. Не на перекличке. В кафе «Молодежное» на танцах. За все тебе спасибо, за то, что мир прекрасен...

— Тома, мир прекрасен?

Она молча кивает, занятая танцем.

— Тома, ответь мне, почему так прекрасен этот лучший из миров?

Она морщится. «Но откуда я знаю»,— говорят ее лоб и нос. Ей не нравится философствовать во время танца, обсуждать многообразные проблемы жизни, выпадать из ритмичного, всепоглощающего движения. Ей нравится это сахарное арабское танго, и не надо ей задавать непонятных вопросов... И вообще, что тебе надо от нее? Того же, что и от всех других? Ну, ответь, гражданин Ваня Лаврухин, на совесть. Да, и этого, если уж на то пошло. Все мы люди, все мы человеки, уж так устроен свет, хвала тебе, аллах. Но... не так-то все просто. Ему это надо, но не на час, не на день, не для того, чтобы забыться и снова куда-то бежать... Так, значит, навсегда... Ах, навсегда ли, Ваня? Да, именно так. Навсегда. Ушел на рассвете, в холод, на работу. Встал — холодно, зябко. И ты не один в доме, она тут, ты слышишь ее голос. Вернулся домой, она ждет... Навсегда. Ты уехал ненадолго к кому-то, к чужим, а вернулся к своей, в свой дом, навсегда.

«Я буду тебя любить,— твердил про себя Иван.— Да, да, любить, не удивляйся этому слову. Я его где-то вычитал, запомнил... И надо же это испытать на себе... Я буду обращаться с тобой осторожно, как это называется, лелеять. Очень осторожно. Не кантовать, не бросать на пол... Я буду ходить босиком на цыпочках, летать по саду, махать самодельными крыльями. Я буду носить тебя на руках... Шутки шутками, но я всерьез. Навсегда».

— Что вы там такое бормочете? — спросила Тамара.

— Репетирую.

— Роль?

— Нет, объяснение.

— Так вы артист?

— Есть маленько в крови.

— С вами надо осторожно.

— Вот именно. Главное, не бросать.

— А вас много бросали?

— Всю дорогу. Только не в том смысле, в каком вы думаете. Об пол, о подоконник, о стенку.

— Значит, бока у вас крепкие.

— Были крепкие. Да штукатурка пообилась.

— Ну вот, мы проболтали, а танец кончился.

— Навсегда?

— Да нет... До новой монеты.

Они сидели за столиком, аппарат гудел и не заводился. Лампочка вспыхивала и бессильно гасла.

— Курить хочется,— сказала девушка.

Иван не выказал удивления, достал пачку «Беломора», протянул ей.

— Нет, такие я не курю. Иван, стрельните у соседей сигареточку, пожалуйста.

Первый раз она обратилась к нему по имени. Иван поднялся и подошел к соседнему столу, который был буквально облеплен парнями. Они сидели, пригнувшись к столу, шушукались над единственной бутылкой, как заговорщики. Один из них, не глядя, не обернувшись, протянул Ивану пачку, Иван взял, передал Тамаре.

Ему казалось, что курит она больше для форса, чем для удовольствия, или по привычке. Но Иван не осудил ее, хотя в принципе и не одобрял тех, кто пьет и курит для видимости, чтобы быть, как все. К тому же все женщины из прежней его жизни курили. Курили, что попадалось: махру, папиросы, трубку,— и было странно, что и эта тоже делает, как они. Впрочем, оглянувшись, он увидел, что все девушки в кафе курят, и, поняв, что так теперь полагается, Иван успокоился. Тоненькая сигаретка торчала в таких же тоненьких, детских каких-то пальцах, и Ивану очень захотелось погладить эти пальцы, эту узкую, белую, с лакированными коготками руку. Он зубами, как фокусник, вытащил из ее пальцев сигарету, сделал вид, что обжегся, бросил сигарету и накрыл своей ладонью ее руку. Он почти физически ощутил под своей ладонью теплого и дрогнувшего птенца, пойманного случайно и на мгновение. Вот сейчас выпорхнет сквозь пальцы, и бегай лови. Она ничего не сказала, но посмотрела с удивлением. Мол, к чему все это? Но он не отпускал.

— Что, руки озябли? — спросила Тамара.

— Да. Очень,— сказал Иван.

— Что же вы такой мерзляк? А еще военный.

Иван не ответил. Птенец еще жил и теплился в ладонях, еще не улетел, и это было сейчас важнее всего. Он взял ее вторую руку, прижал к своей щеке, потом поцеловал.

— Это что, галантность или нахальство? — спросила девушка.

— Ни то, ни другое,— ответил Иван.— Первый раз в жизни целую руку. Ей-богу.

Она отвернулась и закурила, взяв папиросу из его пачки, лежащей на столе. Затем, искоса глянув на него, спросила:

— Что ж, и жене никогда не целовали руку?

— Жены не было.

— Это отчего ж так сурово?

— Такие вот суровые обстоятельства.



Молчащий ящик вдруг прорвало, и они снова пошли на пятачок для танцев. Теперь ящик взвывал нараспев, стеная и моля: «Ай, ай, Дилайла»,— и двигаться теперь надо было быстро, крепенькая рука на плече приказывала ему:

«Ныряй быстрее в общее движение, догоняй эту Дилайлу, и я с тобой». И он нырял в общий поток и вертелся в этом потоке, на кого-то наталкиваясь, а сам думал при этом: «Не удержалась все-таки, спросила... про жену. Как ни верти, а это — главное для них, даже для такой, как она».

— Сколько тебе лет? — спросил Иван, перекрикивая «Дилайлу».

— Достаточно.

— А точнее?

— Двадцать два. А вам?

— Столько, сколько Иисусу... Примерно...

— Какому?

— Боженьке.

— А я не знаю, сколько ему. Его юбилей мы пока еще не отмечали.

— Иисусу было тридцать три. Что, многовато? А мне еще больше...

— Не в этом дело.

— А в чем?

Она не ответила, а музыка кончилась.

Когда они шли к столику, Иван мысленно проговорил: «Ты будешь моей женой». Он хотел повторить это вслух, но раздумал. По опыту своей жизни он знал, что в важных делах никогда не следует торопиться.

Глава восемнадцатая

До вечера судья Малин так и не знал, поедет он к Ване или нет. На следующие два дня были отложены давно тянущиеся хвосты ненаписанных писем, непрочитанных бумаг, следовало давно произвести «мусорный аврал» — повыбрасывать все ненужное, разобрать всю корреспонденцию, надо было позвонить в Клуб пищевиков, который терпеливо вот уже два месяца приглашал его выступить на тему о правосознании граждан, а он регулярно переносил это до более свободных времен... Следовало в эти свободные дни почитать кое-какую специальную литературу, да были и немаловажные хозяйственные дела, как, например, громоздкое мероприятие (одна мысль о котором приводила в ужас) с установкой новой газовой плиты... Все это и должно было привычно составить его выходные дни... И вдруг выпрыгнуть из упряжки!

Конечно, если он не приедет, Иван расстроится, но не обидится. Иван знает, что судья Малин — человек, обремененный заботами, занятой. Да и к тому же можно послать Ивану теплую телеграмму, поздравить его от души и сказать в тексте, что сейчас он приехать не может, что приедет летом... Все это можно, конечно, только этого ли ждет Иван? И еще он подумал: в одном Иване ли тут дело? Если он сейчас не поедет, то все, значит, он никогда уже не поедет никуда, кроме командировки, санатория, ближней рыбалки, никогда никуда не поедет просто так — потому что захотелось,— никогда не будет свободным, ни на секунду, от существующих и придуманных работ, обязательств.

Все это прокрутилось в его голове, как лента в магнитофоне, и сознание полной своей связанности,

зависимости от чего-то тошнотворно наполнило его, и, как в детстве, он ужаснулся вдруг от сонного и беспомощного ощущения: на тебя едет поезд, а ты лежишь, не в силах ни двинуться, ни крикнуть... «С подушки съехал, одеяло сбросил, вот и орет»,— ворчала дежурная детдомовская нянечка, поправляя ему одеяло.

«А в чем, собственно, дело? — спросил сам себя Николай Александрович.— Возьму и поеду. Гори оно все огнем синим».

Позвонил в клуб и еще раз окончательно и бесповоротно назначил день выступления, отложил бумажки и письма, написал жене записку, поехал на вокзал.

Взял билет в мягкий вагон, к тому же повезло: в купе он был один. Постоял у окна в момент отхода поезда, посмотрел на полупустой перрон, испытав почти рефлекторную отходную вокзальную грусть, скорее связанную с какими-то давними отъездами и проводами. Сегодня его никто не провожал, да и встречать Иван не будет, так как, по обыкновению своему, он не стал давать предупреждающую телеграмму.

На мгновение стало хорошо. Бросил на верхнюю полку портфель, переоделся в спортивный костюм, достал еженедельник «Футбол-хоккей». Однако не читалось...

Вышел в тамбур, покурил там, поглядывая на уже спешащую в вагон-ресторан публику. Хотелось ощутить себя неприкаянным, праздным, ничейным и молодым.

В тамбуре было холодно и пыльно, он вернулся в чистенький вагон, стал у окошка на весеннем ветерке, высматривая ночные огни.

Когда-то в давние поездки они гипнотизировали его отдельной своей жизнью, ощущением далекого, неведомого жилья, в которое и его, может быть, занесет когда-нибудь случай или судьба. Огни эти волновали не столько затерянностью своей в ночи и одинокостью, сколько вызывали образ собственной его физической крошечности в мире, собственного, почти муравьиного, неприметного людям движения — в черно-белом пространстве, одновременно отталкивающем своей бесконечностью и влекущем.

Сейчас все воспринималось, пожалуй, проще и грустнее: стук колес, размеренное движение и огни за окном отсылали не к туманному будущему, а ко всему, что уже было с ним, не к предвкушению, а к воспоминанию. То неясно зреющее в душе ожидание крутого странно-счастливого поворота в жизни, которое всегда обжигало его в минуты небудничные, нерабочие: в лесу, на рыбалке, на пароходе, в тамбуре ночного вагона,— теперь переродилось в нечто другое, в не остро бередящий душу тягостный комок.

В одном справочнике он прочитал недавно, что все подобные эмоции в пожилом возрасте, смены настроения и прочее являются лишь признаками постепенно развивающегося склероза — не более того. И совершенно незачем им поддаваться, а для того, чтобы свести их к минимуму, нужно регулярно употреблять витамины.

Ему захотелось чуть-чуть выпить, согреться, но без назойливых дорожных компаньонов, и он зашел в вагон-ресторан, где ему налили в толстый граненый стакан с подстаканником желтого, как некрепкий чай, арабского коньяку. Он вернулся в купе, знал, что не заснет скоро, стал настраивать себя на встречу с Иваном, вспоминать Ивана, его голос, лицо... Ведь знал он его уже несколько лет, а видел всего дважды.

Многие люди в его жизни, столь богатой встречами, как бы повторялись многократно, точно были различными вариантами одного и того же образа. Они и говорили похоже, и схожими были их поступки, и проступки, и объяснения, и оправдания. Но были другие, не похожие, уникальные, не в деяниях своих (подчас так же стандартно укладывающихся в кодекс), а в чем-то ином, скорее всего в той внутренней жизни, которая существовала в них, неподвластная наказанию и посулу, подчиненная не обстоятельствам, а нутру, характеру, как бы некоему предначертанию судьбы. Такие люди были интересны ему, у него было к ним свое отношение: одних жалел, другими восхищался, третьих побаивался, некоторых ненавидел, но уважал... Так и Иван был когда-то интересен ему.

А потом интересность ушла, и осталась тревога и родственная жалость, как-то незаметно Иван стал своим человеком, которого забываешь надолго, но все-таки он есть, существует и, неизвестно почему, нужен тебе и заботит тебя. Чудной он был, этот Иван!

Николай Александрович почитал газетку, полежал полчаса с закрытыми глазами, изо всех сил стараясь заснуть без снотворного, потом понял, что ничего не выйдет, достал предусмотрительно взятый им с собой димедрол, заглотнул горькую таблетку, и через минут двадцать голова его стала тяжелеть и тускнуть, как перекаленная лампочка... Все меньше, слабее накал, и наконец темнота.

Едва он заснул, раздался шум открываемой двери, грохот, щелканье чемоданов, зажгли свет, он проснулся, увидел каких-то людей: мужчину и женщину, которых поселили именно к нему, несмотря на множество других незанятых купе,— видимо, по извечному и многократно проверенному «закону перевернутого бутерброда», всегда падающего маслом вниз.

Глава девятнадцатая

Под конец, под закрытие, Иван расплясался... Теперь ему и сидеть не хотелось, только танцевать. Особенно ему твист нравился. Здесь музыка как бы входила в тебя, вливалась в твое существо и оживала в тебе движением, подчиняла твои мускулы, заполняя каждый миллиметр твоего тела. Здесь и руки и ноги танцевали, а все тело — и спина, и плечи, и сердце —буквально плавилось от ритма, от музыки, от счастья.

— Давненько не плясал я подобных танцев,— сказал Иван.

— А что у вас, другие танцуют?

— У нас немножко другая мода,— ответил Иван.— Обожают бальные танцы. Знаете, падеспань, падгармонь, падконвой.

— Это еще что? Такого не слышала.

— Это старинный бальный танец. Молодежь его мало знает.

Она улыбнулась, не поняв. Да и к чему было понимать? Ну, шутит человек, как умеет, настроение у него хорошее.

А Иван с радостью подумал о том, что все пока хорошо закрутилось. Вот он чем теперь занимается — танцует в молодежном кафе с такой девушкой и не позорится, не хуже других, и не заводится ни с кем, не глотничает, ни от кого ничего не хочет, и никто ничего не хочет от него. То, что вчера казалось совершенно недоступным, постепенно становилось явью. Он только мечтал с ней познакомиться,

только мечтал заговорить, встретиться, а вот уже они вместе, будто так и надо, будто так и положено. Нет, есть бог или там кто еще. Все-таки он есть, аллах, прими поясной поклон.

Когда она оставила его и ушла на минутку, он проводил ее взглядом и еще раз удивился тому, как хорошо она сложена, как здорово она смотрится издали, как свободно и хорошо она ходит. «Такой в моей жизни еще не было,— подумал Иван.— А Гала?» Он подумал о Гале с грустью, но без прежней обиды и боли. Ранка долго ныла, теперь зажила, не найдешь и след ее... Гала была хороша, но уж больно умна и все, верно, знала наперед, что ей нужно, а что нет, привыкла учить людей, а ведь это трудно — думать все время об отметке, и чувствовать себя благодарным, и смотреть на женщину снизу, с парты, все время как бы с четверенек.

А эта мало что знает в жизни, не побита, не издергана, не оскорблена, поэтому не станет оскорблять других. Все у нее есть, что надо, бог дал ей юность, походку, уверенность, а значит, и доверчивость... А что еще? Некоторое бесчувствие, что ли... Но это, наверное, от возраста... Скрытая ласковость (когда они танцевали, он это почувствовал), желание выйти замуж. И прекрасно. И он будет охранять ее, будет ласковый, как собачка, и будет гавкать на других, если кто приблизится на расстояние трех шагов.

А вдруг она ушла и не придет? Отвалит — вот с таким бородатым, тонкогорлым, который еще на свете ничего не видел, но кое в чем, может, опытнее и ловчее его. Что тогда? Ну, он отлупит пару таких... Ну и что дальше? Что он докажет этим? Он и впрямь вдруг поверил, что она не придет. «Это будет мне наказание за то, что слишком расслабился»,— подумал он. Никогда не следует раньше времени радоваться, а он рассусолился, как теленок... А может, и впрямь он годится лишь для какой-нибудь вдовой Маруськи, любящей выпить перед сном. Через минуту она пришла. Села, выпила глоток вина.

— Что вы такой хмурый?

— Я думал, ты сбежала.

— Зачем?

— А вот так просто. Сбежала с молодым продавцом, со студентом техникума, с кондуктором, кто еще у вас в городе есть?

— С вагоном без кондуктора,— поправила она. И добавила: — У нас тут много кто есть, но я такой привычки не имею.

— Все равно бы догнал.

— Ну и что?

— А вот посмотришь, что.

— Значит, вы опасный человек?

Он проговорил быстро, как говорят некоторые кавказцы, когда кого-нибудь хвалят, в знак наивысшего восхищения:

— Звэр-а! («Машина — звэр-а! Костюм — звэр-а! Игрок футбольной команды — звэр-а!»)

Тамара рассмеялась. Уже ходила уборщица, подбиравшая бутылки, просила покинуть помещение. Ребята пытались спорить с ней, дескать, еще рано, уходили медленно, нехотя, некоторые еще пританцовывали, надевая пальто, хотя в нарядном ящике уже давно погас свет и пятаки не звенели, не зажигали рубиновый глазок аппарата, они богатым медным кладом лежали на дне кассы.

На улице подсохло, но земля блестела, и одновременно пахло пылью и чем-то острым, терпким, будто эфир расплескали. Цветение угадывалось сквозь тьму — клейкостью, влажностью весеннего ветерка.

Выйдя на улицу, Иван замолчал, разглядывая ребят и девушек, расходящихся по домам, танцующих без музыки, весело переговаривающихся.

Там, в кафе, Иван чувствовал себя нисколько не хуже их, а сейчас ему представился завтрашний день, поход к участковому и все остальное, что еще предстояло, и на смену возбуждению пришли тревога и усталость. Никогда еще в жизни не доводилось ему радоваться до конца, без оглядки, а всегда с тайной опаской и заботой. Так и сейчас. И разговаривать с Тамарой вроде бы стало не о чем, и идти некуда.

— Ну так как домой, на автобусе или пешком?

— Можно и пешком.

Если, уйдя из кафе, он как бы оторвался от нее, мысленно отдалился, то она еще была вместе с ним, и ее рука тепло и покойно лежала на сгибе его локтя. Иван устыдился своей дурости, тому состоянию, что последние годы стало привычным для него и которое он называл «психом». («Псих на меня напал».)

Он покрепче прижал ее руку и сказал:

— Лучше, конечно, пешком. Такой вечер один раз в жизни бывает.

— Почему?

Он не ответил. Они пошли быстро, сначала улицей, потом пустырем, переулками. Минут через пятнадцать пришли к ее дому.

Дом в отличие от Иванова жилья был новенький, блочный, а вокруг него отгороженные палисадничком росли кусты.

И собаки так же брехали по-деревенски, как и в том районе, где жил Иван, а из деревянного сарайчика натужно, пароходным гудком голосила растревоженная свинья.

— Вот моя деревня, вот мой дом родной,— сказала Тамара.— Спасибо и до свидания.

— Вот так сразу? — сказал Иван.

— А что? Пора уже, поздно.

— Покурим? — предложил Иван.

— Ну, по одной на посошок,— согласилась она.

Они сели на не просохшие еще дрова, сваленные посреди двора, и закурили... Было хорошо, тихо, прохладно.

— А кто тебя ждет дома? — спросил Иван.

— Сестренка и мать. Да они не ждут, а уже улеглись.

— А пахан?

— Кто? — переспросила она.

— Отец.

— Тот по другому адресу с другой сестренкой.

— Бывает,— сказал Иван.

Ему захотелось узнать о ней побольше, увидеть комнату, в которой она живет. Она сидела, задумавшись, пожевывая папироску, так и не раскурившуюся, склонив голову чуть набок, как скворец, и в лунном свете был явственно виден чистенький школьный пробор в расчесанных набок, распущенных волосах; тон на щеках, подсиненные глаза взрослили ее, делали независимее, загадочнее, а сейчас всего этого не было видно в темноте, только пробор светлел на склоненной голове, и она казалась уставшей девчонкой, присевшей передохнуть, то ли после учебы, то ли после игры... Он дотронулся до ее волос, провел ладонью по теплому и твердому затылку, все его нутро вдруг содрогнулось от нежности, тепла и жалости, той, какую испытал он однажды к спящему Сереге. Он вытащил из ее губ папиросу, бросил на землю, прижал ее голову к себе и сидел так, чуть покачиваясь, будто собираясь ее убаюкать, усыпить. Верно, ей было неудобно, но она не шелохнулась. Потом он поцеловал ее в шею, в щеку, в глаза, чувствуя сладкое, нежное тепло кожи, горечь краски на глазах. Она не сопротивлялась и не отвечала ему, была рядом и вроде бы не существовала совсем.

— Слушай,— хрипло сказал он, не зная, как объяснить все получше, боясь напугать ее и стесняясь своих мыслей.— Я тебя люблю, хочешь верь, хочешь нет. Вот знаю тебя вроде мало, а разве в этом дело... И если кто тебя обидит...

«При чем тут обидит,— подумал он,— кто ее обижать-то собирается? Нет, не то ты тянешь, Ваня».

— Вот такое дело, Тамара,— сказал он и замолчал. Хотелось все не так сказать... Не так сейчас он чувствовал. Будто забежал куда-то слишком далеко и стоишь, как пенек, не знаешь, что делать, вроде и возвращаться нельзя и вперед идти сил нет.— Думаешь, выпил, болтает задаром. Ты уж меня, как говорится, извини... Только я словами не бросаюсь... Вот так, значит... Хочешь верь, хочешь нет.

Она не ответила, посмотрела на него искоса, чуть снисходительно и с интересом, как бы вновь увидев, и провела рукой по его волосам.

— А ты седой,— сказала она.

— Это ты сейчас, в темноте, разглядела?

— Нет... Еще там, в кафе.

— Есть маленько. Для солидности.

— Мне нравится... Лицо молодое, а сам седой.

— Какое ж у меня молодое?

— А вообще сначала ты мне показался старым и очень противным.

— А сейчас?

Она не ответила, уткнулась лицом в его плечо, а он гладил ее волосы и что-то быстро, громко говорил, но про себя, не вслух, потому что боялся голосом и словами все испортить. Вроде он качался на качелях и, когда молча гладил ее, то взлетал вверх, и в животе что-то приятно замирало, обрывалось от высоты и тишины, а потом он летел вниз и надо было что-то говорить, объяснять, а язык был неповоротливый, тяжелый, тянул его не туда, слова были жесткие и не те, что надо. И все-таки хорошо ему было, и он поверил, что и дальше будет хорошо... А волосы у нее были злектрические, ладонь его чувствовала острые частые зарядики... Качели быстро и круто подымали его душу вверх — в нежность и в покой.

Но другая мысль наперекор всему этому, беспокоя и ожесточая его, лезла со дна и тянула качели вниз, в голую деревянную землю.

— Том, ты извини, не думай, что я халява такой, нахальный, только один вопрос у меня есть к тебе. Скажи, у тебя, наверное, сейчас кто есть?

Она не ответила, он отстранился от нее, закурил, руки у него дрожали. Ее молчание все и подтверждало...

Не надо было заводиться, конечно, на эту тему, но остановиться уже он не мог.

— Ты не темни, Томк. Говори, как есть...

Она встала с сырого штабеля, одернула свой серебристый плащ. Он металлически, как жестяной, зашуршал.

— Ты же седой, значит, должен быть умнее.

— Не обязательно,— сказал Иван.— А что?

— А то,— сказала она.— Стала я б с тобой сидеть, если б кто был. Я так не умею.

Качели вновь рванулись вверх, будто их из страшной рогатки выпульнули... «Все нормально, капитан, все нормально»,— сказал Иван мысленно свою любимую фразу.

Она встала, Иван продолжал сидеть. Край ее плаща холодно и жестко касался его щеки. Шелковые точеные ноги были в сантиметре от его лица, казалось, они источали нежное тепло, от которого сердце останавливалось.

Не вставая с места, сильным движением Иван притянул ее к себе, ухом, щекой, каждой своей клеткой ощутил сильную, холодноватую от чулка плоть ноги, прикосновение буквально обожгло его, и он ткнулся головой, лицом в ее колени. Ноги ее напряглись, сопротивляясь, пытаясь вырваться из этого обруча, уйти, убежать, она что-то говорила, он не слышал. Куда делась прежняя острая и жалостная нежность?.. Он терял голову, желание душило его, и только краешком сознания, еще трезвым, еще не одурманенным близостью женщины, он соображал, что сейчас все кончится скверно, что она уйдет от него, и все, больше он ее не увидит, что он испортил все, что было вначале, и уже не будет никаких качелей, ничего не будет. Он разжал руки, она рванулась от него в сторону, к дому, он крикнул ей почти с мольбой:

— Погоди минутку, останься, ну не бойся, прошу тебя!

Она остановилась на полпути между бревнами и подъездом. Он подошел к ней, сказал, успокаиваясь:

— Не сердись, ты потом поймешь... Я уже забыл, какие женщины бывают. Озверел малость. Будет так, как ты захочешь, и все, я тебя больше ничем не обижу... Не в этом дело.

— А в чем? — спросила она.

— А в том, что я тебя люблю, вот и все, и не смейся... У меня, может, ничего, кроме тебя, нет.

— Как же ты, интересно, жил до сегодняшнего дня?

— А я и не жил, я только и ждал тебя.

— Чудной ты,— сказала она.— Чуть-чуть с приветом.— Она стукнула пальцем по виску.— То такой хороший, покорный, то будто с цепи сорвался.

— Ну, сорвался раз,— согласился он.

— Ладно,— сказала она.— На первый раз прощаю.

Он взял ее руки, холодные, будто был мороз, и провел ее узкой ладонью по своему лбу, щеке, по губам.

— Ну, когда теперь? — спросил он с надеждой.

— Когда-нибудь,— ответила она, улыбнувшись.

— Завтра,— твердо сказал Иван.

— Какой ты настырный. Ну ладно.

Она повернулась и пошла, вот она уже дошла до подъезда, открыла дверь.

— Слушай, ты в бога веришь? — крикнул он.

— Никогда,— ответила она.

— А в судьбу?

— Верю.

— И я тоже.

— Только в счастливую, а ты?

Он не ответил, молча махнул ей рукой. Хлопнула дверь подъезда.

Он подумал, что не сказал ей что-то важное, существенное, да, в общем-то, ничего не сказал, и он решил догнать ее, вбежал в подъезд, в эту гулкость, пустоту, полутьму, терпко пахнущую кошками.

Где-то наверху он услышал уже слабый, нечеткий стук каблуков, затем дверь захлопнулась, в подъезде стало безжизненно и тихо. Он сел на подоконник, достал свой «Беломор» и, когда, закуривая, поднес руки к лицу, отчетливо услышал запах ее духов, волос.

Он прижал ноги к теплой батарее и, словно собака, обнюхал свои руки, пахнущие ею. Так он сидел еще долго, чувствуя тепло, которое от ног шло вверх, наполняя все его внутренности блаженным, усыпляющим покоем.

Такое было чувство, будто падал с самолета, камнем в землю, с большой высоты, и вдруг парашютик неожиданно раскрылся над ним, и он повис недвижно меж облаков и мягкого неба.

Глава двадцатая

Он легко ориентировался в чужой, незнакомой местности и сейчас пошел не тем путем, как шли они вместе сюда, а кратчайшим, как ему казалось,— дворами. Крупная капля — то ли ветром ее сорвало, то ли так, шальная,— шлепнулась на лоб, приятно похолодив лицо. Он подошел к дереву, разглядел в темноте набрякшие почки. Казалось, еще минута, и они разорвутся.

«А ведь я как раз к лету попал»,— подумал он с тайной радостью и удивлением. Из дворов он вышел на пустырь, бывший когда-то стадионом, судя по еле очерченному квадрату поля, перепаханного кое-где бульдозером, по сваленным в кучу остаткам трибун. На колышках висели большие фанерные щиты, видимо, стенды. В одном месте стенды были сняты, и сердцевина щитов не белела, а гасла в общей тьме. Около одного из щитов он заметил какое-то движение. Подойдя чуть ближе, увидел группу людей. Они стояли плотно, Ивану даже почудилось, в кружок. Голосов не было слышно, в темноте казалось, что они колдуют над чем-то или же роют землю, встав в круг. Неожиданно круг разжался, и из него пулей выскочил человек и побежал.

Он пробежал метрах в десяти от Ивана. Только белое пятно лица мелькнуло, очень белое, белее стендов на колышках. Иван скорее угадал, чем увидел, что это был молодой парень, хотя бежал он тяжело, то ли пьян был, то ли подбит... И тут же цепочка рванулась за ним, и по той сосредоточенности, с какой они молча бежали, Иван понял, что эти четверо травят пятого не на шутку... И что при таком ходе он от них не уйдет.

Действительно, они быстро догнали его и остановились, и бежавший и догонявшие его стояли на сей раз вроде бы мирно, что-то выясняя. Ивану были слышны их голоса, но что они говорили, он не различал. Незаметно как-то бежавший переместился в центр группы и стал размахивать руками, будто объясняя что-то. А через секунду он упал, будто поскользнулся, будто не на земле стоял, а на льду. Тут же он исчез из поля зрения, потому что те четверо окружили его. Они покачивались, размахивая руками, будто играли в футбол, пасовали в кружок, тут же Иван понял, что и на самом деле они работали ногами. Он подошел на несколько метров ближе к ним и явственно услышал ругань, сдавленный крик; кольцо на мгновение разорвалось, и тот, что был внутри, по-лягушечьи, на четвереньках, выпрыгнул из кольца и снова тяжело, подбито бежал, время от времени нагибаясь к земле и хватаясь одной рукой за бок... И снова те четверо погнались за ним, и Ивану было хорошо видно, как он растерянно нагнулся, схватил что-то с земли, видно, камень, и бросил в них, но не попал, потому что они не замедлили свой бег и уже почти настигли его.

Иван не мог разглядеть их как следует, но сейчас по их бегу, по суетливой ярости, с которой они все на него снова кинулись, Иван почуял: это не мужики, это малолетки.

Иван вложил оба пальца в рот и свистнул. Он хотел их взять на испуг, остановить. Действительно, они остановились, но не все: один, самый маленький, махал руками около подбитого. Остальные стояли, не двигаясь, издали разглядывали Ивана. Убедившись, что он один, они сделали шаг ему навстречу.

— Эй, подойди! — крикнул один из них высоким, ломким голосом.

Иван не ответил. Он снова сунул пальцы в рот и засвистел, будто подзывая кого-то к себе. Свист его прозвучал на этот раз резко, пугающе. Они остановились, замерли... Иван повернулся и ровным шагом пошел назад к щитам. Однако, пройдя десяток метров, он вновь услышал резкий, тонкий, будто бы знакомый окрик:

— Стой! Вертай назад!

Иван продолжал идти, не замедляя, не убыстряя шаг, вскоре он услышал нарастающий топот. Теперь бежали за ним.

«Может, рвануть? — соображал Иван.— Да ни к чему от мелюзги бегать... Пугну, отобьюсь. А вообще зачем я влез?»

Он прошел еще несколько шагов, чувствуя затылком, спиной близость бежавших людей, и круто повернулся им навстречу. Он сунул руки в карманы, будто там было что-то такое, чего не достают попусту. Он молчал, выжидал. Двое почти вплотную подошли к нему.

— Ты чего свистел? — спросил тот, кто окликал его.

Теперь Иван понял, что он не ошибся, им было лет по шестнадцать, не больше, и тот, кто спрашивал, был будто бы знаком, где-то Иван уже видел его.

— Ты чего, дешевка, свистел? — повышал голос парень.— Фары тебе пописáть?

— Не тарахти, сопляк локшовый,— спокойно сказал Иван.— Дыхало закрой, когда со старшим говоришь, фраеришка.

Тот аж опешил на мгновение.

— Так вот я вам говорю,— продолжал Иван.— Валите отсюда, пока вас тут не тормознули. И человека оставьте, не смейте марать.

— А тебе что, больше всех надо? — сказал парень, и Иван окончательно признал его. Это их шайка-лейка прицеплялась к Ивану в парке у пивного ларька. Сейчас, сбитые с толку изощренным блатом Ивана, его уверенностью, угрожающим видом, они пялили глаза, одновременно и робея и взвинчивая себя, остервеняясь и с опаской косясь на неподвижные руки Ивана, тяжело лежавшие в оттопыренных карманах, в которых, кто знает, какая штучка лежит.

— Да, мне надо,— сказал Иван.— Я вам повторяю: валите хором отсюда без несчастья.

Иван повернулся и пошел. Они стояли сзади, еще не решив, что делать, но нападать пока боялись. Теперь нужно было уходить... Все, что мог, он сделал, а теперь уходить, быстро и толково, но без суеты. Не дай бог показать этой шушере, что ты боишься. Им только подставься, только покажи слабинку, такие мальки беспощаднее взрослых, когда чувствуют слабость или безнаказанность. И все-таки Иван таких не боялся. Сколько таких бегало у него на побегушках ложкомойниками!

Он шел достаточно быстро, твердо, одну руку попрежнему держа в кармане для понта, другой помахивая для быстроты хода, шел так, будто сзади никого нет... «Разговор окончен... Пора по домам. Я вас предупредил, а вы меня не троньте, только зачем эти чувырла встретились в такой вечер?» Он не жалел, что ввязался... Таких не пугнуть — себя не уважать. На них не крикни — загрызут человека насмерть. Но было досадно, что такой вечер попортила эта шпана.

Тихо — ни голоса, ни ветерка. Тихо, прохладно, свежо. «Надо б дойти до остановки,— подумал Иван.— Метров через сто вроде б остановка. Мо-

жет, еще автобусы ходят. Кто его знает, какие тут порядки?»

Задумавшись, он не расслышал, как двое стоявших впереди рванулись с места, а двое других побежали за ними. Он прозевал их рывок на секунду, нет, на полсекунды, чуть запоздал ринуться вперед, а теперь они уже догоняли его. Он мгновенно решил, как будет действовать. Сначала он побежал не сильно, потом резко остановился, и, когда первый на скорости поравнялся с ним, Иван прыгнул на него и всей тяжестью своего тела свалил на землю. Второй кинулся на него сзади, но промахнулся, проскочив вперед, и Иван успел ударить его, аж пальцы хрустнули обо что-то твердое, должно быть, затылок. Валясь, тот заплел ноги Ивану, и Иван потерял равновесие, но все-таки устоял. И тут же он увидел, что около него прыгает и петляет, как заяц, то удаляясь, то приближаясь, бежавший сзади всех, маленький, верткий, без шапки.

— Прочь, гнида! — крикнул Иван и побежал вперед.

Но те двое уже встали и пошли вдогонку за Иваном. Через несколько секунд он уже слышал рядом их бешеное дыхание, прерывистую ругань. Одного Иван ударил сбоку, в печенку, удар получился скользящий, не очень сильный, а второй подсек Ивану ногу, и Иван, таща его за собой, вместе с ним упал на землю. Первый прыгал над ним, целясь ногой в голову. Иван уклонялся, вертелся на земле, как рыба, одной рукой прижимая того, кто упал с ним вместе, ногами отбиваясь от нападавших сверху. Наконец, ему удалось опрокинуть на себя первого, и теперь они все трое бились на земле пыльным, шипящим, кровавым клубком, и главное сейчас было первым выскочить, первым встать на землю. Иван метелил их влежку, руками и ногами, не чувствуя, не замечая ответных ударов. Как бы в полусне, он видел маленького, который нагибался над ним, но у Ивана руки были заняты, и он не мог его отпихнуть, и он не знал, чего этот маленький, эта крыска хочет. Ему удалось на мгновение высвободиться, встать, и он рванулся вперед, но тут маленький, как мышь, метнулся наперерез, обежал Ивана кругом и подскочил, отставив назад одну руку. Иван почувствовал не тяжесть удара, а тычок, горячий, в спину, раз, и снова такой же, колющий и более глубокий в поясницу... Боль почему-то отдавалась в живот, а спина стала мокрой и горячей.

Он еще не понял: как это? Чем? Только почувствовал, что ноги держат плохо, что бежать не может. Что-то липкое, скользкое склеило ноги, тянуло вниз, к земле. Да и бежать уже было ни к чему: пространство вокруг него было пустым, и три спины удалялись от него, постепенно сливаясь с землей, с темнотой, последним бежал маленький человек без шапки.

Иван попробовал все-таки встать, идти, прошел несколько шагов, потом его затошнило, свело живот. Теперь впервые он почувствовал глубокую, нестерпимую боль, он встал на колени, потом лег на землю, сжавшись, бочком. Он вдруг стал плохо видеть и не знал, куда ползти и кого позвать. Он пополз к щитам, белевшим невдалеке, но доползти до них не сумел, потому что ему показалось, будто голыми внутренностями, кишками он царапается о землю, о грязный, острый, нерастаявший снег.

Надо было все-таки кого-то позвать, чтобы помогли, может быть, девушку, которая жила здесь рядом. Но он вдруг забыл ее имя. Силился вспомнить несколько секунд, но не мог. Тогда он окликнул Серегу, своего младшего брата, чтобы тот пришел поскорее, взял его и довел домой. На земле становилось все холодней, и тепло из спины уходило.



✪

Николай Александрович так и не заснул, всю короткую ночь он провел в тревожной полудреме. Поезд приходил рано утром, стоянка была трехминутная, и он боялся проспать. Как назло забыл завести часы и все вглядывался в окошко, где развиднелось тускло, не по-весеннему. Наконец он встал, побрился в коридорчике электробритвой, зудящей уныло, вполнакала.

— Зря беспокоитесь,— сказала ему проводница.— Спали бы себе. Еще час до вашей станции. У меня же отмечено в книжечке, седьмое купе — разбудить в шесть. «Все-таки хорошо, что вырвался. Иван обрадуется... Надо будет зайти в райотдел милиции — не помешает. И насчет работы обмозгуем...»

Николай Александрович решил не возвращаться в сонное, тяжело надышанное купе и простоял в коридоре у окошка, глядя, как лес, еще не стаявший снег и редкие домики из бесформенных и грязно-серых становятся розовыми и теплыми. Перед остановкой он испытал то легкое и приятное возбуждение, что известно каждому, кто подъезжает к месту, к своему конечному пункту, особенно когда едешь не по нудной обязанности, а просто так, в силу своих личных интересов...

✪

Мать Ивана несколько раз в ночь вставала, подходила к дверям, прислушивалась... Ивана все не было. Она дважды пила сердечные капли, будила мужа, один раз даже всплакнула и внезапно заснула на рассвете, измаявшись и устав за ночь. Ее и мужа разбудил звонок в дверь, долгий, сплошной, без перерыва, резко прервавший ее слабый, болезненный сон. Она, побледнев, вскочила, пошлепала босыми ногами в сени, непослушными руками дергала задвижку, никак не могла открыть.

— Кто? Кто?.. Это ты, Ваня?!

— Открой, Михайловна,— сказал громкий женский голос.

На пороге стояла соседка, из домика напротив.

— Подымайся, Михайловна! С Ваней неприятность.

— Что, что такое?! Слава, иди сюда скорее. Ой, нехорошо мне!..

Она, держась за сердце, стояла, прислонясь к косяку с неживым, побелевшим лицом.

— Что ты знаешь, говори! Ну, говори же скорей... Куда мне бежать-то? Где он, Ваня? Ну, говори же.

— В больницу беги. В больницу его отвезли... Говорят, дрался с кем-то... Там он в больнице лежит порезанный.

Туфли не застегивались, платье не надевалось, и Вячеслав Павлович молча помогал ей. Задыхаясь, с таблеткой валидола во рту она выскочила из дома и бежала к больнице, а муж сзади, не поспевая за ней.



— Я же говорил,— тихо, чтобы она не слышала, бормотал он.— Я же говорил, я же заранее знал, что так будет...

Она не слышала ничего и молчала. Лицо ее казалось застывшим, в мертвенности своей — неприступным. И только внутри себя она кричала криком, и внутренности ее рвались и набухали кровью: «Ведь так все хорошо было... Ведь хорошо же было... Что же ты делаешь со мной, Ванечка-а-а?.. Что же ты с нами делаешь?»

В больнице кто-то накинул на нее халат, объяснял, какой этаж, какая палата, она не слышала и не понимала, и бежала вперед, сдернув с себя мешавший халат, держа его в руках, как полотенце, и безошибочно поднялась на третий этаж, и, не спрашивая, нашла палату, где он лежал. У палаты она остановилась. Не могла переступить порог и открыть дверь. Муж догнал ее, и она сказала ему:

— Ты иди...

Он вошел, а она стояла у дверей, ждала. Через минуту муж вышел.

— Живой он? — спросила она мужа.

Муж замешкался, секунду не отвечал, ее стало

знобить, и она накрыла голову халатом. Наконец до нее дошел его далекий, приглушенный голос.

— Живой он... Без сознания сейчас... Ты бы пока не входила.

✪

Сережку никто не разбудил, как обычно, и он хотел было проснуться сам и вылезти из теплой постели в утренний холод, но раздумал и снова накрылся с головой. Поспав еще немного, он разлепил глаза, посмотрел на часы, было уже больше девяти... Первый урок подходил к концу. Он вскочил, в доме никого не было. Раскладушка брата, сложенная, стояла у стены. «Как же это я не услышал, что он встал?» — подумал мальчик. Он походил немного по квартире, вышел во двор, посмотрел там... «Может, брат здесь, делает зарядку?» Но брата не было... Отец и мать, видно, ушли на работу, а в доме почему-то все было раскидано.

Он собрал учебники и, не поев, пошел в школу. Он не знал, как он объяснит учительнице свое опоздание. Не мог ничего придумать. Около школы тоже было пусто и тихо. Только один парень из седьмого «Б» курил не стесняясь и что-то чертил на земле прутиком.

— Ты чего? — спросил он Серегу.

— Опоздал на урок... Проспал. А ты?

— Выгнали.

— За что?

— Да так... Было дело.

Сережа сел на корточки и стал бить палочкой по комку снега.

— Говорят, к тебе брат приехал? — спросил парень.

— Ага,— с гордостью сказал Сережа.— Давно уже. Четвертый день. Он у меня на погранке служил.

— На погранке? — ухмыляясь, сказал парень.— А мне говорили, он в тюрьме сидел.

У Сережи аж лицо вспухло. Он приставил палец к своему виску и сказал:

— Ты что... Совсем, что ли, того?

— Я-то ничего... Ты-то чего дурочку ломаешь? В тюрьме он сидел, все говорят.

Сережка встал, бросил на землю портфель и пошел на парня... Ему хотелось плакать, но он сдерживался изо всех сил. Парень был на голову выше его, но это не остановило Серегу.

— А ну-ка еще скажи... Я тебе сейчас дам в лоб. Мой брат пограничник. Он со службы вернулся. Все знают... Попробуй, скажи еще про моего брата.

Семиклассник сплюнул, повернулся к Сереге спиной и, пощелкивая пальцами, пошел в школу.

А Сереге хотелось драться и плакать. Плакать и драться. И еще есть, потому что так никогда не бывало в его жизни, чтобы его не будили, не оставляли ему еды, не провожали его в школу, чтобы он опоздал на целый урок и не знал, что говорить учительнице.

Апрель 1970 — февраль 1972.

Егор Самченко





Баллада о рабочих розах

Между тем на земле заводской
Вровень с сердцем, подать рукой
Красносветные розы показывались
И, покачиваясь, поворачивались
Своей солнечной стороной.
Их, наверно, посменно растили,
Жизнестойкости мягко учили,
Землю вскапывали, поили
Животворною чистой водой.
И сейчас — до чего хороши! —
Длинноногие нежно покачивались,
Крепыши-бутоны потягивались —
Сладко утром дышать! — Дыши.

Нужно с добрых дел начинать,
Время в кровном родстве с заботами —
В перерывах розы работали,
Помогали рукам отдыхать.

Баллада о войне и мире

А я работал на заводе N,
Да, у неколебимых корпусов
Обычный четко начинался день,
Проверенный системой пропусков.
...Во имя мира мы стволы крепили,
Снаряды на конвейеры грузили,
Во имя мира строй станков любили,
Жизнь боевых станков.

А в перерыве из фрамуги, с тыла
Спускался белый голубь сизокрылый,
И мы кормили, образуя круг,
И он клевал из чистых наших рук.

А ночью снилось — началась весна.
Орудья без чехлов зазеленели,
И почками стрепяла тишина,
И ветки на стволах похорошели.
Я шел-летел, упорствовал смелей,
Внизу тянулись полосы песные,
Границы нарушали на земле
Уже не войны — весны мировые!





ВАЛЕНТИН ЧЕРНЫХ

ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ

РАССКАЗ

Рисунок
Леонида БИРЮКОВА.

Маленький, худой, в узком подбородке ни силы, ни упрямства, губы совсем непонятные — неизвестно, что из них получится через несколько лет, вытянутся ли в решительную линию или обиженно подожмутся...

Он щелкнул каблуками сапог и представился приезжему:

— Шофер Веселкин.

И Шатров вынужден был прервать разговор с председателем колхоза, встать из-за стола и тоже представиться. Если бы не явных восемнадцать лет, Веселкина по одежде можно было принять за демобилизованного летчика. Много раз стиранная форменная офицерская рубаха, когда-то густо-зеленая, а сейчас блеклая, кожаная коричневая куртка, потертая и выгоревшая на солнце. Такие летные куртки носят десятилетиями, потому что шьют их из первосортной плотной кожи, вставляют металлические «молнии» особой прочности — такие для мирной жизни почти не применяются. И брюки на нем были военные, аккуратно отглаженные галифе с голубым авиационным кантом, и сапоги летные или десантные, с ремешками на голенищах, чтобы не спадали с ног при прыжках. Это была или одежда его отца, или он ее собрал по частям, и собрал, наверное, с большим трудом, и, может быть, здорово переплатил, потому что с такими удобными куртками и сапогами, даже изношенными и старыми, летчики почти никогда не расстаются.

Шатров объяснил шоферу задачу: до отхода поезда оставалось сорок минут, времени в обрез, ему нельзя опаздывать, завтра в управлении совещание, а следующий поезд только утром. Выход единственный — успеть!

— Это боевая задача,— вставил председатель колхоза.— Это приказ!

Председатель был капитаном запаса и в критических ситуациях всегда действовал, как военный. Правда, ситуация была вполне обычной. Насчет завтрашнего совещания в управлении Шатров придумал только сейчас. Завтра воскресенье и день нерабочий. Просто ему не хотелось еще на сутки оставаться в колхозе и еще один вечер сидеть в колхозной

гостинице — двухкомнатной квартире, выделенной в новом доме специально для командированных. За несколько суток, что Шатров пробыл здесь, готовя сводку для управления, он перечитал все журналы, которые оставили до него другие командированные, написал письма даже тем, с кем не переписывался уже много лет. Шатрову очень хотелось домой, так хотелось, что он повторил:

— Выход единственный — успеть!

— Есть,— ответил по-военному Веселкин, задрал рукав куртки и взглянул на часы. Шатров отметил, что и часы у шофера авиационные — штурманские. Шатрову стало смешно, что шофер, почти уже взрослый парень, все еще играл в солдатики.

Председатель колхоза проводил Шатрова до машины и тоже задрал рукав пиджака и озабоченно взглянул на часы. Шатрову стало совсем смешно, и он нахмурился, чтобы не рассмеяться, это было бы невежливо, мальчишка ведь выполнял почти боевое задание.

Веселкин обошел «Волгу», ударяя по баллонам носком сапога. Сапог упруго отскакивал. Подергал за дверцы, качнул машину, поднял капот. Он осматривал машину, как самолет перед вылетом, это был очень тщательный и очень продуманный осмотр. Шатров наблюдал за ним с умилением.

— Машина готова к выходу на трассу,— закончив осмотр, четко отрапортовал Веселкин.

— Вперед! — приказал председатель и приложил ладонь к полям шляпы.

Веселкин стремительно рванул с места, и машина запрыгала на выбоинах деревенской улицы.

Шатров посмотрел на часы и вдруг понял, что они уже не успевают. Он попробовал подсчитать более точно. До отхода поезда оставалось полчаса. Со средней скоростью шестьдесят километров в час можно успеть минут за двадцать пять. Но впереди два шлагбаума через железнодорожные пути, несколько подъемов, где, хочешь или не хочешь, придется сбросить скорость, повороты, когда не пойдешь на обгон, один участок ремонтируется и на нем только одностороннее движение, если на этот участок первой въедет встречная, придется ждать, потому что на узкой полосе не разминешься, а еще светофоры в городе.

Шатров всегда быстро утешался. Он тут же решил, что завтра они выедут пораньше, и он даже успеет выпить чашку черного кофе с венгерской ватрушкой, и к полудню будет дома, примет ванну, прочтет накопившиеся за время командировки газеты, а вечер они с женою проведут у телевизора — по вечерам в воскресенье всегда дают развлекательные программы, которые никогда не заканчиваются поздно, на телевидении понимают: завтра рабочий день, надо хорошо выспаться, ведь у сонного человека плохая производительность труда, а сейчас все стали думать о производительности.

Стрелка спидометра вздрагивала у отметки в сто километров. Дорога была основательно выбита, такие дороги шоферы зовут «гребенкой» — сплошная тряска, особенно на большой скорости.

Шатров вжал себя в спинку сиденья и подумал: надо бы отвлечь мальчишку от этой бессмысленной гонки, потому что они наверняка уже не успевают.

— Ваш отец был летчиком? — начал Шатров.

— Нет,— ответил Веселкин.— Он конюх, а я буду летчиком-истребителем, а потом космонавтом.

Веселкин это сказал, как будто сообщил, что завтра воскресенье, и Шатров понял, что если он возразит, разговора не получится, и, припоминая все, что знал из газет и научно-популярных журналов, он заговорил о космонавтике.



Веселкин слушал молча, изредка поправляя Шатрова, если тот ошибался в датах запусков или различиях «Востоков» и «Союзов». Он поправлял Шатрова почти автоматически, как учитель, досконально знающий свой предмет, и Шатров даже растерялся от такой непререкаемой уверенности. Но оказалось, что у Веселкина была не только уверенность, у него была и программа, по которой он готовился в космонавты. Ровно в шесть утра Веселкин выбегал из дома. Каждое утро от центральной усадьбы до ближайшей деревни Путсвка — пять километров туда и пять обратно. Шатров хорошо знал деревню и мог представить, как посмеивались над Веселкиным: в деревне давно перестали ходить пешком, в колхозе было достаточно автомашин, а если осенью дорога становилась непролазной, люди предпочитали тащиться на тракторе. Он же бегал вот уже четыре года подряд, с тех пор как твердо решил стать космонавтом, ведь космонавт всегда должен быть в спортивной форме.

А в выходной день, который ему выделял председатель, если не было поездок, он тренировался на мотоцикле на самых больших скоростях и на самой опасной трассе, потому что у космонавта должно быть особое чувство к опасности, ведь неизвестно, какие ситуации могут возникнуть в космосе, а готовиться к ним надо на земле.

Еще Веселкин изучал испанский и французский по пластинкам, и, когда Шатров усомнился в необходимости испанского, Веселкин даже рассердился: всем же ясно, что в дальнейшем будут совместные полеты с космонавтами из разных стран, а готовиться к этому надо сегодня, потому что в летном училище и в отряде космонавтов ему придется осваивать еще очень многое и на языки может не хватить времени.

Веселкин рассказывал о далеких планетах и звездах, которые ему предстояло открыть, а Шатров думал, что есть все-таки преимущества опыта и возраста, мальчики, конечно, могут надеяться, но взрослые-то знают: чудес на свете не бывает. Есть только объективные закономерности, и это так же точно, как то, что они не успеют к поезду, как то, что он, Шатров, никогда не будет охотиться на крокодилов в Африке, может быть, съездит туда в туристическую поездку, если сумеет отложить денег, но охотиться никогда не будет, потому что экономисты из областного сельскохозяйственного управления на крокодилов не охотятся. И он никогда не будет генералом, потому что, прежде чем стать генералом, надо долго служить в отдаленных гарнизонах. И этот мальчик Веселкин пройдет путь, запрограммированный ему людьми, которые стоят выше его, и майор из районного военного комиссариата расскажет как-нибудь вечером жене еще об одном мальчишке, который очень хотел стать космонавтом, а направит его охранять склады с горючим: «Пост сдан», «Пост принят», сорок шагов вперед, сорок шагов назад, смена через два часа, четыре часа отдыха в караульном помещении с плотно устоявшимися запахами оружейной смазки и мокрых шинелей. Справедливости ради Шатров отметил, что майоры из военных комиссариатов совсем не злодеи, но они тоже подчинены закономерностям, невозможно всех отправить служить на атомные подводные лодки, в авиадесантные части и на ракетные установки, надо ведь кому-то охранять и склады с горючим. А потом этот Веселкин успокоится, как успокаиваются другие, забудет о своих космических кораблях, все ведь о чем-нибудь мечтают в детстве...

Они догоняли «Москвича», который, по-видимому, шел издалека, может быть, из другой области, потому что так заляпать кузов можно, только проехав не одну сотню километров, к тому же в их области неделя как не было дождей. Еще Шатров отметил, что «Москвич» шел на очень приличной скорости, их «Волга» выигрывала буквально метры.

Веселкин взглянул на часы, зашевелил губами, как ученик, делающий подсчеты, и увеличил скорость. Встречный самосвал вначале был совсем маленьким, почти игрушечным, его еще можно было накрыть ладонью, но он очень быстро увеличивался в размерах, его уже можно было взять под мышку, своему сыну Шатров недавно купил точно такой же, только жестяной «БелАЗ», в кузов которого входила лопата песка.

На заднем сиденье «Москвича» была женщина. Ее платок был разрисован зданиями и надписями. Дурацкая какая-то мода, подумал Шатров, даже одежду начали подписывать, и все-таки ему очень хотелось прочесть надписи, он прижался к окну, но тут Веселкин резко повернул руль влево и пошел на обгон. Шатров попытался определить, насколько молода женщина, и вдруг вспомнил о самосвале. Шофер «Москвича» не снижал скорости, Веселкину оставалось только сбросить газ и снова пристроиться сзади. У него было еще на это время. Самосвал приближался стремительно. Шатров видел, как шофера самосвала подбрасывает на сиденье, ему показалось, что он даже слышит, как громыхает железный кузов самосвала. Все, подумал Шатров и впервые в жизни почувствовал свое сердце, оно было отчетливо тяжелое и продолговатой формы. Но Веселкин снова увеличил скорость и обошел «Москвича» сразу на четыре корпуса, и мимо них пронесся самосвал. Мелькнуло усталое лицо пожилого шофера, на нем Шатров не увидел ни удивления, ни страха, шофер самосвала просто не успел испугаться, а Веселкин, как будто ничего не произошло, не снижая скорости, гнал машину вперед, и даже в позе его, неподвижной и чуть расслабленной, ничего не изменилось.

— Прекратите! — крикнул Шатров. Отметил, что крикнул тонко, не по-мужски, голос у него дрожал, и это его еще больше подхлестнуло.— Прекратите немедленно! — кричал он.— Прекратите!

— У меня было еще пять секунд,— сказал Веселкин и добавил: — Я все очень точно рассчитал.

— Я не хочу,— сказал Шатров.

— Я должен доставить вас к поезду,— спокойно сказал Веселкин.— Это приказ.

— Ты идиот,— сказал Шатров.— Мы все равно опоздаем. Невозможно успеть, ты понимаешь, невозможно успеть, если не успеваешь!

— Ничего невозможного нет,— сказал Веселкин.— Мы успеем.

— Ты никогда не будешь космонавтом, никогда...

— Буду,— сказал Веселкин.— Этого надо только очень хотеть и точно считать. И еще быть готовым к опасности. В космосе у меня может не быть даже этих секунд, которые у меня есть на земле.— Веселкин посмотрел на часы и увеличил скорость.

Шатров взглянул на спидометр, стрелка перешла отметку в сто двадцать километров. Фургон «Бытовое обслуживание» они обошли с такой стремительностью, будто фургон стоял на месте. Набегали и мгновенно оставались позади телеграфные столбы.

Впереди показался мотоциклист, он несся посередине шоссе и, по-видимому, был уверен, что обогнать его невозможно. И, даже услышав сигнал «Волги», еще некоторое время не сворачивал, но сигнал был требовательно непрерывным, и мотоциклист оглянулся и начал жаться к обочине.

Подъем Веселкин взял, только однажды переключив скорость, и тут же набрал ее снова. У Шатрова не было даже нескольких секунд передышки, чтобы решить, что же ему делать. У него появилась надежда, когда они подъехали к участку ремонтируемой

дороги. Навстречу им шел автобус. И Шатров решил: как только Веселкин остановится, он выйдет. Но Веселкин и шофер автобуса почти одновременно въехали на этот участок. Шатров видел, что машинам не разойтись, кто-то должен уступить и податься назад, и тогда у него наверняка будет время выйти из машины, но Веселкин снова нажал на клаксон, и шофер автобуса остановился, а потом попятился назад, и Веселкин пронесся мимо.

Теперь у Шатрова оставалась последняя надежда — железнодорожный переезд. И он обрадовался, как не радовался давно, когда увидел, что шлагбаум опускается. Товарный состав был уже недалеко, и уже предупреждающе трезвонили звонки.

«Почему он не тормозит?» — забеспокоился Шатров. Веселкин, не доезжая до переезда, свернул и понесся вдоль насыпи. Из кабины тепловоза высунулся парень и помахал им. Несколько секунд они шли вровень, но очень скоро Веселкин вырвался вперед.

— Приготовьтесь! — приказал Веселкин.— Возможен толчок. Полотно пройдем на скорости,— и добавил: — Прошу не беспокоиться. У нас в запасе еще пятнадцать секунд.

И тут Шатров увидел еще один переезд, здесь не было автоматического шлагбаума, старик стрелочник медленно крутил колесо, и полосатая жердь рывками шла к земле. Увидев внезапно выскочившую «Волгу», старик от неожиданности перестал крутить колесо и суматошно замахал руками, но «Волга», подскочив, уже перемахнула полотно, Шатрова бросило вверх, и он окончательно решил для себя, что, как только Веселкин снизит скорость, он откроет дверцу и выпрыгнет. «Ну, полежу в больнице,— думал Шатров,— зато хоть останусь в живых». Но Веселкин, не снижая скорости, свернул с дороги, пронесся мимо каких-то складов, и Шатров увидел железнодорожный вокзал.

— Какой вагон? — спросил Веселкин.

— Пятый,— ответил Шатров.

— У нас тридцать пять секунд,— сказал Веселкин. Он выскочил из машины, открыл багажник и, вихляясь из стороны в сторону под тяжестью чемодана, бросился к ограде, в которой оказалась калитка, повидимому, для служебного пользования. И Шатров побежал за ним, чувствуя, что его не слушаются ноги.

Поезд стоял у перрона.

Веселкин втащил чемодан в тамбур и выпрыгнул из вагона. Оставалось десять секунд. Шатров до того, как тронулся поезд, успел дойти до своего купе. Он выглянул в окно и увидел, что Веселкин стоит на перроне, приложив ладонь к козырьку фуражки. Веселкин отдавал честь, как отдают военные, докладывая о выполнении задания.

Неужели и вправду ничего невозможного нет и надо только очень хотеть и точно считать? — вдруг с тоской подумал Шатров. И если этот мальчишка прав, то половину своей жизни он, Шатров, прожил совсем не так, как ему хотелось бы.

В маленькой, тощей фигуре Веселкина было столько непреклонной уверенности, что Шатров начал лихорадочно перебирать в памяти знакомых, которые могли знать офицеров из военного комиссариата.

Надо, обязательно надо сообщить об этом Веселкине военному комиссару, думал Шатров, и пусть его обязательно пошлют в летное училище.

А иначе произойдет несчастье. Чтобы такие не разбивали тихоходные автомобили, они должны летать на реактивных истребителях и космических кораблях. Так для всех будет спокойнее.

●

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

логика сердца и варианты судеб

Перечитывая А. Н. Островского

I

— ...я теперь изучаю нравы одного очень дикого племени и по мере возможности стараюсь быть ему полезным.
— ...Какие выгоды доставляет тебе твое занятие?
— Выгоды довольно большие; а главное, что ни дело, то комедия.

Из разговора Досужева и Молодого человека («Тяжелые дни»).

Пьесы Островского и в самом деле производят впечатление приближенной к нам правды — словно автор ограничился тем, что, взяв из жизни «дело», записал его таким, каково оно есть, не убавив и не прибавив ничего. Сорок семь пьес Островского — это панорама «средней» русской жизни, это паноптикум ее уродств и мартиролог ее жертв, это «темное царство», лабиринт невежества, низости и подлости, в котором, как сомнамбулы, блуждают чистые души, ища выхода и надеясь если не на луч, то хотя бы на толику света, на проблеск разумности и справедливости.

Первую пьесу Островский написал в 1846 году, а последнюю — в 1884-м. В хронологических пределах его творчества произошла отмена крепостного права в России, да и общественная жизнь после смерти Николая I стала сравнительно свободнее. Однако все творчество Островского посвящено крепостничеству, неволе, рабству; крепостной зависимости сына от отца, дочери от матери, жены от мужа, должника от кредитора, одного человека от другого.

Крепостничество как форма русской жизни не исчезло с отменой крепостного права, оно определило русскую историю и в последующие десятилетия XIX века.

Одна из пьес Островского называется «Невольницы». Так можно было бы озаглавить чуть ли не

любую его пьесу — «Невольницы» или «Невольники». Неволя — условие всех конфликтов Островского. Неволя финансовая, неволя семейная, неволя женская — герои Островского или невольники, или деспоты. Это — основное подразделение, оно определяет сюжет, структуру, конфликт и идею драматургии Островского. Над «жертвенными» его героями господствует чужая воля — своей они не знают и даже побаиваются ее в себе. Высокопоставленный чиновник Гневышев в «Богатых невестах» рассуждает сам с собой: «Говорят, что я важен очень, повелителен... Но поневоле будешь важен, когда окружают такие люди, с которыми нельзя и говорить иначе, как начальническим тоном. Заговори с ними по-человечески, так они удивятся, растеряются...» Даже те герои Островского, в которых из-под уродливых наслоений «проклевывается» самосознание, спешат передоверить свою судьбу в чужие руки — понятие личного выбора им неведомо или страшит их. Агния в пьесе «Не все коту масленица», отказываясь от свободы выбора, в решающий момент заявляет матери: «Как вы сделаете, так и хорошо». Даже Александра Негина в «Талантах и поклонниках», едва ли не самая самостоятельная из героинь Островского, и та в решающий момент обращается к матери, передоверяя ей свою судьбу: «Как тут думать, об чем думать, об чем разговаривать? А коли есть в тебе сомнение, так возьми что-нибудь да и погадай. Ведь я твоя. Чет или нечет, вот и конец». А Катерина в «Грозе», прощаясь с мужем, требует, чтобы Тихон взял с нее клятву: свободы она боится еще больше, чем неволи.

Удивляться здесь не приходится — крепостническая идеология накладывает свой отпечаток не только на тиранов, но и на подвластных им людей. Такие истории случаются в зоопарках: сторож забывает закрыть клетку, зверь выходит из нее, но вскоре возвращается обратно. Поэтому деление персонажей Островского на деспотов и на жертвы в достаточной степени условно. Островский, кстати, сам опровергает эту наивную классификацию, рассказывая о прошлом деспота, когда тот был бедным и униженным, или — обратный вариант — о прошлом жертвы, когда та была богатой и независимой и сама тиранила других. Бывшая жертва становится деспотом, а бывший деспот волею судьбы превращается в жертву — таковы нехитрые метаморфозы крепостнической жизни.

Наглядно эта социальная инверсия выражена в пьесе «Волки и овцы».

Развиваясь, пьеса выдвигает парадокс: волки и овцы меняются местами спасенные овцы становятся хищниками еще более крупными и страшными, чем неудачливые волки.

Пьеса эта для понимания Островского важна необычайно, ибо он изучает не душевные аномалии отдельных людей, но общую аномалию социальной истории, где возможны такие чудовищные перестановки.

Островский предметом драматургического изучения ставит поведение человека в тоталитарной, крепостнической системе. Неволя — понятие для него широкое и охватывающее самые, казалось бы, отдаленные и вроде бы независимые уголки человеческого общежития, душевной жизни, лирических переживаний. В пьесе «Тяжелые дни» фигурирует Мудров — не только юридический, но и литературный консультант московского купечества, домашний, интимный цензор его духовной жизни. Он убежден, что не всякую книгу можно читать, особливо «нетвердым умам» — предварительно надо узнать, какой в ней дух.

Но как узнать это наперед, до чтения? Мудров



Александр Николаевич Островский.

предлагает свои услуги — передоверить ему отбор возможной для чтения литературы.

«Я знаю-с. Другой не знает, а я знаю, какой дух. Вот поэтому-то нетвердым умам и нельзя всякую книгу читать, а надо спроситься. Я могу, я читаю, я всякую книгу читаю. Я читаю и сам не верю тому, что написано; какие бы мне документы ни приводили, я не верю; хоть будь там написано, что дважды два — четыре, я не верю, потому что я тверд умом».

Возникает фантасмагория, которая, однако, обладает саморазвитием и собственной логикой, ибо «твердость ума» определяется степенью сопротивляемости чужеродной, враждебной косному сознанию информации.

Реальное крепостничество принимало самые уродливые очертания, и бытописатель Островский, верный правде жизни, честно и объективно фиксировал фантасмагорию современной ему действительности. Гротеск у Островского вынужденный, вроде бы даже помимо воли автора проникающий в его произведения. Быт покрывает фантасмагорию, но не скрывает ее полностью. Островский далек был от того «фантастического реализма», формы которого нащупывали Пушкин, Гоголь, Сухово-Кобылин, Достоевский, но т а к о в а была наблюдаемая им действительность — она порождала фантастику и переходила границы реального, возможного, умопостигаемого.

Произвол русской жизни был всеобъемлющим; при отсутствии гласности и гражданских ограничений деспот, естественно, преувеличивает свои тиранические возможности, ибо, не зная удержу, не ведает и границ.

Купец Тит Титыч Брусков, герой сразу двух пьес Островского — «В чужом пиру похмелье» и «Тяжелые дни», — откупается за дебоши, скандалы, обиды

и оскорбления деньгами — денег ему не жалко, он готов платить их вперед, дай только ему почувствовать безграничность его власти. Напротив, ограничение своей власти Тит Титыч воспринимает и как личное оскорбление и как чуть ли не уголовную провинность.

Вот его разговор с домашним советчиком Сахар Сахарычем (Захар Захарычем):

— Можешь ты такое прошение написать, чтобы в Сибирь сослать по этому прошению?

— Кого, Тит Титыч?

— Троих человек. Тебе все равно, что одного, что троих?

— Все равно, Тит Титыч.

— Надоть сослать учителя Иванова, дочь его и хозяйку их. Я так хочу.

Диалог этот сыграть можно по-разному: зловеще и весело. Все зависит от ситуации, в которой находится Тит Титыч. Ссылка в Сибирь — заимствование Тит Титыча из чужого словаря, политического. Прошение — это деликатное обозначение доноса.

Попыткам Бальзаминова найти богатую невесту и выгодно жениться Островский посвятил три пьесы. Безрезультатность ведет к повторению — Бальзаминов приходит в отчаяние от неудач. Островского огорчает необходимость дублировать прежний сюжет. В третий раз, в пьесе «За чем пойдешь, то и найдешь», Островский уводит прежнюю комедийно-бытовую схему в откровенный абсурд, ибо абсурдна сама ситуация поиска богатых невест. Бальзаминову на этот раз повезло — он знакомится сразу с двумя вполне «перспективными» женщинами, они соседки, и это вносит в матримониальные планы Бальзаминова фантастический элемент — идея доводится до полного абсурда. «Женюсь»,— сообщает он матери, и на вопрос «На ком?», ничтоже сумняшеся, отвечает: «На обеих». Любовная основа брака выхолощена полностью и заменена меркантильной: поэтому выгодно, женившись на соседках, разобрать забор и устроить один сад. Есть здесь и своя логика, и своя последовательность, и даже своя принципиальность.

В Бальзаминове смесь убожества и прожектерства. В мечтах он себя представляет «высокого роста, полным и брюнетом». Его не устраивает не только теперешнее существование, но и физический облик и даже фамилия. Он прыгает от радости, надеясь на ближайшее осуществление брачных своих надежд, он верит в возможность полного перерождения: «Батюшки мои!.. Я теперь точно новый человек стал. Маменька, я теперь не Бальзаминов, а кто-нибудь другой!» Это уже близко к пьесе Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина», герой которой, устроив себе ложные похороны, меняет облик и фамилию.

В «Трудовом хлебе», поздней своей пьесе (1874 год), Островский выводит на сцену Иоасафа Наумыча Корпелова, который своим трагическим шутовством совсем уж сродни Тарелкину. При виде кредитора он в отчаянии кричит: «А, он здесь! Ну, так скажи ему, что денег нет и я умер». В подтверждение инфернальной этой версии Корпелов закрывает глаза и спрашивает: «Видишь?»

Корпелов рассказывает о себе: «...Я и на свете-то живу не человеком, а заместо человека. Я и на службе-то был заместо кого-то, потому что служил исправляющим должность помощника младшего сверхштатного учителя приходского училища. Прослужил я целых три месяца, вышел в отставку; и аттестат два раза терял, и живу теперь по копии с явочного прошения о пропавшем документе. Признаться вам сказать, друзья мои и сродники, уж начинаю я сомневаться, сам-то я не копия ли с какого-нибудь пропавшего человека». Эта догадка о мнимости собственного существования и дает возможность живому человеку сообщить присутствующим о своей безвременной кончине. Смерть есть выход из неволи, единственный выход, последняя надежда; пусть даже смерть мнимая, но ведь и жизнь мнимая, ненастоящая, нестоящая...

И это не только в гротесковом плане, но и в реальном.

Доведенные «темным царством» до отчаяния, герои Островского мечтают о смерти как о единственно возможном освобождении от крепостнической зависимости, от кабалы святош, невежд и ханжей. Человек не властен в своей жизни, но волен в смерти. Настя в пьесе «Не было ни гроша, да вдруг алтын» рассказывает тетке о страшном сне: «Будто иду я по улице и вижу свои похороны. Несут меня в открытом гробе...» Николай в «Поздней любви» говорит: «Жить незачем». Белесова в «Богатых невестах» сама себе задает вопрос: «Не покончить ли с жизнью?» В «Сердце не камень» Ераст признается: «Мне жизнь недорога; я не живу, а только путаюсь в своей жизни; стало быть, и жалеть ее нечего, и, значит, я человек отчаянный».

У Островского не много пьес с трагическим исходом — причину его оптимизма мы расследуем в последней главе, а сейчас поговорим о его трагедиях, когда самоубийство становится выходом из безвыходной ситуации, из самоубийственной жизни.

2

— Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак.
— И не привыкнете никогда, сударь.

Из разговора Бориса и Кулигина («Гроза»).

— Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас!

Кулигин («Гроза»).

Добролюбов дал классическую формулу «Грозы», назвав ее «самым решительным произведением Островского, взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней до самых трагических последствий...»

В «Грозе» сквозь бытовые и речевые приемы проглядывают и в конце концов определяют сюжетное и идейное движение психологические, душевные, подсознательные импульсы. Куда как просто разделить персонажей «Грозы» на два противоположных лагеря. Островский, однако, был не моралистом, а писателем и подозревал диалектику там, где тенденциозный и поверхностный взгляд усматривал примитивную аллегорию.

Сознание Катерины замутнено уродливым воспитанием, она и на свободе несвободна; да и не она одна — о Тихоне, ее муже, сказано: «И на воле-то он словно связанный». Тихон от неволи уходит в загул, в запой; путь Катерины еще трагичнее — от деспотизма к нравственной апатии. Таковы крайности русской жизни, и выбора нет; Катерина выбирает смерть.

В «Грозе» Катерина — самый несвободный человек. Даже когда у нее есть воля, она этого не чувствует. Моральный ригоризм довлеет над ее сердечными движениями. Возлюбленного она называет не иначе как погубителем. Борис ей отвечает:

— Ваша воля была на то.

— Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе.

Любовь Катерины — это любовь невольницы. Это попытка, полюбив, сбросить с себя оковы — даже не те, которые на нее наложены извне, но прежде всего те, которые она ощущает в своем сердце. Будь на месте Бориса кто другой, Катерина полюбила бы любого. К тому же как похожи друг на друга муж Катерины и ее любовник, Тихон и Борис! У Бориса такое же подневольное сознание, как и у Тихона. Тихон уезжает из дома, чтобы хоть две недели кандалов на ногах не чувствовать, и этого для него достаточно: цепь осталась, только ее на время удлинили. И Борису достаточно двухнедельной свободы; он говорит Катерине: «О, так мы погуляем! Время-то довольно». Никто из них, ни Борис, ни Тихон, и помышлять не смеют о воле и даже кратковременное освобождение воспринимают как провинности перед деспотической системой. Только замутненное, ослепленное сознание Катерины может упустить из виду очевидное это сходство. Катерина — плоть от плоти мира, с которым она так стремительно и резко рвет. Ее экзальтация, ее сны, ее страхи, ее предчувствия совершенно совпадают с невежественно-мистическими представлениями Дикого и Феклуши.

Наивный Кулигин — глас вопиющего в пустыне! Он выходит на середину, интеллигентный, маленький, начитавшийся хороших русских книг, и обращается к толпе: «Ну, чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно напасти какой! Гроза убьет! Не гроза это, а благодать! Да, благодать! У вас все гроза!»

Кулигин ошибается — предчувствия Катерины, Дикого, сумасшедшей барыни сбываются. Просветительские воззвания Кулигина не находят отклика среди калиновцев — голосу рассудка они предпочитают голос инстинкта. Беда Кулигина в его рационализме: его дидактические наклонности скорее отталкивают калиновцев, чем привлекают.

Кулигин мечтает, надеется «ладком дело-то сделать», уладить отношения в доме Кабановых, избежать трагического исхода. От грома он предлагает устроить громовой отвод; так же пытается он отвести грозу от Катерины. Что-то есть в нем похожее на священника в «Ромео и Джульетте» — безосновательный оптимизм, безотчетная вера в разум, полное игнорирование возникшей ситуации. Еще он уговаривает Дикого дать деньги на установку солнечных часов: ему кажется, что они уж обязательно напомнят калиновцам о времени, которое, двигаясь вперед, оставило их далеко позади. Кулигин не понимает, что и в век солнечных часов и громовых отводов (а после Кулигина — в век телефонов и велосипедов и даже космических ракет и атомных электростанций) может существовать невежество, самодурство и тиранство.

То же с Борисом. Островский подчеркивает его инородность сноской: «все лица, кроме Бориса, одеты по-русски». Борис и Кулигин важны драматургически — это взгляд на русскую жизнь со стороны, это намек на иные возможности, таящиеся в ней; намек слабый, ускользающий, но существующий и существенный.

Писарев спорил с Добролюбовым, считая, что последний «ошибочно принял личность Катерины за светлое явление», а сам причислял ее к явлениям «темного царства». Было бы странно спустя сто лет встревать в спор двух замечательных критиков. Но сам факт этого спора характерен. Кстати, и Добролюбов был далек от идеализации Катерины и писал в связи с ее образом, что «крайности отражаются крайностями». И, более того, призывал читателей: «Всмотритесь хорошенько: вы видите, что Катерина воспитана в понятиях, одинаковых с понятиями среды, в которой живет, и не может от них отрешиться, не имея никакого теоретического образования. Рассказы странниц и внушения домашних хоть и переработывались ею по-своему, но не могли не оставить безобразного следа в ее душе...» Катерина «полуздесь — полутам», ее образ двоится, потому что уродливое общество порождает и уродливые формы бунта против него. Катерина погибает от общественной неволи, которая вошла в ее плоть и кровь и стала неволей личной. Ее последние надежды на смерть: «Уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче!» Да и Борис, не выдержавший грандиозности ее переживаний, не видящий выхода из испепеляющей ее душевной битвы, говорит о ней в третьем лице при ней же: «Ну, бог с тобой! Только одного и надо у бога просить, чтоб она умерла поскорее, чтоб ей не мучиться долго!» Страшные эти слова через несколько мгновений осуществятся — Катерина бросается в Волгу.

Героиня другой пьесы, Лариса в «Бесприданнице», измученная, униженная и запутавшаяся вконец, мечтает о самоубийстве и не решается на него: «Кабы теперь меня убил кто-нибудь... Как хорошо умереть...» Борис желает Катерине поскорее умереть; жених Ларисы Карандышев сам убивает ее.

Между «Грозой» и «Бесприданницей» прошло пятнадцать лет. Это была сороковая пьеса Островского, писалась она трудно и долго, не несколько месяцев, как обычно, а четыре года. «Бесприданница» — философская параллель к «Грозе»: прежний сюжет был углублен и изменен.

Островский возвращается к старым сюжетам, потому что его уже не устраивала прежняя их трактовка. Важен ведь не сам сюжет, но скорее ракурс, угол зрения, под которым он рассмотрен. Островский усложняет писательскую задачу — однозначная прежде ситуация оборачивается многозначной, диалектичной. Словно бы плоское прежде изображение он заменяет на многообъемную композицию.

Уже в пьесе «Грех да беда на кого не живет» при схожей с Катериной Татьяне Даниловне иным показан обманутый муж. Тихон в «Грозе» — лицо побочное, постороннее и сочувствия не вызывающее. Обманутый Краснов выдвигается чуть ли не в главные герои, зато никнет, уходит на задний план адюльтерная история, четырехдневная «легонькая интрижка» молодого помещика Бабаева с Татьяной Даниловной. Скажем иначе — роман этот интересен только с точки зрения мучительной реакции Краснова. Здесь происходит уже знакомая нам подмена, как в «Волках и овцах», когда жертва (вышедшая по нужде и без любви замуж Татьяна Даниловна) оказывается в роли «палача», а «палач» (Краснов) выступает уже как жертва. Но мы недаром, приведя схему «Волков и овец», заменили сплошную линию пунктирной — Татьяна и Краснов снова меняются местами: Краснов убивает свою жену. Дед Краснова слепой старик Архип в ужасе восклицает после убийства: «Что ты сделал? Кто тебе волю дал! Нешто она перед тобой одним виновата? Она прежде всего перед богом виновата, а ты, гордый, само-

вольный человек, ты сам своим судом судить захотел. Не захотел ты подождать милосердного суда божьего, так и сам ступай теперь на суд человеческий! Вяжите его!»

В «Бесприданнице» никто вязать Карандышева не станет, ибо убитая им Лариса перед смертью снимает с него вину дважды: и уголовную и нравственную.

— (нежно) Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! ...Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь... вы все хорошие люди... Я вас всех... всех люблю (посылает поцелуй).

Смерть Ларисы снимает противоречия пьесы — она всех прощает, а зритель прощает ее, потому что, если бы она не умерла, простить ее было бы невозможно — и не только потому, что о мертвых не говорят дурного: своей смертью Лариса искупает свою жизнь. Смерть для нее и единственный выход и нравственное искупление.

Лариса развращена купеческим мещанством, бездушным сводничеством матери, цыганско-разгульной романтикой. Есть в ней обескураживающая бесчеловечность, бессердечность. Она жертва по ситуации: по характеру она хищница, деспот, «роковая женщина». Поэтому Лариса вызывает двойное чувство — жалости и некоторой неприязни.

Главная жертва в «Бесприданнице», самый ее униженный и оскорбленный герой — это, конечно, Карандышев, а не Лариса.

Унижая постоянно человека, забывают о том, что и у него есть гордость, и она растет, гипертрофируется и достигает огромных размеров — прямо пропорционально количеству нанесенных оскорблений. Карандышев вариант Акакия Акакиевича, но Акакия Акакиевича, возмущенного вконец унижением; он оскорблен не только Ларисой и ее «друзьями», но и за Ларису. А она ослеплена не любовью к Паратову, а дешевым его романтизмом — и его и своим.

После гнусной шутки Карандышев произносит свой «оскорбленный» монолог: «Да, это смешно. Я смешной человек... Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве людей казнят за то, что они смешны? Я смешон — ну, смейся надо мной, смейся в глаза!.. Но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его! Ох, ох! Как мне жить! Как мне жить!»

Последний диалог Ларисы и Карандышева — поразительный по внутреннему драматизму и психологической загадочности. Это цепь взаимных унижений. Карандышев унижает не сам, он скорее раскрывает Ларисе механику унижения, которому она была подвергнута ее друзьями: «Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека,— человек сам располагает своей судьбой; они смотрят на вас, как на вещь. Ну, если вы вещь,— это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл, вещь и обижаться не может». Карандышев раскрывает Ларисе глаза на себя самое, упрекает ее в невзыскательности, прощает ее и объясняется ей в любви. Лариса глубоко потрясена этим разговором и впервые осознает не только свое нравственное падение, но и высокую меру человечности Карандышева. Пути назад она, однако, не видит, не знает, не хочет знать. И здесь в Ларисе происходит инстинктивный расчет — она резко, наотмашь наносит оскорбления Карандышеву, догадываясь, зная уже ответную реакцию этого человека. Лариса вызывает выстрел Карандышева — это отчужденная форма ее самоубийства. Лариса не располагала своей судьбой, и ее смерть — единственное проявление ее воли, первое и последнее самостоятельное ее решение. Трагический исход «Бесприданницы» еще трагичнее трагичного исхода «Грозы».

Что для нас трагедия? Она подводит нас вплотную к таким душевным мукам, что выдержать их невозможно даже зрителю: мы готовы закрыть глаза руками, убежать из зала, чтобы не видеть, не знать всего этого ужаса. Мы смутно еще надеемся на драматурга, что он найдет все-таки какой-нибудь чудесный выход и снимет с героев тень позора, унижения и несчастья, с которыми жить невозможно. Нас не покидает надежда даже там, где ее уже нет, где нет для нее места. Мы надеемся на чудо, на deus ex machina, чье чудесное вмешательство остановит неизбежный ход трагедии. Уже падает занавес, а мы все надеемся, надеемся, надеемся...

3

— Как страшна мне казалась жизнь вчера вечером, и как радостна мне она теперь!
— А вот, душа моя, несчастные люди, чтобы не гневить бога, чтобы не совсем отчаиваться, утешают себя пословицею, что «утро вечера мудренее»,— которая иногда и сбывается.

Из разговора Насти и Анны («Не было ни гроша, да вдруг алтын»).

— Вот она правда-то, бабушка! Она свое возьмет.
— Ну, миленький, не очень уж ты на правду-то надейся. Кабы не случай тут один, так плакался бы ты со своей правдой всю жизнь. А ты вот так говори: не родись умен, а родись счастлив — вот это, миленький, вернее. Правда — хорошо, а счастье лучше.

Из разговора Платона с Маврой Тарасовной («Правда хорошо, а счастье лучше»).

Выхода нет — выход есть!

В конце концов, помимо логики жизни, есть еще автор, и он хозяин трагедии; его право — превратить ее в комедию.

Схожая по сюжетной ситуации с «Бесприданницей» пьеса «Богатые невесты» кончается благополучно — трагедийная ситуация в ней исчерпана, на сцене появляется «запасной игрок» шут Пирамидалов, и пьеса, как шахматная партия, переходит в мирное окончание и завершается комедийно. И мы уже забываем, как волновались за Белесову, когда она думала о самоубийстве.

Даже Платон в «Правде хорошо, а счастье лучше», правдолюбец Платон, поделивший людей на два сорта — либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни,— Платон, о котором мать говорит, что вышел он с повреждением в уме и, как младенец, всем правду в глаза говорит, даже он благодаря ловко скроенной интриге оказывается обойденным несчастьем, напротив...

В пьесе «Сердце не камень» случай спасает честную и доверчивую Веру Филипповну от позора и завещательного остракизма — возникает островок благополучия, которому зритель радуется вместе с драматургом.

Комедия «Невольницы» вся так и дрожит на краю трагической пропасти и чудом каким-то избегает рокового падения.

В «Тяжелых днях» Досужев выступает в роли deus ex machina и в прямом смысле слова вырывает несчастных героев из безвыходной ситуации.

Одна пьеса Островского так и называется — «Не все коту масленица», иначе говоря, чаще всего коту масленица, но бывают и исключения (которые только подтверждают правило, додумает про себя читатель).

Часто драматические ситуации Островского таят в себе равные возможности трагического и благополучного исхода. Порою Островский идет на откровенные подмены ради счастья своих героев.

Пьеса «На бойком месте» проходит естественное развитие к трагической развязке, и трагедия происходит: Аннушка принимает яд, и кажется, что назад уже путь трагедии заказан. Островский вмешивается с опозданием — принятый «яд» оказывается безвредным средством. Драматургу изменяет художественное чутье, и конец пьесы выглядит натянутым, неправдоподобным. Это уже игра в поддавки, шахматная двухходовка, но в нарушение правил игры.

То же в пьесе «Поздняя любовь». Из всех возможных путей Островский выбирает те, которые неизбежно приводят к трагическому исходу. Пьеса уже окончена, и потрясенный Дормедонт вбегает в комнату с криком: «А-а-й! Караул!.. Убита!» — это Островский запускает вперед трагическое предположение, предупреждает зрителя о вроде бы неизбежных трагических возможностях, скрытых в описанной ситуации, а сам про запас держит спасательный круг и выбрасывает его, когда уже выхода нет,— документ, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, оказывается фальшивым.

Русская критика с некоторым удивлением следила за счастливыми метаморфозами героев Островского. Чернышевский, к примеру, счел совершенно излишним пятый акт в «Доходном месте», ибо «спасение» Жадова было нетипичным по тогдашним условиям русской действительности.

Пьесу «Горячее сердце» критика окрестила «кукольной комедией», а ее главную героиню Парашу — «пародией на высокий характер».

«Горячее сердце» написано спустя десять лет после «Грозы» и являет ее оптимистический аналог. Словно бы сюжет «Грозы» не давал Островскому покоя, он искал из него выхода и не успокоился, пока не нашел его. А может быть, изменилась к лучшему политическая и общественная ситуация в России и чудовищные ее монстры перестали быть хозяевами жизни, превратившись в фигуры нелепые, смешные и декоративные? Карл Маркс вспоминает в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» мысль Гегеля о том, что события и личности появляются дважды; Маркс добавляет от себя: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса.

В «Горячем сердце» и «Грозе» совпадает не только сюжет, но и основные герои; это словно двойники: Аристарх — Кулигин, Параша — Катерина, Кабаниха — Матрена, Дикой — Курослепов.

Даже действие в «Горячем сердце» происходит там же, где и действие «Грозы»,— в уездном волжском городе Калинове. И та же смесь суеверия, невежества и произвола, но выглядит она уже вполне безвредно. Фантасмагория дана в комедийном, а не трагическом освещении.

Чего стоит один Курослепов! То ему кажется, что небо валится, то видит он ад на земле, то хочет сбежавшую дочь на веревке с солдатом привести да запереть в светелке безвыходно, то спрашивает спросонья, сколько в нынешнем месяце дней — тридцать семь или тридцать восемь? Под стать ему и жена его Матрена; на его бредовые речи она отвечает еще большим бредом, но догматическим по окраске: «Связать тебя да в сумасшедший дом! Как может небо падать, когда оно утвержденное. Сказано: «твердь». Невежество свирепствует в «Горячем сердце», пожалуй, даже еще сильнее, чем в «Грозе». И двойник Кулигина Аристарх имеет все основания в горести и печали воскликнуть: «Что только за дела у нас в городе! Ну, уж обыватели! Самоеды! Да и те, чай, обходительнее». Даже городничий Градобоев, сам далеко не ангел (у него вместо закона — костыль), и он признается, что турок на войне не так боялся, как собственных сограждан: «Что вы за нация такая? Отчего вы так всякий срам любите? Другие так боятся сраму, а для вас это первое удовольствие!.. Невежеством-то вы точно корой обросли. И кору эту пушкой не пробьешь».

«Пусть лучше русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует»,— написал однажды Островский. Исследователи обычно связывают это заявление с кратковременным славянофильским периодом в его творчестве. Однако наивное желание радовать зрителя сопровождало Островского всю его жизнь.

Его пьесы — это «оправдание добра», оправдание во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило. Игрушечные развязки в некоторых пьесах Островского — следствие его наивного и неиспепелимого оптимизма. Островский верил в чудо, он знал, что оно невозможно, но он знал также, что без него нельзя.

Генрик Ибсен по требованию одной сердобольной актрисы переписал конец «Кукольного дома» с пессимистического на оптимистический, и зрители, которые вчера уходили со спектакля в слезах, на следующий день, когда играла эта актриса, радовались благополучному окончанию драмы. Островский готов был приписать оптимистический конец к любой пьесе, и не только своей: он переписал наново последний акт пьесы Н. Соловьева «Женитьба Белугина» и вместо разрыва между супругами показал апофеоз супружеской верности. Скорее, чем оптимистические концовки, поражают трагические исходы в пьесах Островского. Как трудно они ему давались, с какой неохотой, должно быть, следовал он неумолимому и не зависимому уже от него трагическому развертыванию событий! Островского можно сравнить в этом плане разве что с Диккенсом — английский романист совершенно не способен был окончить роман трагически...

В «Горячем сердце» наивное чудо оптимизма совершается через искусство. Герои переодеваются разбойниками и с помощью самодеятельного «театра» вызволяют попавшую в беду Парашу. Островский вполне откровенен — он подчеркивает театральную условность найденного исхода. В этой пьесе все вроде бы и не настоящее, это веселая, увлекательная игра, и право играющих окончить ее как угодно. Она кончается счастливо, весело.

Вспомним еще раз Досужева — он не только изучает нравы дикого племени, но и по мере возможности старается быть ему полезным. Он представитель автора внутри пьесы, добровольный устроитель благополучных судеб, выискиватель счастливых развязок.

Таким был Островский. Он знал все ужасы российской действительности, но был неисправимым оптимистом. И, когда уже для его оптимизма не оставалось вроде бы никаких поводов и тем более оснований, он призывал на помощь искусство театра. И оно ему никогда в этой помощи не отказывало — до самой его смерти.

В. ЖДАНОВ



В лаптях или в туфельках?

По поводу некоторых иллюстраций к стихам Н. А. НЕКРАСОВА

Однажды — дело было в 1863 году — известный художник и скульптор М. Микешин решил сделать иллюстрацию к стихотворению Некрасова «Муза». По собственным словам, он был увлечен стихами, в которых поэт с такой энергией набросал образ своей музы:

> Предавшись дикому и мрачному веселью,
> Играла бешено моею колыбелью...

Эти строки Микешин поставил эпиграфом к своему рисунку. А рисунок послал самому Некрасову, чтобы узнать его мнение — так ли понял художник смысл стихов. Каково же было удивление Микешина, когда поэт вернул обратно посланную ему работу вместе с письмом, в котором говорилось, что рисунок его решительно не удовлетворил.

Некрасов, судя по всему, пришел в ужас, увидев, что сложный и многогранный образ музы, запечатленный в стихотворении, художник до предела упростил, сделал его плоско-наглядным. Поняв некрасовские стихи буквально, художник изобразил обнаженную фигуру разгневанной и устремленной вперед женщины, раскачивающей колыбель с младенцем. И не удивительно, что, согласно воспоминаниям самого Микешина, Некрасов прямо заявил ему о полном несоответствии рисунка замыслу и стилю стихотворения. «Муза вообще есть миф или тип классического мира, и в пластическом изображении ее необходимо трактовать классически...» — так излагал художник письмо Некрасова (оно не сохранилось).

Это была излюбленная мысль Некрасова, он высказывал ее не раз. В одном из последних своих стихотворений, обращаясь к поэту, он восклицал: «Форме дай щедрую дань... важен в поэме стиль, отвечающий теме».

Стиль, отвечающий теме, конечно, важен не только в поэме, но и в любом художественном произведении, в том числе в иллюстрации; ее назначение — выразить средствами изобразительного искусства смысл и сущность литературного первоисточника, будь то стихотворение, поэма или роман. При этом художник может в чем-то углубить и обогатить замысел, открыть или выделить в нем какие-то новые грани. А может и обеднить, даже исказить этот замысел, особенно если подход художника к материалу лишен подлинного историзма и страдает односторонностью.

История книжной иллюстрации знает немало примеров, когда художникам удавалось дать глубокое и проницательное истолкование литературных образов. Известны рисунки А. Агина к «Мертвым душам», где выразительно переданы убогий и страшный мир гоголевских персонажей. Превосходны иллюстрации А. Бенуа к «Медному всаднику», М. Добужинского к «Белым ночам» Достоевского. Множество отличных рисунков-иллюстраций создано советскими художниками к сочинениям русских классиков и современных авторов.

Перед нами иллюстрации к одной из лучших поэм Некрасова, «Мороз, Красный нос». Они появились на свет в связи с недавним 150-летием со дня рождения поэта. Попробуем сравнить некоторые рисунки с самой поэмой, в которой Некрасов, по его словам, стремился изобразить «судьбу нашей крестьянской женщины», показать «суровую долю крестьянки». Поэт представил без всяких прикрас бедственную жизнь крепостной деревни, труд и горе русской женщины; он сказал об этом и в известном монологе «Три тяжкие доли имела судьба...», и в самом описании трагедии крестьянской семьи, потерявшей кормильца, и в печальном рассказе о жизни и смерти Дарьи. Но Некрасов не был бы великим поэтом, если бы не сумел увидеть живую душу крестьянства, если бы не создал «тип величавой славянки», выразив тем самым свою светлую веру в народ, в его скрытые силы. Он окружил поэтическим ореолом образ женщины русских селений, широко ввел в поэму мотивы народносказочного творчества, искусно соединив реальные черты деревенской жизни с причудливыми узорами народной фантазии.

Некрасовское отношение к крестьянству, выраженное в поэме, противостояло двум характерным тенденциям того времени. Одна из них — барское представление о мужике как существе низшего порядка, далекого от всякой поэзии. Некрасову не раз приходилось выслушивать суждения такого рода, например, от В. Боткина, и поэт неизменно восставал против них. А. Панаева вспоминает, как взволнованный Некрасов, расхаживая по комнате из угла в угол, внушал Боткину:

— Меня удивляет, что вы отвергаете человеческие чувства в русском народе! Он так же сильно чувствует любовь, ревность к женщине, так же беззаветна его любовь к детям, как и в нас!..

Вторая тенденция, также глубоко чуждая Некрасову, сводилась к квасной, псевдоромантической

идеализации крестьянского быта, к любованию патриархальностью русской деревни, к мнимопатриотическому, славянофильскому стремлению приукрасить ее «устои», не замечая нищеты и темноты, в которой живет крепостной крестьянин. Поэма Некрасова резко направлена против таких представлений; недаром в ней крупно и ярко выражена мысль о душевной и физической красоте, о нравственной силе русской крестьянки и столь же убедительно обрисованы тяжкие, гнетущие обстоятельства ее жизни. Но даже они не могут переломить сильный и цельный характер. Исключительность таких натур, как некрасовская героиня, в том, что

...грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветет
Красавица, миру на диво...

И в этой же поэме сказано об иссушающем горе, о трагической судьбе крестьянки. «Тот сердца в груди не носил, кто слез над тобою не лил!»

Художник К. Андрианов исполнил целую серию иллюстраций к поэме, а издательство «Изобразительное искусство» выпустило их в виде 16 открыток (тираж — 175 тысяч). Эти иллюстрации не упрекнешь в сухости, в недостатке красочности, в отсутствии изобретательности. Однако, вглядываясь в разнообразные сцены из поэмы, мы начинаем понимать: пожалуй, Некрасов здесь совсем ни при чем.

Под волшебной кистью нашего художника тяжкая жизнь нищей, задавленной горем и нуждой крепостной деревни превратилась в идиллические сцены из пейзанского быта. Здесь царит сплошной праздник. Какие-то бездельники-гуляки в разноцветных рубахах, в немыслимых сапожках глядят вслед деревенской красавице, похожей не на русскую крестьянку прошлого века, а скорее на боярышню, срисованную с какой-нибудь старой слащавой олеографии,— богатый сарафан стелется по земле, коса до колен, на голове что-то вроде кокошника... Неужели это про нее сказано: «И голод, и холод выносит, всегда терпелива, ровна...»? Нужен ли более наглядный пример фальшивого приукрашивания старого крестьянского быта?

Вот та же красавица на косьбе. Да, поэт восхищался силой и ловкостью крестьянской женщины («Что взмах — то готова копна!»). Но вот почему она косит траву в нарядном платье, в изящных синих туфельках? Похоже, она только что вернулась после гулянья или, может быть, выступления в ансамбле песни и пляски. Что и говорить, ей, конечно, не подошли бы грубые и бедные лапти, те лапти, какие, несомненно, всегда носила некрасовская Дарья. Ведь лапти испортили бы всю картину да и весь «красивый» замысел художника.

После этого уже не приходится удивляться, что на следующем рисунке деревенская красавица пляшет в красных туфельках среди разряженных односельчан. А вслед за тем она легко и непринужденно чем-то вроде лассо обуздывает вздыбленного, дикого коня («Коня на скаку остановит...»), проделывая это на фоне горящей избы, куда ей еще предстоит войти. Ах, как это эффектно!

Не будем удивляться и тому, что знаменитый некрасовский савраска, он же саврасушка, немало послуживший своему хозяину Проклу, работяга, измученный тяжелым трудом и в жару и в стужу, сохранивший на своих впалых боках не одну полосу от кнута,— что этот савраска превратился теперь в могучего, сказочного коня с круто изогнутой шеей, с пышной гривой. Это превращение как бы довершает картину: вместо сурового некрасовского реализма перед нами откровенно сусальный лубок.

А среди других иллюстраций мы встречаем и явно «театрализованный» девичий хоровод, и пышный



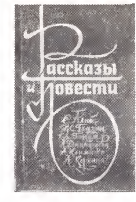
свадебный обряд, и иконописные лики крестьян, собравшихся вокруг умершего Прокла, и разодетых чуть ли не в боярские одежды отца и мать Прокла в момент их встречи с юродивым Пахомом, и многое другое.

Нет, не таков крестьянский мир, изображенный в поэме Некрасова.

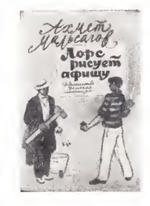
Как видно, склонность к любованию патриархальной стариной сказалась в последние годы не только в литературе, она проникла и в искусство иллюстрации. Вольно или невольно художник пошел вслед за теми, кто хотел бы «подкрасить» старую деревню, представить ее вопреки исторической правде и вопреки Некрасову в празднично-розовых тонах. Но история да и некрасовская муза не нуждаются в таком слащавом подкрашивании. Жаль, что этого не понял художник, несомненно, способный, но не сумевший найти в своих «некрасовских» работах «стиль, отвечающий теме».

Псевдонародное эпигонство, бездумное подражание замечательному искусству Палеха, обуявшее в последние годы некоторых профессиональных художников, к добру не приводят. Задачу иллюстрирования стихов Некрасова нельзя решить ни методом поверхностного осовременивания темы, ни путем псевдоромантической идеализации прошлого.

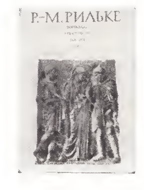












АВТОРЫ СБОРНИКА МОЛОДЫ

С каждым годом все больше и больше новых имен появляется на страницах журналов, сборников, альманахов. В литературу приходят и молодежь и люди старшего поколения.

...В часы раздумий застаем мы юного Алексея Пешкова, странствующего по Руси, в рассказе Изабеллы Гонца «Человек зажигает костры»: «И тогда простой вопрос: «Да не один же я на земле?» — заставит оглянуться и идти. Куда? К людям, которые зажигают костры...» [«Рассказы и повести», изд-во «Картя молдовеняскэ», 1972].

Имя Изабеллы Гонца знакомо читателю. Она работает в жанре историко-литературного очерка и рассказа, публиковалась в журналах «Молодая гвардия», «Нева», «В мире книг», в периодической прессе Молдавии.

«Человек зажигает костры» — это небольшой рассказ о жизни Алексея Пешкова, лирическое повествование о человеке, который ищет в мире справедливость, пытается понять, почему люди бывают одиноки, озлоблены... «Кажется, что ты собрал огромный сноп света со всеми оттенками радуги и только не знаешь, как подарить его людям. Вот и разреши эту тайну мира. Сможешь — значит, недаром проживешь жизнь...»

В сборнике «Рассказы и повести» представлены шесть авторов. Со многими из них читатель встретится впервые...

Алла Коркина, выпускница Литературного института имени Горького, знакома нам по поэтическим сборникам «Первые, первые...» (1968) и «Времена года» (1970). В сборнике «Рассказы и повести» она выступает как прозаик; ее первая повесть «Вечный праздник» — это гимн молодости и счастью, ее первой любви — балету. Повесть начинается с волшебного сна героини и заканчивается случайной встречей с подругой раннего детства — Наташей — в столичной сутолоке зимним вечером. Перед нами проходят несколько лет учебы в балетной школе в Кишиневе, театр, первые радости, первые успехи и неудачи. Порог жизни, который давно пройден, но останется в душе навсегда. «Искусство должно быть откровенно, иначе оно отвратительно, как ложь, неинтересно, как жизнь обывателя, бессмысленно, как пустая раковина»,— говорит героиня А. Коркиной Алька...

Рассказ Ларисы Дмитриевой «Встречи начинаются в конце перрона» исповедален. С разными людьми пришлось встретиться Лельке на маленькой кондитерской фабрике. Но постепенно она привыкает к работе, ее восторженно-детские письма другу становятся более взрослыми: «Думала я раньше, что одно и то же каждый день на работе надоедает. А она, как вода в реке, разная...»

Разная работа, разные люди... И словно подтверждение словам Лельки судьбы авторов сборника «Рассказы и повести». У каждого из них своя дорога, своя профессия: хирург Жан Глазин, инженер-конструктор Анатолий Клименко, машинист - трубоукладчик Сергей Алый, режиссер Алла Коркина, журналист Лариса Дмитриева... Но всех их объединяет одно горячее желание творчества.

Авторы сборника молоды. Многие из них — писатели непрофессиональные, но они стремятся рассказать о своей профессии, поделиться своими радостями и печалями. Хочется пожелать молодым прозаикам Кишинева успехов в выбранной ими работе и в их творчестве.

Наталья
СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КНИГИ О КИНО

Современному зрителю мало просто посмотреть фильм. Ему хочется знать его создателей, понять работу режиссера, сценариста, оператора, актера. Его интересует фильм как произведение искусства.

Книги о кино, выпускаемые в последние годы весьма большими тиражами, рассчитаны на различные группы зрителей-читателей. Одни только начинают постигать азбуку кино, другие уже вполне квалифицированные зрители (ибо быть грамотным зрителем, владеющим искусством сопереживания,— это тоже искусство). Из вышедшего за последние годы хочется отметить работу Г. Козинцева «Глубокий экран», книги Эсфири Шуб «Жизнь моя — кинематограф», М. Туровской «Герои «безгеройного» времени», Ф. Дробашенко «Феномен достоверности», С. Фрейлиха «Чувство экрана». Особое место занимает работа И. Вайсфельда «Так начиналось искусство кино», предназначенная самой широкой аудитории. Книга эта задумана как рассказ о художественных открытиях. О том, как возникает, складывается открытие в искусстве, как оно вызывает другие открытия, пишет автор.

Это научно-популярная книга, интересная и тому, кто впервые читает о кино, и зрителю, знакомому с теоретическими и мемуарными работами по истории вопроса, знающему фильмы, послужившие вехами в развитии кинематографа.

И. Вайсфельд рассказывает о первом появлении Великого Немого,

воспринимавшегося как чудо, об эффекте Кулешова, впервые примененного своеобразный монтаж «по смыслу», о специфике художественной структуры фильмов Эйзенштейна и громаднейшем влиянии его картин на сознание людей. Увлекательно, подробно говорит автор о стилистике фильмов, о новых требованиях к сценарию, которые выдвигал Довженко, считая, что дóлжно писать сценарий как законченное литературное произведение.

Небольшая по объему, хорошо оформленная и иллюстрированная книга И. Вайсфельда вызовет живейший интерес у тех, кто любит кино.

Т. ЛЕВАНЬШИНА

ЛОРС ЗАНЯТ ДЕЛОМ...

Задержитесь у обложки этой книги, познакомьтесь с человеком, изображенным на ней. Это Лорс, девятнадцатилетний парень-ингуш, герой повести Ахмета Мальсагова «Лорс рисует афишу» («Детская литература», 1972).

Еще один юный герой, выходящий в жизнь, занятый поисками своего места в жизни, еще один юный деятель и философ...

Лорс не рвется, как некоторые его сверстники, из родной деревни. Он, наоборот, уезжает из города в село, волей судьбы становится инструктором районного Дома культуры. И в один прекрасный день воскрешает праздник, который, казалось, навсегда покинул этот дом. И делает это словно шутя и играя.

Может быть, все не всерьез в этих клубных приключениях? Ведь и подзаголовок у книги — «юмористическая» — и фигуры в ней как будто развлекают читателя колоритным обликом и прибаутками. Книга полна острот, игровых ситуаций, иронии. Но становится совсем не до смеха, когда директор дома Эдип развивает Лорсу свою теорию: эти шахматы растащат, трюмо разобьют, а танцевальное скольжение на грязном полу было бы куда лучше, чем на чистом. Но результаты переворота в Доме культуры сказались иначе: директором его назначен Лорс. И он начинает бурную деятельность, добиваясь того, чтобы клуб стал местом, где люди могли чувствовать, что они вместе. Книга насыщена серьезными проблемами нашего времени. И, отмечая изящество юмористических деталей повести, читатель подумает о важности тех вещей, которые имеет в виду автор, описывая «несерьезные» действия нового директора и его помощников.

Но сквозь большую симпатию к энтузиасту Лорсу, к его рыцарям проступает и некоторая неудовлетворенность книгой, в основном ее стилем. Мешает конспективность повествования, очерковая манера в создании образов. При всей живости изложения некоторые характеры воспринимаются как одноплановые. Хочется пожелать автору не оставлять Лорса, а вернуться к этому славному парню, разрабатывая и продолжая тему.

Но при всем этом в повести ощущается свой, свежий, молодой голос и твердая, радостная вера в нового человека, нашего современника, где бы ни жил он — в оживленном городе или горном селе.

Т. ЕФРЕМОВА

КНИГА О ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА

«Автора настоящих очерков, созданных в разные годы, в первую очередь интересовали те грани этого мира, которые сложились из соотношения коренных вопросов гуманизма, унаследованных Леоновым от русской классической литературы, с движением нашей национальной судьбы на разных отрезках современной истории» — так определяет направление своих поисков Е. Старикова в сложном и многоразветвленном мире Леонида Леонова, вокруг которого уже образовалась обширнейшая сфера исследований. Перед нами книга Е. Стариковой «Леонид Леонов. Очерки творчества» («Художественная литература», 1972), прочитанная, как говорят, в один присест, с неослабевающим интересом.

Нам кажется, Е. Старикова в максимально возможной степени сумела избежать упрощения творческих замыслов писателя. Войдя в реку леоновского мира, она как бы двигалась вместе со всеми ее изгибами, ответвлениями, не торопясь с выводами и построениями, а стараясь высветить, обнажить конфликты, события, героев, стараясь отыскивать вопросы, сама постановка которых часто равнозначна ответу на них. Вот почему мы оказываемся вовлеченными в размышления, сомнения и поиски автора, становимся как бы соучастниками поисков истины.

Как понятен нам молодой Леонов, входящий в мир с безмерностью требований к человеческой личности, унаследованных им от великих учителей, русских классиков, с безмерностью неприятия всего мещанского, застойного.

Из крайности неуравновешенной, дикорастущей стихии «Барсуков» в холодно-стальную атмосферу «Сoтн»: проба двух крайне противоположных положений, необходимая, как возможность постижения жизни. Нет, это не просто метания из крайности в крайность: это система взглядов на жизнь, с болью, с трудностями проносимая сквозь живую плоть мира, и потому это — высокое искусство.

Е. Старикова написала глубокую книгу о Леонове, располагающую к размышлениям, срастающуюся с нашими собственными нравственными поисками.

Еф. БАУХ

РУССКИЙ РИЛЬКЕ

Райнер Мария Рильке знаком русскому читателю почти так же давно, как немецкому. Еще в 1897 году, когда Рильке было всего 22 года, на русском языке был опубликован один из его рассказов. Вскоре появились и другие переводы — отрывок из монографии о Родене, отдельные стихотворения. Почти сразу после единственного немецкого издания романа Рильке «Записки Мальте-Лауридса Бригге» последовало (в 1913 году) русское.

После революции Рильке тоже переводили — в основном стихи. Переводили поэты самых разных дарований — от Бориса Пастернака до ныне никому не ведомых стихотворцев,— а серьезного, научного издания ни стихов Рильке, ни прозы не было, не говоря уже о его искусствоведческих работах. Выпущенная издательством «Искусство» книга (Райнер Мария Рильке «Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи») охватила почти все жанры творчества Рильке. Но стихи, к сожалению, составляют менее чем десятую долю объема книги.

В монографиях и письмах Рильке предстает как оригинальный и порою весьма тонкий ценитель искусства (в частности русского). Наибольший интерес из материалов этого раздела представляет монография о Родене (с которым Рильке был в дружеских отношениях) и «Письма о Сезанне». Точен и небанален Рильке в анализе, например, натюрмортов Сезанна: «И как бедны все его предметы: его яблони можно есть только печеными, его винные бутылки так и просятся сами в разношенные, округлившиеся карманы простых курток». Следует отметить образцовую работу переводчиков — В. Микушевича («Огюст Роден») и Г. Ратгауза («Письма о Сезанне»).

К тематике искусства обращены стихи Рильке из книги «Новые стихотворения», переведенные К. Богатыревым. Остальная, бóльшая часть стихов переведена В. Микушевичем.

Книга издательства «Искусство» полна интересных материалов, пусть и неоднородных по своему качеству. Надо надеяться, что издательство не заставит читателя долго ждать и избранные стихи Рильке так же заслуженно и прочно войдут в русскую поэзию, как уже вошли стихи многих европейских поэтов двадцатого века.

Е. ВИТКОВСКИЙ

В этом номере в «Круге чтения» выступают молодые критики.



Д. ДАНИН

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕССМЕРТИЯ

Книга Бориса Кузнецова «Эйнштейн»[1] открывается эпиграфом из Шекспира: «Он человек был в полном смысле слова». Вспомним: так Гамлет говорил о своем отце — всего лишь добродетельном короле. Но не королевские добродетели чтил столь высоко принц датский. Среди признаков истинно человеческой полноценности отца он поставил на первое место «лоб, как у Зевса»,— мощный разум. С этого начинается, по Шекспиру, человек в полном смысле слова. Да и вправду: только разум превратил человека в орган самопознания природы... Кажется, никому не удавалось в нашем веке выполнить эту земную и космическую функцию совершеннее, чем Эйнштейну. И потому нельзя было бы найти лучшего зачина для книги о нем, чем гамлетовские слова.

Можно утверждать, не боясь ошибиться, что не только в нашем веке, но и никогда никто из ученых-естественников не знавал при жизни такой всесветной славы, как создатель теории относительности. В 20-х годах почта доставляла ему корреспонденцию с кратчайшим адресом: «Европа — Эйнштейну». С течением лет фигура его становилась все легендарней, и в старости он получил однажды письмо от колумбийской школьницы с признанием, на которое не решились бы взрослые: «Я Вам пишу, чтобы узнать, существуете ли Вы в действительности».

Он существовал в действительности. И никакая легенда не могла поставить его выше, чем он стоял. И молва могла только исказить смысл его свершений, но не преувеличить их масштаб. И, однако ж, в его известности, такой заслуженной и справедливой, заключалось нечто глубоко драматическое. Его имя было на устах у всех, а его теоретические построения оставались доступными лишь коллегам-специалистам. Его идеи обсуждались и перетолковывались на всех перекрестках, а его надежды разделяли единицы. Полвека, начиная с появления в 1905 году его первых великих работ и до самой его смерти в апреле 1955 года, он прожил на виду у человечества. И можно бы добавить: аплодирующего человечества. Но нельзя добавить: понимающего человечества. И поэтому детское любопытство девочки из Британской Колумбии содержало недетскую правду. Даже современникам следовало открывать для себя Эйнштейна. Это нужно делать и тем, кто живет сейчас, когда его уже нет среди живущих.

Открытию Эйнштейна служат сочинения о нем. Лучшие из них на русском языке принадлежат перу историка науки профессора Б. Г. Кузнецова. Лучшие — это значит самые пристальные. А пристальность в биографических трудах бывает разной природы: чаще всего это исследовательские поиски все новых архивных подробностей жизни великого человека, реже — философско-психологические поиски все новых черт в его духовном бытии. Пристальность Б. Г. Кузнецова относится к этому второму — редкому — разряду. Менее всего он историк-исследователь и более всего историк-философ. И еще историк-психолог и историк-публицист.

Леопольд Инфельд вспоминал слова Эйнштейна об истории физики: «Это драма, драма идей...» Жизнь самого Эйнштейна была одним из актов этой великой драмы. Так ее, эту жизнь, и рассказывает Б. Г. Кузнецов. Так он ее понимает и чувствует. Мысленным взором он все время видит Эйнштейна на незримых подмостках истории познания, где разыгрывается эта мировая драма. И поэтому в его повествовании непринужденно соседствуют разделенные веками эпохи, разделенные океанами страны, разделенные несогласием имена. Рядом с XX столетием — Возрождение, рядом с современной Америкой — Древняя Эллада, рядом с Гегелем — Кьеркегор... Наконец, рядом с Эйнштейном — Моцарт и Достоевский...

В этом включении творческой жизни физика-мыслителя в поток мировой культуры нет ничего насильственного. Борис Кузнецов словно бы следует подсказке самого Эйнштейна. «Там, вовне, был этот большой мир, существующий независимо от нас, людей, и стоящий перед нами как огромная загадка, доступная, однако, по крайней мере отчасти, нашему восприятию и нашему разуму,— писал Эйнштейн в своих автобиографических заметках.— Изучение этого мира манило как освобождение, и я скоро убедился, что многие из тех, кого я научился ценить и уважать, нашли свою внутреннюю свободу и уверенность, отдавшись целиком этому занятию... Те, кто так думал, будь то мои современники или люди прошлого, вместе с выработанными ими взглядами были моими единственными и неизменными друзьями». Вот потому-то книга об Эйнштейне, написанная пристальным историком-философом, естественно, стала пристанищем и для неизменных — и даже единственных! — эйнштейновских друзей, прописанных в разных веках и в разных сферах единой человечьей культуры.

Эта книга совсем не похожа на традиционные биографии. Довольно заметить, что Эйнштейн умирает на ее 300-й странице, а всего их в книге 600. Между прочим, уже по одному этому ошибся бы тот, кто решил, что новая книга Бориса Кузнецова — просто переиздание его старого «Эйнштейна», впервые вышедшего в свет ровно десять лет назад. Сейчас у книги есть подзаголовок «Жизнь, смерть, бессмертие». И в этом подзаголовке отражена ее новизна.

[1] Издательство «Наука», 1972.



ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВ

БЕРЕЗОВЫЕ ПЕРЕЗВОНЫ

РАССКАЗ

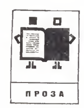


Рисунок Анатолия ГОЛОВЧЕНКО.

В эту весну на Родивона-ледолома, когда, по народным поверьям, происходит встреча солнца с месяцем, выдался тихий, ветреный день.

— К ядреным хлебам,— вспоминали старики забытую примету.

Зоря знала от конюха дедушки Антона, что в день Родивона-ледолома — первый выезд в поле, проба земли.

Выехал пахать в этот день и Ваня Рогов. Гудит, гудит его трактор за рощей. Роща росла сразу за околицей.

Зоря рано утром прибегала обычно в рощу, чтоб полюбоваться зеленым дымом среди белых стволов. Дыма, конечно, не было — это так казалось ей.

У Зори были васильковые глаза с темно-зелеными крапинками, и эти крапинки в глазах похожи на россыпь камешков на чистом дне Днепра. Когда Зоря смеялась, эти камешки как бы вспыхивали разноцветьем.

И вся она, Зорька, веселая, гомонливая, походила на бутон диковинного цветка, еще только готовившегося показать свою красоту. Еще неизвестна его красота, скрыта в бутоне, но почему-то кажется: он красив и неповторим.

В эту весну Зоря как-то сразу повзрослела. Стала стройной и радовалась, что юбки — ранее просторные — теперь были узки в бедрах; а белая кофточка, подаренная школьными подругами в день рождения, теперь уже и вовсе не годна.

Отец и мать мало внимания обращали на семнадцатилетнюю Зорьку. больше заботились о старшей дочери Екатерине.

Екатерина не походила на шумную и белокосую младшую сестру. Высокая, черноволосая, глаза спокойно-задумчивые. Ее в Малой Вишеньке считали гордячкой. И не напрасно. Катя любила, чтоб ей подчинялись все: отец, мать и сестра.

Катерину с каждого гулянья провожает Ваня Рогов, тот самый спокойный и застенчивый тракторист, что сегодня первым выехал в поле.

Ваня с Катей обычно стоят в саду под голубой тенью от шалаша. Иногда Зорька посматривала на них из окна. Высоко в небе луна бодала холодные тучи, крякал мороз в яблонях, да так, что иней сыпался и вставал полосами, а Катя с Ваней стояли и стояли.

Катя прибегала домой за полночь, стуча замерзшими ногами. Снимала через голову платье, как бы нечаянно заглядывала в зеркало, но Зорька-то знала, что сестра любуется молочной белизной своего красивого тела.

В предлетье, когда на берегах Днепра крупные малиновые цветы сочевника-весеннего уже отходили и делались синими, когда стала набирать силу ярица за рощей, Зоря взяла документы и поехала в Смоленск поступать в пединститут. Узнав, что документы приняты, отец сурово посмотрел на красавицу Катю, с трудом окончившую начальную Маловишеньскую школу, и сказал:

— ...Хоть одна из нашего рода ученой станет!

На второй день после возвращения домой Зоря пришла к председателю колхоза Софье Ивановне Ереминой и с порога крикнула:

— Софья Ивановна! Хочу до приемных экзаменов дояркой быть!.. Я очень умею доить.

С удивлением все, кто был в правлении, оглянулись на бывшую школьницу, а она, не давая опомниться, положила на стол заявление:

— Я так и знала, Софья Ивановна... что вы не откажете.

— Сильна птаха-а! — сказал усатый бухгалтер Семен Семенович.

Софья Ивановна сурово сдвинула тонкие брови, поправила пышные, белые волосы и крупными, аккуратными буквами, похожими на славянскую вязь, написала в углу заявления: «Разрешаю».

— Дура! — сказала дома Катя.— Меня пять раз на заседание правления вызывали, в доярки хотели втянуть. Легко ль дояркой в колхозе быть! Иная коро-

венка по два ведра молока зараз дает! За три дойки — семьдесят ведер от группы... Годны ль твои рученьки?.. Анфиса Сидорова не тебе чета, а руки уже больные..,

— Потому и пойду,— упрямо ответила Зоря.

— Так у Анфисы пять детей, муж умер, их кормить, одевать надо! А тебе-то зачем?

— Ты, Катя, запоздала родиться! — тихо сказала Зоря.

Отец отмалчивался, сосредоточенно о чем-то думал.

— Через неделю сбежишь! — завершила разговор сестра.

— Нет! — почти выкрикнула Зоря. И уже тише: — Не сбегу.

Отец молча встал, подошел к ней, погладил по голове и твердо сказал, как будто сам себе:

— В меня пошла...

Вечерами Зоря готовилась к экзаменам, а когда никого не было дома, училась плясать сербияночку. Теперь уж не услышишь родного напева сербияночки и цыганочки — ушли их времена. Барыню еще плясали с горем пополам, а те танцы забывались.

Как-то в разгар сенокоса пришла в клуб и Зоря. Когда заиграли «дамский вальс», девчата стали нарасхват приглашать ребят. Не поторопишься — не достанется. Катерина не торопилась, знала, что никто не посмеет пригласить ее Ваню. Вот она оправила модное платье, выпрямилась, собираясь важно пересечь круг, и в это время сестра, сидевшая почти рядом с Ваней, торопливо поднялась, взяла его за руки:

— Разрешите, Иван Степанович...

Все опомнились только тогда, когда они закружились. Танцевал он без прижиманий, без вывертов, просто и свободно. Екатерина побледнела и больше не танцевала ни с кем.

Зато Зоря танцевала, пела, смеялась и под конец вылетела в круг и крикнула конопатому и рыжечубому гармонисту Ване Чугунову:

— Ваня! Давай ее, всеми забытую... Сербияночку!

Сыпанул с ходу гармонист нежнейшей дробью на нижних ладах, и заплакала гармонь, будто жалуясь собравшимся на то, что зря забыли-разлюбили такой благородный, славившийся издревле на Руси танец...

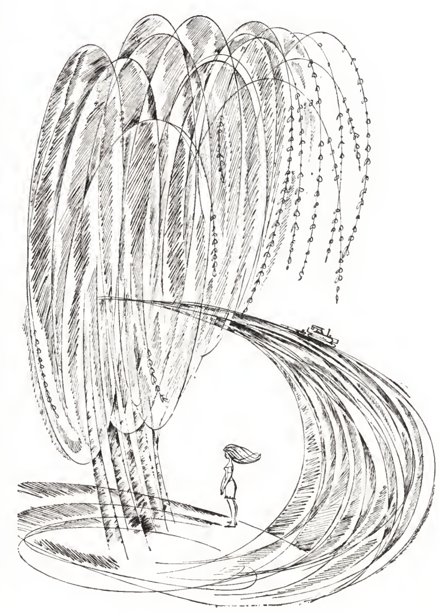
Зоря плавно поплыла в пляске, неторопливо, в такт отбивая каблуками, сплела руки над головой. Нате, мол, полюбуйтесь. И в старинном танце этом все будто впервые увидели ее гибкую и стройную фигурку, пышные белые косы, а в глазах — сине-зеленые огоньки...

И все удивились: когда же эта Зорька превратилась из девчушки в девушку? Как же они просмотрели этот день? А Зоря остановилась посреди круга, устремила куда-то вдаль затуманенный взгляд и протяжно, выделяя каждое слово, запела.

Все притихли, даже, может быть, погрустнели, вспомнив старинный танец.

Люди заулыбались, глаза у них потеплели, Зоря не заставила долго ждать, спела еще две частушки.

А некоторые подумали, что Зорька, как раньше, вот сейчас, прямо с круга, выскочит с деревенскими ребятишками и, крикнув что-нибудь лихое, бросит в пыль чью-то кепку. Ничего такого не случилось.



Утром сестра сказала Зоре:

— Послушай, ты ведешь себя как идиотка! Прыгаешь, вертишься..

Вспыхнул и потух огонек в Зорькиных глазах. Спокойно и рассудительно сказала сестре:

— Ты старшая сестра, и я тебя уважаю. Но я не люблю, Катя, таких, как ты, важных и холодных: «Батя, подай!», «Мама, принеси!», «Зоря, сходи!» Выйдешь замуж за Ваню Рогова: «Ваня, подай!», «Ваня, сходи!» Я люблю таких, что готовы хоть в реку с обрыва за любого человека, за его жизнь... Как березняк звенит, люблю. Ты слышала когда-нибудь перезвоны березняка на морозной зорьке? А я, может, через этот звон из Малой Вишеньки уехать не могу... Он в нашей березовой роще по-особому звенит... Только в ней такой удивительный звон.

Еще в голубой сутемени вскакивала Зоря с постели и, гремя подойником, бежала к ферме. Надо было до прихода доярок провести уборку коров тети Анфисы — ведь у нее пять малолетних детишек.

Зорька до ее прихода успевала убрать, вычистить стойла, кормушки, задать корм. К приходу доярок они с тетей Анфисой, обе довольные, начинали дойку.

За Зорей закрепили высокоудойную группу Пелагеи Сидоровой, ушедшей нынче на пенсию. Девять коров давали по два ведра молока каждая за одну дойку. Нелегко это давалось: ночью ныли руки, порой казалось — все кости в них переломаны. Зорька вскакивала с постели, выбегала на крыльцо и, ежась от ночной прохлады, размахивала руками, как плетьми.

Мехдойка не работала: не было шлангов. Да и не подходила она для высокоудойных коров сычевской породы: не до конца выдаивала...

В клуб Зоря не ходила, и колхозных девчат сейчас туда что-то не тянуло. Там иногда раздавалась душераздирающая музыка. Несколько пар извивались в чудных, незнакомых танцах: девицы с глазами, подмалеванными синькой и узкими, как у японок, ребята с бородками и баками. Это веселились отпускники — бывшие жители Малой Вишеньки, приехавшие на каникулы.

Как-то заскочила Зоря в клуб по пути с вечерней дойки и как была в беленьком халатике, пропахшем разнотравьем и молоком, замерла у входа.

С придыханиями пела радиола. К Зоре подошел заводила этих танцев — дюжий парень с гривой на голове, весь в бляхах, как на проездной сбруе колхозного жеребца Изверга.

— Разрешите, Вирсавия... О мадонна! — процедил он, явно кого-то изображая.

Зоря внимательно рассмотрела его куртку, покрытую бляхами, опять вспомнила проездную сбрую на жеребце Изверге и усмехнулась.

— О! Молись, блаженная! — воскликнул парень, все еще продолжая играть кого-то.

— У нас в старообрядческой церкви на попа вакансия есть,— вдруг сказала Зорька.— Может, дадите заявку... Волос вполне подходящ...

— Что? — опешил парень.

— Ну, а на попа не выйдет, будете просвирки печь...

Доярки везли с заречного поля высоченные возы клевера. Зоря сидела на переднем возу и пела на все поле, ей подпевали с соседних возов.

Обвисла листва от предгрозовой жары. Па́рило. Подводы поравнялись с парнем в выгоревшей и черной от мазута безрукавке. «Иван с работы идет»,— догадалась Зоря, чувствуя, как вдруг заколотилось сердце под кофтенкой и опалило щеки, догадалась и запела еще звонче.

Он поравнялся с возом, взглянул на Зорьку. Она слегка улыбнулась, смотря ему в глаза, и, нисколько не смущаясь, пела и пела.

Иван, опершись ногой на оглоблю, вскочил на воз, сел рядом.

— На свидания ходишь? — улыбнулся Иван.

— А ты назначь,— тихо ответила Зоря.

Он совсем рядом увидел ее глаза с россыпью зеленых крапинок, туго натянутую на груди ситцевую, в белый горошек кофтенку и совсем детские губы.

Так они и ехали молча до деревни, а женщины на задних возах притихли в ожидании.

Шло к закату лето.

Вокруг Малой Вишеньки под тяжестью ягод гнулись кисти дикого малинника, и его душный запах надолго поселился в деревне. Только не до малины было людям, изнывающим на работе. Не кончился сенокос, как с беззвучной спелицей пришла жатза.

Зоря уехала сдавать вступительные экзамены, а через три дня прислала отцу телеграмму: «Первый — «отлично».

Отец Сидор Ильич на радостях и тайком от всех поставил на печь бидон с брагой. Украдкой забирался на печь, прикладывался ухом к нагретому боку бидона и шептал:

— Ходит, неладная... Землю роет! К добру...

Беда пришла негаданно. Обильная доза дрожжей сделала свое дело. В обед на печи ахнул взрыв, и вместе с пылью, дико крикнув, свалился смертельно перепуганный воро́ной кот, и, не выясняя обстановки, как камень брошенный, вылетел в окно — только стекла посыпались.

— Эх, рванула, стерва! — выругался Сидор Ильич, стаскивая с печи развороченный бидон.— Как фугас! Ладно, старухи не было на печи... Вот был бы эффект! Заикалась бы до гроба...— И тут же горестно заметил: — К беде это! Провалит Зорька! Как пить дать провалит!

Весь день Сидор Ильич ходил хмурый, с каким-то предчувствием. Не зная, на ком сорвать зло, он мрачнее тучи сел обедать.

Придраться к жене не было повода. Острая на язык, она, чутьем угадывая неладное, была в этот день непривычно вежлива и снисходительна.

Совсем неожиданно Сидор Ильич опрокинул на колени чашку огненного борща и, взревев, пошел на всех зверем:

— Наварили крысиду какого-то! Вонища, как от нефтебазы!

— Надо было рукавицы надеть — все безопасней... и очки комбайнские,— попробовала пошутить Катя...

— Что рукавицы! Я еще без рукавиц могу! А ты...— с новой силой вскипел отец,— и с рукавицами не сможешь ничего...

— Стоит ли так кричать из-за борща? — пыталась уговорить мать.

Сидор Ильич распалился еще больше:

— Из-за борща на «Потемкине» восстание началось!

...Зоря приехала радостная, возбужденная.

— Отец! Сдала. И... на заочное перевелась.

Что было потом! Отец кричал, топал ногами. Наконец успокоился и сказал с тихой досадой:

— Да, видимо, правду говорят, что курица не птица, а баба не человек.

Катерина надменно улыбнулась и вставила:

— Батя, это старо. Теперь иначе говорят: «Курица не птица, зато баба — орлица».

Не слушал ее Сидор Ильич, продолжал:

— Раньше у баб ум был короток, так хоть волос длинен... А сейчас ум короток, волос короток и... платье тоже. Нет, вы мне скажите: чем отличается воробей от соловья? — и сам себе ответил: — Воробей — тот же соловей, только закончил филармонию... заочно.

Зорька тихо плакала всю ночь, а отец просидел на крыльце, погруженный в свои думы.

Утром он, хмурый и сосредоточенный, ходил без дела по избе. Зоря понимала: из-за нее не спал — и очень жалела отца.

Председательша Софья Ивановна сидела в правлении за столом в старой фуфайке. Грустная и притихшая.

— Ну что? За расчетом пожаловала? Все уезжаете, все в город... А хлеб вам подай, мясо подай... — и с тоской выкрикнула: — Где заявленне-то, давай...

— Осталась я, Софья Ивановна! — тихо сказала Зоря.— На заочное перевелась...

— Ну-у? — Софья Ивановна выскочила из-за стола... и, забыв, что она председатель да и Зорька не школьница, схватила ее за руки и закружила по комнате.

Наступила осень.

Сентябрь еще дарил прощальные зори, но были они уж не такие веселые. Безмолвно сгорали за Днепром спелицы, будто напоминая об уходе лета. Грустно пахло нивяниками-поповниками и лиственной прелью. Белела у дорог ясколка — предвестница осени. Алые гроздья рябин гнули долу ветки.

Комбайнер Тихон убирал последнее поле, и Зоря, приехавшая за сеном, увидела, что девчата, отвозившие зерно, как полагалось делать после последнего снопа по старому обычаю, стали кувыркаться через голову по жнивью, сверкая загорелыми икрами и крича на все поле:

Жнивка, жнивка, отдай мою силку:
на пест, на колотило, на молотило,
иа кривое вере-те-но-о!

Зоря не выдержала и стала кувыркаться вместе с ними.

Только трудно было Зоре. Отец и мать не разговаривали с ней, никак не могли ей простить, что осталась в колхозе. Да еще дояркой. Но они молчали, а Катя открыто насмехалась.

А Зорька вскакивала в сумерках, когда все еще спали, и, позванивая подойником, бежала на ферму, где с песней, с шутками работала жадно, как одержимая.

Софья Ивановна на днях заглянула на ферму, долго и молча любовалась работой Зорьки, а уходя, заявила громко, так что услышали все:

— Мал золотник, да дорог!

Правда, руки еще ломило ночами, но уже не так — привыкли, только усталость к вечеру чувствовалась во всем теле жуткая.

Второго октября в честь Зори Ильиной у здания райкома партии высоко взвился красный флаг, она в районе стала победителем соревнования по надою за сентябрь.

В этот день, забежав в кабинет председательши поговорить о красном уголке на ферме, она, дожидаясь в сенях своей очереди, услышала в приоткрытую дверь такой разговор:

— Не спорю: награды заслуживает,— говорил парторг,— но у нее нет показателей за пятилетку. А райком требует...

— Пусть требует,— прервала его Софья Ивановна.— Зоря Ильина покажет себя и в пятилетке. Горит на работе девка... В райкоме не чинуши — поймут.

— Может, и поймут,— согласился парторг.— Только ведь условия такие...

Зоря выскочила на улицу, подставила разгоряченное лицо ветру, с радостью ощущая тепло кофточки, нагретой осенним солнцем, чувствуя, как приятно оттягивает назад голову тяжелый узел волос, как легко пружинят ноги и словно бы звенит каждый мускул тела.

А над Малой Вишенькой в недосягаемой бездне умиротворенного неба с безысходно-тоскливым плачем, будто не желая расставаться с этими привольными местами, плыл журавлиный косяк.

«Мама говорила, что сегодня Аринин день,— вспомнила вдруг Зоря,— если на Арину журавы летят, то на покров морозы нагрянут.— И уже практически задумалась: — Это надо учесть».

...В этот день она встала морозным утром.

Перламутром отливала галька на том берегу Днепра, а по реке шел последний в этом году пароходик. На палубе играла музыка, и две какие-то пары шли в непонятном для Зори танце... За рекой по пустынному полю вдаль убегали электрические столбы.

Занятая своими мыслями, Зоря почти столкнулась с Иваном Роговым.

— Ты слышал когда-нибудь, как звенят березы? — спросила она.

— Нет,— улыбнулся он.— Как шумят — слышал. Звона не слыхивал... Не довелось.

— Пойдем! — сказала она.

В роще было как-то светло, уютно. Белокорые березы замерли в тихой дреме на почтительном расстоянии друг от друга и были сказочны в своей нетленной красоте на фоне морозной малиновой зари. В их голых ветвях замерзли капли воды и теперь при первых лучах солнца вспыхивали диковинными бусами: нежно-бирюзовыми, фиолетовыми, огненно-оранжевыми, рубиновыми и даже черными.

Эти бусы берез вспыхивали, искрились, множились.

Тонкий, нежный звон шел с востока, оттуда, где разгоралась морозная заря. Он шел, нарастал, дробился на множество серебряных отголосков и со вздохом замирал.

— Что это? — шепотом спросил Иван.

— Это березовые перезвоны,— тоже шепотом ответила Зоря.

А неземной перезвон вновь рождался где-то на востоке, и не спеша докатывался до них, и со вздохом снова умирал.

Ване Рогову казалось: попал он в заколдованное царство, вот миг и... исчезнет его Зоря, как в сказке Снегурочка, вслед за волшебным этим, неведомо откуда доносящимся звоном.

— Это ветерок колышет застывшие капли на березах,— шепотом, будто боясь спугнуть эти диковинные перезвоны, рассказывала Зоря.— Эти звоны не всегда услышишь. Только на морозной зорьке, когда ветерок легкий-легкий и только с востока...

— А почему?

— С других сторон рощу ельник стережет и не пропускает ветер, а с востока — Днепр. Я уже пять лет слушаю... Научилась...

Ваня Рогов глянул ей в глаза и впервые удивился, какие ж они необыкновенные.

Деревня Ключики,
Смоленской обл.



ЕЛЕНА ВОРОНЦОВА

НЕЙЛОНОВАЯ ТУНИКА

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Рисунки Татьяны ИВАНШИНОЙ.

I. Таинственная сила



У каждого человека особый путь, и этот свой путь Марина хорошо чувствовала, хоть часто и не могла его объяснить. Жизнь у нее складывалась счастливо. От нее многого ждали, она находилась в центре внимания родных и знакомых. Правда, когда пришло время выбирать институт, родители, по профессии теплофизики, решили, что их чадо тоже должно стать теплофизиком. Но разве она, девочка из литературного клуба «Дерзание», могла на это согласиться? Да, в школе Марину увлекала и физика, но то была ядерная, а родители занимались самыми обыкновенными котлами.

Еще в пятнадцать лет Марина захотела объять необъятное, объяснить необъяснимое и стала жить замыслом большой литературоведческой работы. Она днями просиживала в библиотеке и к концу десятого класса решила поступать на филологический факультет Ленинградского пединститута. Родные и знакомые удивлялись ее выбору: кем-кем, а учителем Марина быть не собиралась. Но ведь именно здесь, в Герценовском пединституте, она могла непосредственно общаться с Владимиром Николаевичем Альфонсовым — как он читал советскую литературу! — и с Владимиром Александровичем Западовым, человеком огромной эрудиции, специалистом по теории стиха.

«Есть сила, которая меня ведет и которой я полностью покоряюсь. То, что предлагали вы, увело бы меня в сторону»,— объясняла она близким. А на педагогику можно было вообще не ходить. При своих способностях Марина сдавала этот предмет так: немножко о системе Макаренко, потом о Сухомлинском, как он идет от доброты, от того, что ребенку хочется, а не от того, что он должен; затем про любовь к детям Януша Корчака («В «Новом мире» прочитала, а не в ваших учебниках»), и все в восторге.

Может, и правда существовала эта сила, которая вела Марину по особому пути? Однажды на третьем курсе она случайно наткнулась на никому не известного (в учебниках о нем два-три слова), но удивительного, прекрасного Поэта восемнадцатого века. Опять сутками сидела в библиотеке, разыскивала документы, письма, стихи, а в результате получилась огромная статья — о литературе дворянской фронды, об их журналах, о них самих.

— Ужасно интересные, неоднозначные были люди! А мы о них ни черта не знаем,— объясняла Марина родным и знакомым свое новое увлечение...

Они были очень молоды. Самому старшему из кружка Хераскова — двадцать семь лет. Новой русской литературе на несколько лет больше. Все только начиналось. Поиски своего места в обществе. Желание построить человеческую жизнь на основе разума. И преследования (доносы!) за это желание. Стихи в форме ромбов (да, ее Поэт писал и такие) и чудесная лирика.

Нет мер тому, как я... как я ее люблю,
Нет мер... нет мер и в том, какую грусть терплю.
Мила мне... Я люблю... но льзя ль то изъяснить?
Не знаю, как сказать, могу лишь вобразить [1].

Правда, летом был еще пионерский лагерь. Будущие учителя обязаны работать вожатыми. И коли уж пришлось и ей, Марина предложила ребятам организовать государство Швамбранию. Они выбрали президента, герольда, менестрелей и, несмотря на то,

[1] А. А. Ржевский, русский поэт XVIII века (круг Хераскова).

что Швамбрания была республикой, сделали Марину своей «королевой».

Статью Марины о ее Поэте между тем обещали взять в сборник, который готовился тогда в Пушкинском доме. «Русская лирика 60-х годов XVIII века» стала темой ее дипломного сочинения. С докладом о своих поисках она выступала на научной студенческой конференции. Публика недоумевала: зачем докладчику какой-то мелкий поэт восемнадцатого века? Ее даже обвиняли в... женственности: она, мол, влюблена в своего Поэта, а ученый не должен влюбляться, он должен быть трезвым, объективным. «Ерунда! Можно, нужно влюбляться и ненавидеть тоже»,— так сформулировала она свое кредо.

Впрочем, покончив с дипломом, Марина поставила крест и на науке вообще и на литературоведении в частности. Она не ученый и быть им не может. Оканчивая институт, Марина решила заняться телевидением — тележурналистикой или теледраматургией. «Мне мало — только писать. Я должна участвовать в том, о чем пишу»,— объясняла она свое («теперь уж последнее») увлечение.

Только как быть с распределением? Марина жила в сплошных неизвестностях. Западов советовал идти в аспирантуру, но это опять наука. Были мысли о свободном дипломе; свободный — значит иди, куда хочешь. Но дадут ли, а если и дадут, то что с ним делать? В конце концов Марину Смусину все-таки направили в школу, и по дороге на телестудию (написала сценарий «Когда остановились карусели» — о том, как исчезают из жизни сказка и волшебство) она туда заглянула.

Здание было новым, но его уже ремонтировали. Перепрыгивая через остатки снятых лесов, чуть не уронив куда-то в известь сумку со сценарием, Марина, наконец, набрела на средних лет женщину в забрызганном халате; та красила в белый цвет дверь туалета. Марина решила, что это завхоз, но ошиблась. Дверь красила завуч Ирина Васильевна Баранова.

— Ну, литераторы вам, конечно, не нужны? — спросила ее Марина. Одетая в очень короткую белую юбку по последней моде, она надеялась, что не понравится завучу и та вдруг ее не возьмет. Ведь есть сила, которая ведет Марину по особому пути. Что-нибудь да случится. Не может же она и в самом деле стать из Мариночки Мариной Львовной. Однако, перестав красить дверь, завуч принялась расспрашивать Марину об институте (Герценовский) и о том, что молодой педагог умеет еще делать, кроме своего предмета.

— Думаю, что это-то я смогу,— показала Марина на дверь.

— Ну вот и хорошо. Будем оформлять документы.— Завуч была невозмутима. И Марине пришлось пройти за ней в канцелярию.

Для жизни дóлжны мы утехи находить:
Но для одних утех не дóлжно в свете жить,—

когда-то, еще в восемнадцатом веке, писал ее Поэт.

2. И птицы опускаются на землю

Марина стала учительницей. «И этим сказано все»,— говорила она теперь родным и знакомым. Пройдет месяц, кончится лето, и ей, от которой они так много ждали, придется учить детей русскому языку и литературе, проходить глаголы, приставки, изучать скучные, надоевшие «образы». От одного этого можно зареветь... Впрочем, реветь-то как раз и не хотелось. Наоборот, интересно: а что же дальше? Марина по-прежнему была уверена, что все в ее жизни не случайно. Одни сразу достигают своих целей, другие — и их большинство — преодолевают массу трудностей. У нее второй путь. Кратчайшее расстояние между двумя точками — прямая, а «судьба, как ракета, летит по параболе». Что-то еще случится. «Мы еще прикурим от солнца»,— говорила она себе, оформляя документы в школу.

Анкеты, справки, заявления... Оказывается, это не так просто — поступать на работу. Сидя в канцелярии, Марина рассматривала набитые бумагами шкафы, чернильницы, дыроколы, папки-скоросшиватели. Приходили и уходили люди. Бесконечно стучала пишущая машинка. Приказы, отчеты, распоряжения. И наконец: «Зачислить Смусину Марину Львовну преподавателем... августа 1970 года». В этот момент ей по-настоящему стало страшно. Марина смотрела на сваленные в угол наглядные пособия, указки, стенды и вдруг с ужасом представила себе — нет, не то, как будет учить детей литературе — учить, даже по программам, Марина не боялась, программы нужны для того, чтобы их, программы, ломать! Но как?..

Вошла завуч. Статная, в черном шерстяном сарафане и тонкой блузке, теперь она уже не была похожа на завхоза. Она поздравила Марину с зачислением и опять, как и при первой их встрече, спросила, чтó молодой педагог умеет. Речь шла не о том, чтобы красить двери. Школе нужны люди высокого культурного уровня, и, если Марина Львовна хочет, почему бы ей, как литератору, не взять на себя создание театра. Театра? Действительно, как это раньше не пришло ей в голову. Конечно, сейчас Марина увлечена телевидением, но почти так же сильно она любит и театр. «Театр,— как говорил Всеволод Мейерхольд,— может сыграть громадную роль в переустройстве всего существующего». Марина уже мечтала о том, как сделает ребят своими единомышленниками. Они будут читать со сцены ее любимых поэтов, они начнут изучать классику и современное искусство, потом она расскажет им, как обострилась в наши дни тяга к точности, документу и какие возможности дает в этом плане не только театр, но и телевидение. И они полюбят телевидение. А это, это будет чудо как хорошо!

Домой Марина еще продолжала приходить с убитым видом (играла на образ, который от нее, «несчастной», ждали), в школе это уже явно отходило на второй план. Каждый день она знакомилась со своими коллегами и с удивлением видела: никто не обращал внимания на ее короткую юбку. С молоденькой учительницей истории, Эллочкой, можно было порассуждать о джазе и об архитектуре — она уже успела поработать экскурсоводом в Петродворце. Директор вообще говорил, что у них должны культивироваться красота и благородство. Он тоже, оказывается, был не только учителем — окончил Герценовский пединститут и художественное училище.

Натянув джинсы и ковбойку, Марина мыла в своем будущем классе окна, а про себя придумывала, как повесит в простенках старинные фонари — так будет современнее. Рассматривала пустые стеллажи и планки для наглядных пособий, вытирала с них пыль и прикидывала, какие можно будет купить или принести сюда из дома книги об искусстве. Мыла пол (он становился ярко-коричневым — удивительно школьный цвет) и размышляла, с чего начнет в восьмом классе Пушкина. Своим ученикам она не будет, как когда-то в школе ей, говорить прописи. Нет, она даст им настоящего, подлинного Пушкина.

А потом и Лермонтова, Гоголя! Сделает так, чтобы здесь действительно культивировались красота и благородство. Она расставила на окнах цветы и — чего-то еще не хватало — принесла и повесила возле доски портрет Всеволода Мейерхольда. Школа находится на Гражданском проспекте, и театр — есть же в Москве Театр на Таганке — можно будет назвать Театром на Гражданке. Счастливая идея!

Величие человека определяется не тем, сколько несчастий на его долю выпало, а тем, как он с этими несчастьями борется. Марина не думала задерживаться в школе надолго. Отнюдь. Но раз случилось, раз она должна учить сейчас детей русскому языку и литературе, раз обязана создавать с ними театр, надо извлечь из данной ситуации как можно больше. И птицы опускаются на землю, чтобы потом стремительно и прекрасно взмыть в небо.

Марина с волнением ждала своего урока. Старалась почувствовать роль, которую будет играть. Урок — это тоже спектакль, и надо подать себя так, чтобы тобой заинтересовались. Вопросы, жесты, увлекательность изложения. ...Когда жила Офелия? Давно. Ее жизнь — дым. Но почему на моих губах привкус горькой руты?.. Она до деталей продумала свой костюм. Строгое джерси, брошка или кулон с прозрачным камнем. Книга в руке. Только что делать с волосами? Отрастить невозможно, а так кудряшки, кудряшки, совсем девочка,— смотрелась Марина в зеркало. Придется как-нибудь подколоть. Все должно быть легким, воздушным, но и немножко по-академически солидным. Ведь она учительница. Она теперь Марина Львовна. Страдать и надеяться, мучиться и находить. Сейчас такое время, когда надо не рассуждать или, точнее, не только рассуждать, но и переходить от слов к делу. Она, Марина Львовна Смусина, будет воспитывать новое, умное, интеллигентное поколение!

> Тебя всегда любили Музы,
> Тебе готовили венцы —
> Пой ты; — а я пойду арбузы
> Сажать и сеять огурцы,—

писал ее любимый Поэт.

3. Среди лесов и холмов

— Девочки, как красиво! Цветы, полки с книгами!

— Про-хлад-но!

— Краской пахнет!

С челками, хвостами, бантами в дверь вливались высокие длинноногие девчонки.

— Да проходите же, проходите скорей!

— Чего столпились?

Размахивая портфелями, папками, спортивными сумками, в свой класс вкатывались загорелые ребята.

— Тюков? Ура-а! Давай со мной, на последнюю.

— Не пускай их, Танька, не пускай. Последний стол наш!

— Здесь в прошлом году мы сидели.

— Нельзя жить не любя, не боготворя, не увлекаясь и не преклоняясь.

— Что?!

— Под портретом написано.

— Чепуха!

— Какой у Димочки костюм!

— Это он под цвет глаз, девочкам нравиться.

— Ой, кто это? Ленка? Да ты совсем черная! Опять в лагере была?

— Рукавчики сшила на посадочке. Как же, в лагере загоришь! То вода слишком холодная, то вожатая не в духе.

— Отличников вперед!

— Ура-а! — ликовал собравшийся после лета 8-й «В».

— Славка! Совсем не похож. Ты что, постригся, что ли?

— Отец заставил.

— А я думала, сам. Надо же, думаю.

— У него этих, шариков, в голове не хватает.

— Не хочу, не пойду я вперед.

— Давай, давай, Татьяна.

— Двигай! А то вон, смотри, учительница пришла.

В строгом голубом костюме и с большим, прозрачным, как слеза, камнем (мамин подарок), Марина быстро вошла в класс. Подождав, пока все рассядутся по своим местам, безо всякого вступления, даже не требуя абсолютной тишины (успокаивать надо не окриком, а делом), она стала читать ребятам Пушкина:

> Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
> Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,
> И тихая луна, как лебедь величавый,
> Плывет в сребристых облаках...

«Воспоминания в Царском Селе» и ода «Вольность», «Погасло дневное светило» и «Вновь я посетил», переплетаясь, сменяя друг друга, стихи, по ее замыслу, должны были создать ощущение увертюры, где прозвучали бы даже основные темы поэта.

— Легко, просторно. А почему? Понять любимого поэта — это в какой-то мере понять себя. Узнать себя. И удивиться (поэзия вся на удивлении!) той потрясающей силе, которая заставляла его жить, любить, писать. Не сводить концы с концами, видеть жизнь такой, как она есть,— вразброс, в столкновении тенденций, в их притяжении и отталкивании.

Костюм джерси, книга в руке... Только отчего они никак не успокоятся? Странно. Ведь не по учебнику им рассказывает, не сухомятину, нет, она мыслит перед ними, и так, что даже самой интересно.

— Говорить о поэте — это значит говорить о его противоречиях, поисках, показывать биение его мысли. Здесь интересно не столько то, чем начал и чем кончил путь художник, сколько то, каков был этот путь. Река, берущая свое начало в горах и впадающая в море, течет по равнине, среди лесов и холмов.

Шумят, галдят, как ни в чем не бывало. Стихи они еще слушали.

— Танька, где мой портфель? Куда ты дела мой портфель?

— Да я его и не брала совсем. Я, это, слушаю: леса и холмы, притяжение и отталкивание. Поняла?

— Утром линейка, вечером линейка — ни за что больше в лагерь не поеду.

— Девочки, а физичка-то, говорят, заболела.

— Когда?

— Вчера. Васька видел, она бюллетень в канцелярию носила. Он говорит, физкультура будет.

— Да вон же он, вон, твой портфель.

— Где?

— Ура-а! Физ-ра.

— Пожалуйста, тише.

...— Послушайте, ведь это же интересно! Вечный Пушкин был плоть от плоти своего времени. Но вот уже пали те троны и сгнили те тираны, а мятежная ода «Вольность» живет и зовет людей к борьбе против всех властолюбцев, свой народ поправших. И будет жить. Ибо вечен человек, его стремления, его борьба и мужество. Ибо гениальное — бессмертно!

Нет, им и в голову не приходит послушать!

— Отдайте мой портфель, да отдайте же наконец мой портфель!



И какие неприятные, пустые у всех лица! Вертятся, перебрасываются чьим-то портфелем, дерутся. Да что же это? Говорить дальше? Но как? Сейчас она собиралась рассказать им о Доме Пушкина. Когда ходишь там по комнатам — буфетная, гостиная, кабинет,— то кажется, что поэт только что отсюда ушел. И скоро вернется. Затем аккорд. Его уже нет, не придет, ты в музее. И снова легкие, как стихи, слова. Важно почувствовать связь времен. Увидеть дивный мир за волшебной дверью, в том волшебном мире и свою тропу найти.

— Портфель, мой портфель!

— Держи, держи его.

— Васька, какой ты толстый!

— У него этот... обмен веществ нарушен.

— Я тебе дам обмен, такой обмен накостыляю.

— Передача вперед. Тюков, лови!

— Димочка!

— По голове его, по голове!

— Васька Тюков! Дай Димочке по голове.

— Нет, это невозможно. Тюков! И этот, Димочка, кто здесь Димочка? Ты? В угол!

. . . .

— И дайте мне свои дневники!

. . . .

— Все!

. . . .

— Я сказала: все.

Или нет, не надо, ничего ей не надо. Она хотела рассказать, заинтересовать, мыслила перед ними. А они... совсем не похожи на тех тонких и отзывчивых детей, с которыми она, вожатая, играла когда-то в Швамбранию. Зачем им «Вольность», зачем поэты? Настоящие питекантропы! Нет, она не хочет ставить их в угол, быть надсмотрщиком. Она, противница всяческого насилия, не будет заставлять себя слушать. В конце концов это просто для нее обидно. Нет!

Постояв и посмотрев на всех еще несколько минут, Марина вылетела из класса вон.

— Старомодина, девочки, да она старомодина!

— Нет, она слишком культурная. А я не люблю культурных.

В коридоре было пусто и тихо. На мгновение остановившись, Марина быстро повернула в сторону учительской. Но тут в трех шагах от себя увидела невысокую фигуру директора в больших квадратных очках. Он стоял у стены и, казалось, ждал.

— Здравствуйте, Адольф Иоганесович.

— Марина Львовна? Да мы уже с вами здоровались. Шумят? Ничего. Этот класс у нас трудный. Очень трудный класс.

Он улыбался, как добренький доктор, или нет, как директор школы из какого-нибудь сентиментального кинофильма.

— Пойдемте, пойдемте к ним вместе,— чуть ли не за руку и чуть ли не вытирая ей, восторженной молодой учительнице, слезы, хотел отвести Марину Львовну назад, в класс.

Но этого не требовалось. Другого пути теперь не было, и, резко передернув плечами, Марина нырнула туда сама. Следом за ней вошел директор. Дверь захлопнулась, и в коридоре стало совсем тихо.

Гордая, самонадеянная Марина. Разве могла она предполагать, что все ее благие намерения не только не будут запрещены (этого она всегда боялась), но и, наоборот,— будут и поняты и разрешены, но разобьются во прах об ее учеников — будущих единомышленников!

Миновались дни драгия,
Миновался мой покой,
Наступили дни другия,
Льются токи слез рекой,—

писал Поэт.

4. Жизнь — полосатая

Нет, Марина не позволяла себе только отчаиваться. После роковой неудачи с Пушкиным она, разочаровавшись в старшеклассниках, еще пыталась заинтересовать малышей, дети ведь так любознательны. На уроке русского языка в пятом классе — у нее не только восьмой, но и шестой и пятый — она говорила о фонетике. Разумеется же, шире, чем в учебнике: рисовала на доске юс большой и юс малый. Тщетно. К сожалению, и тут не было и тени, даже намека на какую-либо тягу к знаниям. Шум, гам, бестолковщина! Не все ли этим детям равно, какую роль сыграли в правописании нынешних слов старославянские юс большой и юс малый?

Марина двигалась, разговаривала, надо было распространять билеты на утренники. Уроки, школа, ее шальные ученики... Временами казалось, что все это ей приснилось. Стоило взять себя в руки, открыть глаза, и... Она не знала, что делать дальше. Собралась было заняться философией, принесла из библиотеки книги, но так и не раскрывала. Хотела написать статью о том, как увеличивается разрыв между умственным и нравственным развитием подростков, об их грядущей бездуховности. Но и это не получалось, неизвестно было, как ликвидировать разрыв. «Ребята, Марина Львовна — ваша новая учительница, и вы должны друг другу помогать»,— увещевал ее учеников директор. Ах, как это прекрасно звучало! Все вышло именно так, как ей и предсказывали пять лет назад, отговаривая поступать в педагогический. Вместо науки и искусства, теории стиха и теории теледейства, даже вместо Театра на Гражданке (до него ли!) перед ней встала суровая реальность школы. Вчера, сегодня, завтра надо не размышлять, не открывать вместе со своими любознательными учениками новое, а заставлять их себя слушать, твердить, проходить, долбить. «Жи» — «ши» пишите через «и». Волчий, лебяжий, курицын — это притяжательные прилагательные. Романтизм бывает двух типов...

Родные и знакомые еще были довольны, что помогли ей остаться в городе, не понимали, что в деревне, может, оказалось бы лучше: больше времени для собственных увлечений, больше простора, сердечности. В конце концов там хотя бы лес, поле, речка, а тут ни одного яркого пятна. Раньше она всегда чего-то хотела, хоть ерунды какой-то, но хотела, а теперь она даже не знает, чего хочет, может быть, вообще ничего. Одно и то же, убийственное одно и то же! Каждый день идет из трубы за окном дым, на столе лежат тетради, а в них — серые мысли. Казалось бы, простой вопрос: почему Гоголь объединил повесть «Тарас Бульба» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» в одном сборнике «Миргород»? И вот перед ней лежат ответы — не первоклассников, нет, шестого класса.

«Гоголь объединил их в один зборник для сровнения».— **(Пиши грамотно. Два)**. «Гоголь написал свои повести, чтобы помочь крестьянам, он сравнивает свою жизнь с жизнью декабристов».— **(Ерунда, но хоть о декабристах помнит. Три с минусом)**. «В этих повестях есть сходство, потому что Миргород — это город, а Иван Иванович и Иван Никифорович в этом городе живут, а также и в «Тарасе Бульбе» действие происходит на Украине».— **(Два)**. «Гоголь объединил свои повести для того, чтобы лучше понять, чем же они отличаются друг от друга».— **(А для чего понять? Три)**. «Эти повести похожи своими героями. Тарас Бульба носил такой же костюм, как Иван Иванович и Иван Никифорович. Тарас был



хорошим другом и Иван Иванович с Иваном Никифоровичем тоже были хорошими друзьями».— **(Неужели! Чушь! Единица).** «Место и значение повестей сборника «Миргород» в творческом росте Гоголя и в истории русской прозы».— **(Никогда не списывай!)** «Я думаю, сходство этих повестей в том, что люди хотели добиться правды. Ведь когда свинья Ивана Ивановича унесла прошение Ивана Никифоровича и тот запросил милости судьи, не то, чтобы судья ходатайствовал о его просьбе».— **(Видишь, у самой пучше попучилось. Надо следить за грамотным построением фраз! Четыре с минусом).**

Чем она занята?

Почему никто над ней не смеется? Даже мама, противница педагогического института, всерьез расспрашивает о том, что было в школе вчера и что будет сегодня. На двери, как и прежде, висит выпускаемая для нее отцом стенгазета. «Марина, руки надо мыть до, а не после обеда... Закрыв за собой дверь, проверь, не оставила ли ты там ключи... Купил «От Чернышевского к Плеханову», советую прочитать». Они относятся к ней так, будто она Мариночка, и не видят или не хотят сказать, что видят неинтересную, загнанную Марину Львовну. Одна, совсем одна!

Руки помыла, чай выпила, дверь закрыла. Тетради. Все ли здесь? Все. Здравствуйте, ребята. Классная работа. К доске. Предложение для разбора. «Теплый дождь, падающий на смолистые почки оживающих растений, нежно касался коры». Записали? Причастия, прилагательные, Пушкин, романтизм, причастия. Билеты я завтра распространю. До свидания, Ирина Васильевна, Эллочка, до свидания. Пальто надела. Тетрадки положила. Трамвай, троллейбус. Дым из трубы. Мама, папина стенгазета... И опять. Руки помыла, чай выпила, дверь закрыла. «Теплый дождь, падающий на смолистые почки оживающих растений, нежно касался коры». В магазинах появились красивые нейлоновые куртки. Купили новый шкаф. Протек потолок в коридоре.

Приходили письма от друзей, но что она могла им написать? Как хочется зареветь? Как поняла, что сеять «разумное, доброе, вечное» в данную почву она не сможет? Одно и есть утешение, что жизнь — полосатая. Авось придет счастливая полоса. Страдать и надеяться, мучиться и находить. Но нельзя же только мучиться!

> Почто печалится в несчастьи человек?
> Велнкодушия не надобно лишаться;
> Когда веселый век, как сладкий сон, протек,
> Пройдет печаль, и днн весёлы возвратятся.

Ее Поэт смотрел на жизнь с философским спокойствием.

5. Ирина Васильевна. Ах, Ирина Васильевна!

Все началось с того, что завуч завела толстую тетрадь в коленкоровом переплете. «Смусина Марина Львовна. Начата в 1970—1971 учебном году» — наклеила она на коленкор белый квадратик бумаги с выходными данными. Потом разлиновала поля, разграфила страницы — старая, еще институтская привычка — и задумалась. Умная, интеллигентная ведь Марина Львовна девушка, а зачем-то хочется ей выглядеть легкомысленной. Может быть, примета времени? Уж чего-чего, а красить двери она, видите ли, сумеет. Еще тогда, летом, Ирина Васильевна решила взять над Мариной Львовной шефство. Только не спешить, дать время осмотреться, прийти в себя. Трудно, очень трудно будет ей в школе. Ирина Васильевна захлопнула тетрадь и стала собираться домой. Безобразие, учебный год только начался, а она уже опять засиделась дотемна. Составить для себя расписание и неукоснительно ему следовать. Не-укос-нительно. Она накинула плащ, поправила перед зеркалом шляпку и через гулкий, пустой коридор поспешила к выходу.

Каждый день в кабинет завуча непрерывно заходили люди: учителя, товарищи из районо, технички, и почти каждый день среди этой толкотни там подолгу сидела Марина. Она спорила с Ириной Васильевной, не соглашалась ни с одним ее рассуждением.

— Нельзя задавать ребятам большие вопросы без предварительной подготовки. Такие вопросы либо задавать на дом, либо выяснять на уроках по частям, иначе занятия делаются непосильны для учащихся восьмого класса,— советовала Ирина Васильевна.

— Нет, я не хочу механически разделять на части неделимое. Я не хочу специально посвящать занятие связи украинских повестей Гоголя с фольклором или одному лишь объяснению социально-бытовых истоков характера Евгения Онегина. Я хочу сразу показать им весь удивительный, неповторимый мир повестей Гоголя, открыть всего Пушкина, всего Лермонтова,— парировала Марина.

— Но как же это возможно: всего Гоголя сразу?

— Как? Ирина Васильевна, я ведь не имею в виду все его повести. Я имею в виду мир его мыслей. Цель урока определяет тема. Мне не нужна другая, утилитарная цель. Сегодня фольклор, завтра реализм — это в конце концов скучно. Нет, я ищу свой путь.

— Да-да, Марина Львовна, вы, конечно, правы. В нашей работе нет единственного, узаконенного пути. Путей много. Но все-таки. На доске опять черт те что начертили.

— Нет!

— Вы говорите, урок — это спектакль. Хорошо. Но спектакль должен быть продуман.

— Нет! Я имею в виду нечто другое, возвышенное. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, безусловно, я ошибаюсь. Но я экспериментирую. Каждый — разное, каждому — разное. Я пытаюсь...

Как всегда, понять было уже ничего невозможно, и, наконец, отчаявшись (как она все-таки нетерпима!), завуч решила дать Марине тетрадь, на которой было написано «Смусина Марина Львовна». Такие тетради Ирина Васильевна, оказывается, вела на каждого учителя.

— Вот, возьмите,— повертев в руках, протянула тетрадь Марине.

— Хорошо, спасибо.— Тоже сначала повертев эту тетрадь в руках, Марина ее открыла.

ЧИСЛО: **4 сентября.** КЛАСС: **8 «в».** УРОК: **литературы.**

ЗАМЕЧАНИЯ: Класс позволяет себе разговаривать. (Ну, положим, не все. Пришла бы она ко мне первого.)

ВЫВОДЫ: **Урок обнаружил склонность учителя к подбору материала внешне занимательного, но без строгого обдумывания его учебной ценности. Много интересного, но для чего!** (Как это — для чего? Урок должен быть интересным.) **Мало внимания различным видам памяти. Учитель беспрерывно говорит.** (Хорошо, а что делать, если они молчат?)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: **1. Чтение стихов, трудных для понимания, предварять беседой, помогающей восприятию.** (Пушкина? Предварять?) **2. Аккуратнее делать записи в тетрадях учащихся. 3. Все время**

держать ребят в поле своего зрения. 4. Добиваться текста на каждой парте, добиваться работы с текстом. 5. Не забивать учеников собственной эрудицией, вести их за собой, помогать их творчеству, не обижая, не давя своим превосходством. (Неужели она давит? Если действительно так — плохо.)

ЧИСЛО: **8 сентября.** КЛАСС: **5 «б».** УРОК: **русского языка.**

ЗАМЕЧАНИЯ: **Класс позволяет себе разговаривать.** (Опять!..) **Не вести урок при шуме. Следить за голосом. Он не должен быть слишком громким.** (Неужели она права?)

ВЫВОДЫ: **Учитель увлекается тонким анализом текста, но обучающий эффект на ее занятиях незначителен. По-прежнему мало внимания различным видам памяти. Говорит и говорит, забывая, что учащимся данного возраста трудно мыслить отвлеченно в течение длительного времени.**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: **1. При объяснении использовать таблицы, схемы, цветной мел.** (Цветной мел, таблицы. Ее совершенно не интересует, ЧТО я говорила.) **2. Подбирая тексты, обращать внимание не только на их стилистическую ценность, но и на их грамматическую сущность. 3. Экономить время при объяснении: диктовать слова, не читая предложения, из которых они взяты. 4. Все виды деятельности на уроке подчинять одной главной цели — выработке навыков грамотности.** (Да, насчет грамотности, может быть, это и верно.)

Сначала даже стыдно было себе в этом признаться, но, что поделаешь, тетрадь оказалась интересной.

— Ирина Васильевна, как это здорово, что вы мне дали эту тетрадь!

— Очень рада. Видите, тут вся картина.— Ирина Васильевна подняла голову от стола, отложила в сторону месячный отчет по успеваемости.— Высокий научный уровень уроков и неумение.

— Ирина Васильевна, можно?

Решительно распахнув дверь, в кабинет вошла преподавательница математики Нина Васильевна Хотченок. Виновато рассматривая пол, за ней втянулся в дверь мальчик в растрепанной форме.

— Разбил соседу нос, а теперь говорит «простите», он, видите ли, больше не будет.— Нина Васильевна смотрела на завуча большими круглыми глазами, и непонятно было, то ли она сейчас засмеется, то ли потребует исключить этого маленького хулигана из школы.— Вторая смена у нас совсем разболталась!

Она обращалась то к завучу: требовала вызвать родителей,— то к мальчику: надо отправить его в детскую комнату милиции — и, наконец, добилась-таки, что тот заревел.

— Ну вот, на первый раз мы с Ириной Васильевной тебя прощаем,— обрадовалась Нина Васильевна.— Но если еще кого-нибудь тронешь, пощады не жди.

— Я больше не буду.

— Ладно, верим. Не дети, а форменные разбойники.— Легонько подталкивая в спину виноватого, она исчезла.

— Прекрасный Нина Васильевна педагог. Учитель потрясающий! Вам, Марина Львовна, между прочим, стоит посетить ее уроки.

— Но это же математика.

— Ничего, посетите, чтобы научиться хорошей организации класса. Вам надо думать не столько над тем, что́ дать детям, сколько, ка́к дать. Нина Васильевна вам должна понравиться. Человек весь на противоречиях. Страшно интересный человек!

— Можно?

Размахивая пачкой накладных, в дверях появилась завхоз. Она требовала списать какую-то краску. Жаловалась, что пропали двадцать пачек стирального порошка. Потом снова про краску, хорошая была краска, синяя, ультрамарин. Пропала. И почему у нее все пропадает?

Марине так хотелось поговорить. Ожидая, она опять листала тетрадь Ирины Васильевны. Более чутко реагировать на восприятие класса... Отрабатывать технику чтения. Сколько здесь всего собрано! Следить за записью домашних заданий в дневники. Почему она раньше не обращала на рекомендации Ирины Васильевны внимания? Ведь та же говорила. Почему?

— Ирина Васильевна, знаете, что бы я сказала, если бы увидела вашу тетрадь раньше? Я...— Марина запнулась,— я бы сказала, что это методический догматизм.

За окном совсем потемнело. В сумерках неба видны были лишь белые блоки зданий да резкая, отчеркивающая красным горизонт полоса заката.

— Темно. Включите, пожалуйста, свет,— попросила Ирина Васильевна.

Марина повернула выключатель, и ей стало ясно видно еще такое молодое и уже такое усталое лицо завуча. Неудобно-то как! Ирина Васильевна сидит сейчас здесь из-за нее, Марины, а ведь у нее дом, семья, дети. Дом, семья, дети, свои какие-то желания, книги, наконец, Ирина Васильевна — тоже литератор. Марина вот уже целый месяц мучит эту женщину и не может понять, что завуч не обязана каждый день слушать ее излияния.

— Ирина Васильевна, пойдемте домой. Поздно уже,— позвала Марина. Зря она пижонила в институте. Педагогика — все-таки наука. Думать не только над тем, что дать на уроке, но и как, для чего. Простая истина, а она не могла понять ее целый месяц.

Как ей опять повезло! Что за прекрасный человек Ирина Васильевна!

— Почему вы всегда разрешали с вами спорить? — спросила уже на остановке.

— А что толку не разрешать, Марина Львовна?

Подошел трамвай, они попрощались, и завуч медленно пошла через дорогу, к дому. Застучали колеса, задребезжали стекла в вагоне. До свидания, Ирина Васильевна, до завтра, Ирина Васильевна. Ах, Ирина Васильевна!

Хоть иных дам язык клевещет тя хулою,
Но служит зависть их тебе лишь похвалою:
Ты истинно пленять сердца иа свет рожденна,—

писал Поэт.

6. Самое высокое и самое глубокое

Марина наконец поняла, почему шумели у нее на уроках. Все было очень просто. Это была проблема некоммуникабельности. Ребята никак не могли разобраться, что она за человек. Учительница географии налегает на полезные ископаемые и требует, чтоб было тихо. Учительница физики любит решать задачи. Учительнице истории нужны даты наизусть. Физкультурнику — форма, вожатой — общественная работа. А ей что надо? Марина презирала тех, кто не имеет собственного мнения, и гордилась, что имеет его сама. А надо было не

презирать и тем более не гордиться. Надо было просто учить. Постепенно, переходя от легкого к трудному. Не проповедовать, не вещать, а учить — вот в чем дело.

Теперь, когда она всерьез начала заниматься с учениками, ребята стали быстро привыкать и к ходу ее мыслей, и к неожиданым параллелям, и к работе с первоисточниками. Даже непонятные поначалу слова не вызывали больше у ее учеников бессмысленного раздражения. Дети так любознательны. Особенно девочки, поразительно быстро они переняли ее утонченную лексику. «Благотворно», «квинтэссенция», «в искусстве соединяется самое высокое и самое глубокое»— так и слетало с их губ. Мальчишки были несколько холодней, беспощадней. Некоторые продолжали хихикать. Некоторые, но не все.

— Скажем, Вася Тюков, смотрите, как он к вам в последнее время прилепился! — замечала Ирина Васильевна.

— Тюков тонкий, он переживает. На нем только маска грубости. Ирина Васильевна, почему? Его все пилят-пилят. Можно же в конце концов понять, что его пилить нельзя, с ним надо возиться.

— Ах, Марина Львовна, вы же сами знаете: кому охота возиться? Когда его оставляли на второй год, я была против. Жаль, что не сумела настоять.

Между завучем и Мариной складывались какие-то особенные отношения. Им хотелось друг друга видеть, слушать. Двадцать лет разницы, и все-таки дружба.

— Ирина Васильевна, вы правы, девочки покладистее, мягче. Но я больше люблю ребят, с этими интересней,— говорила Марина. Они теперь часто вместе обедали.— Например, Саша Рудь. У нас с ним на русском такая борьба. Знаете, я ему даже сказала: не будет тетрадки — убью.

— А он?

— Он? Ничего. Принес-таки,— смеялась Марина.— Это не Тюков. Этому можно так сказать. А Тюкову — нет. Если ему, например, скажешь, что ты, мол, сидишь без тетрадочки, штаны зря просиживаешь, штаны дорого стоят, он может хлопнуть дверью и убежать из класса.

— Да, он может.

— Может, Ирина Васильевна, может. У Тюкова нет логики, зато он сердцем все так остро воспринимает. А Саша Рудь, наоборот,— настоящий исследователь. На днях я у них в шестом классе спросила, чем повесть «Тарас Бульба» похожа на былину. И он заметил: когда Гоголь говорит, что на лошадь опустилось двадцатипудовое бремя Тараса — значит, он весит триста двадцать килограммов. Эта гипербола ни в одном учебнике так не отмечена. А потом, знаете, что он сказал потом? Может быть, говорит, Гоголь имел в виду владимирских тяжеловозов. Ужасно смешной. Прелесть, а не парень.

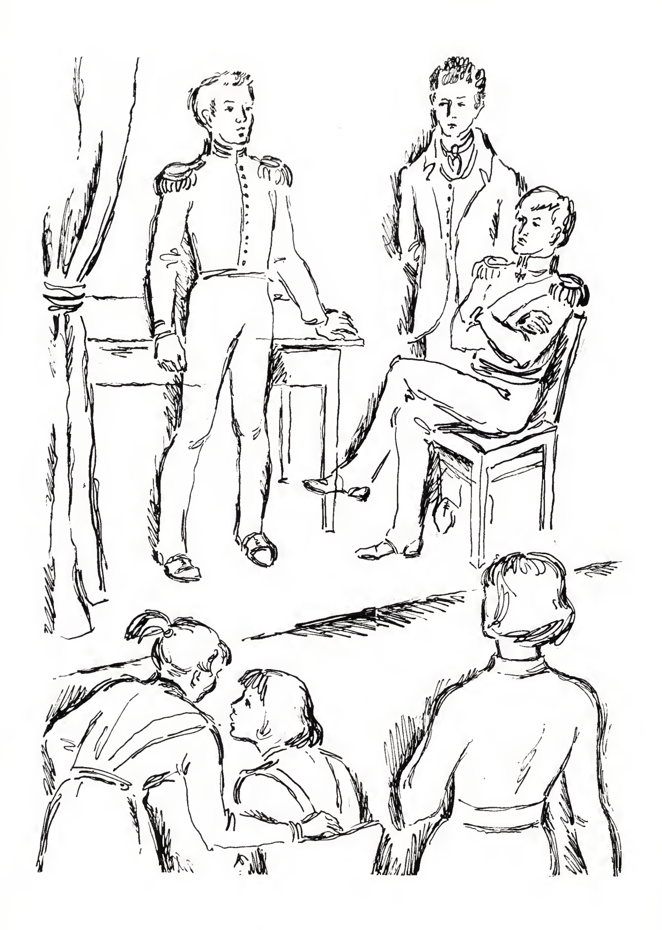
Марине хотелось рассказать про Сашу что-нибудь еще, в последние дни она его просто полюбила. Но прозвенел звонок, и, проглотив залпом компот, она полетела в 8 «в» учить литературе. В дверях буфета образовался клубок. Дожевывая пирожки, ребята тоже спешили на уроки. Ирина Васильевна допивала свой компот, хотела съесть и фрукты, которые бурой кашицей лежали на дне стакана, но, поморщившись, отставила в сторону. Как все-таки плохо стали готовить, это совершенно непростительно. Она медленно вышла из буфета и поднялась к себе. В этот час у нее было «окно». Можно было спокойно посидеть и подумать.

На улице кружился и кружился первый снег. Из форточки текла в комнату сырость. В общем, пришла зима. А что успела Ирина Васильевна за это время? Два года назад, когда ее назначили в эту школу завучем, она считала, что ей повезло. В первую очередь с директором. Как и она, Адольф Иоганесович мечтал заставить детей тянуться к культуре. Он был очень деятелен, деловит, и, что особенно важно, с ним можно было говорить. Обо всем — никуда из его кабинета не выходило. Невдалеке от школы Ирине Васильевне дали и квартиру. Весь этот район был новый. Не тратить времени на дорогу, начать жизнь сначала, в хорошем коллективе, с прекрасными целями — это тонизировало. Правда, домой по-прежнему попадала поздно. Конфликты, педсоветы, теперь вот Марина Львовна. Как они все в ней: и Рудь и тот же Вася Тюков. Свобода, внутренняя непосредственность, и сплетен не любит, а это так важно. Хорошо, что Марина Львовна попала к ним. В другой школе ее бы затрясло, она очень ранима. Но здесь Ирина Васильевна не допустит, она будет беречь и щадить Марину Львовну до тех пор, пока та не научится беречь и щадить других.

Такая молодая и уже такая образованная. Есть вещи, до которых Ирина Васильевна дошла путем горьких разочарований, а Марине Львовне это было известно, как дважды два. Вот что значит родиться на двадцать лет позже. Однако хватит ли у нее терпения остаться в школе? Ирине Васильевне очень хотелось сделать из Марины Львовны учителя, смелого, тонкого, каким когда-то мечтала быть сама. Как она все близко воспринимает! Недавно прибежала — трагедия: в восьмом классе не любят Печорина. «Евгения Онегина» она им так раскрутила — повлюблялись. А «Герой нашего времени» никак не идет. Зачем, говорят, Печорин бездействует, женщин меняет. Онегин — тот, мол, хоть влюбился. Короче, никакого восхищения. Рассказывает, а сама чуть не плачет, только гордость мешает. Совсем не чувствуют трагедии Печорина. Почему?

Действительно, почему? Ирина Васильевна рассказала ей о Горошкине. Жаль, что Марина Львовна его не учит. Очень глубокий мальчик, хочет быть архитектором, прекрасно знает историю последних лет. Начитан, сдержан. В классе, который ведет Ирина Васильевна, нет более интересного ребенка. Он на голову выше своих ровесников и в то же время может часами лежать на животе, играть с братом-первоклассником в солдатики. Так вот, ребята прозвали Колю Печориным, потому что, говорят, у него благородная внешность, хорошие манеры. Представляете? Не за внутреннее содержание, а за внешность. Может быть, отсюда к ним надо и идти? Марина Львовна тут же загорелась (она поразительно быстро все воспринимает). Театр! Почему они забыли про театр? Надо начать с театра.

На другой день прибежала со сценарием: первые наброски, писала всю ночь о Лермонтове. О борьбе и благородстве. А внешне, если им так хочется, будет сколько угодно красивых платьев, мундиров и прекрасных манер. Сам Лермонтов нигде не присутствует. Вместо него Печорин, толпа «Маскарада», герценовский мартиролог погубленных, убитых властью во цвете лет талантов: Белинский, Полежаев, Бестужев... Минута молчания. И снова стихи, сцены, Бенкендорф. Печорина будет играть Горошкин (Марина не знает этого ученика, но Ирина Васильевна их познакомит), Грушницкого — Димочка Напастников, мартиролог будет читать Тюков. Она нарисовала на листке план сцены. Декораций почти не будет. Наверху, над занавесом, надпись: «Я знал одной лишь думы власть (Лермонтов)». На правой кулисе приказ о ссылке Лермонтова на Кавказ, на левой — копия картины «Ангел со свечой» Врубеля. Ко-



пию сделает Таня Мусина. Она прекрасно рисует, и Марина уже договорилась.

Они собирались теперь в актовом зале: шум, гам, суматоха. Марина Львовна где-то нашла и притащила в школу балетмейстера, он расчертил ребятам полонез. Достала через знакомых в детском театре костюмы. Подобрала прекрасную музыку — Шопен, Бетховен. На рояле играла все та же Таня Мусина, тоненькая, простенькая на первый взгляд девочка, а такая способная.

Вспоминая, как в субботу на репетиции ребята в синих гусарских костюмах читали стихи («Не смейся над моей пророческой тоскою»), Ирина Васильевна думала: пусть дети не все так уж хорошо понимают. Главное, они навсегда запомнят, как были синими гусарами, как ходил по кабинету шеф жандармов Бенкендорф, «трясясь от страха водянисто», как гибли, но не сдавались Белинский, Полежаев, Лермонтов.

— Ирина Васильевна, смотрите, смотрите, что одна моя девочка написала,— прилетела после звонка Марина. На листке, приложенном к сочинению, было: «Я люблю смотреть телевизор, но не все подряд. Люблю собак, лошадей, обезьян. Люблю читать и что-нибудь жевать. Люблю, когда тюльпаны (разные) стоят в синей вазе. Люблю корчить рожу зеркалу. Люблю, когда не решается задача, а потом ругаешь себя и выйдет. Люблю наш театр и еще одну учительницу и не люблю, когда тебя ни за что обругают».

— Марина Львовна, одна учительница — это, конечно, вы. Но и насчет «обругают», не о вас ли это?

— Да, у меня есть такая дурацкая черта. Я злюсь, когда меня не понимают. Но посмотрите: «люблю театр» — чудо! Надо, чтобы все они подружились: она, Коля Горошкин, Тюков.

Марина ходила взад и вперед по кабинету и с возбуждением рассказывала Ирине Васильевне о предстоящей премьере. Потом побежала на репетицию, с репетиции домой. Было уже темно и одновременно светло. Серебристый, белый, летел и таял вокруг нее снег. И она, как в кино или в каком-нибудь спектакле, ловила его в ладони и, не чувствуя, что набрались полные сапоги, запрокинув голову, подставляла под снег щеки, нос, глаза, лоб, себя всю. Как это здорово, что она нашла в завуче человека с убеждениями, личность по самому большому счету, как это прекрасно, что нашла в себе силы исправиться, стать совсем другой и в то же время остаться той, прежней Мариной! Вот она, взрослость.

Грущу и веселюся,
В веселье грусть моя;
И от чего крушуся,
Тем утешаюсь я,—

Её Поэт был, как всегда, прав.

7. Опять неправдоподобное

Прошло время. Уже и подтаивала и опять становилась хоккейным полем большая лужа около школы. На окнах класса появился, а потом был смыт дежурными Карлсон Который Живет На Крыше, нарисованный к Новому году. Не хватало лишь старинных фонарей. Однако теперь было не до фонарей. Смусину назначили заместителем директора по воспитательной работе. С ней всегда случалось что-нибудь неправдоподобное. На эту должность в школе причиталось лишь полставки, и большого желания занять ее никто из учителей не изъявлял. А Марина согласилась и, кроме того, что вела уроки, должна была теперь организовывать внеклассную работу: линейки, вечера, сборы... Конечно, сразу становиться начальником, хотя бы и на полставки, просто неприлично. Но Марина не собиралась быть начальником. Не ради скоропалительной карьеры — ради Театра на Гражданке пошла она навстречу администрации. Ведь театр — это тоже внеклассная работа. Им-то она и будет заниматься в первую очередь.

Что касается остального, то восьмиклассники будут ходить по Петербургу Пушкина — ведь они пока такие темные; девятиклассники побывают в Петербурге Достоевского. Домик Петра и Петропавловская крепость, Зимний дворец, Нарвская застава, Университетская набережная — большие и маленькие ее ученики побывают везде, где жил, боролся и в любых условиях создавал нетленное их город. Ведь мы все так же отрешенно и отчаянно ищем, ждем совершенного, скажет она ребятам. Талантливое начало, не правда ли?

Только где взять на все это сил, да и умения тоже? Хорошо еще, что она живет с родителями и ей ничего не надо делать дома. Впрочем, если бы и не с родителями, все было бы так же. Ее личная жизнь всегда шла урывками, кое-как, в промежутках между грандиозными увлечениями. Вот и сейчас, если бы не театр, не ребята, которые, по словам Ирины Васильевны, так к ней прилепились, и не сама Ирина Васильевна, отдежурила бы Марина в школе положенные три года и ушла. А теперь она уже не знала, сможет ли, уйдет ли. Взять даже урок, обыкновенный урок — ведь это было просто чудо, когда она входила в класс и в тишине (конечно, относительной, но все-таки...) говорила:

— Почему Гоголь объединил «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и повесть «Тарас Бульба» в одном сборнике?

Раздавался шепот, ребята понемножку вертелись. Но как приятно было видеть, что они думают. Думают, а не просто вертятся и болтают о какой-нибудь чепухе.

— Ну, кто первый? Вика? Антипова?

— Гоголь объединил их, чтобы читатель сравнил эти повести,— звонким голосом говорила Вика; она знала, что хочет сказать.— Например, в Запорожскую Сечь казаки вступали без всяких больших церемоний и без бумаг. А в «Иване Ивановиче», наоборот, одни церемонии.

— Хорошо, а теперь, что думает по этому поводу Оля Моева?

Очки, косички с бантиками.

— Марина Львовна, по-моему, Гоголь как бы соединяет два мира. Воинственный, смелый мир Тараса и безразличный, жалкий мир Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

— Два мира, так. Юра?

— В одной повести описано давнее время, а в другой — время, когда жил Гоголь.

— Ну и что? Снова Вика?

— В «Иване Ивановиче» надо писать много жалоб и тратить время на то, чтобы эти жалобы разбирали, а в Запорожской Сечи все споры решают быстро, без писанины.

Как уверенно гнула эта девочка свою линию.

— Правильно. Ну, а кроме писанины? Юра, ты, кажется, еще что-то хочешь сказать?

— Я думаю, Гоголь сравнивает давнее время с современным, чтобы показать свое отношение к Миргороду.

— А какое отношение? Помните, что пишет Гоголь вначале: «Прекрасный человек Иван Иванович!» И Иван Никифорович тоже очень хороший человек. Ну-ка, Саша Рудь?

— Иван Никифорович добренький, толстенький. Он

и помириться хотел. Это Иван Иванович не согласился. Хотя он тоже не злой, просто очень самолюбивый.— Оглядываясь по сторонам, садится, любит работать на публику.

— Хорошо, так, может быть, они действительно прекрасные люди? Однако какие, например, у этих прекрасных людей фамилии?

Над партами разом поднимался лес рук: повеселиться они всегда бывали рады.

— Перерепенко, Довгочхун... Смешные... Марина Львовна, а у полтавского комиссара — Пухивочка.

— Правильно, смешные. Даже сам Иван Иванович пишет в своей жалобе на Ивана Никифоровича что? Помните? «Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме».

Как приятно было слушать их хохот. Но нельзя терять главную мысль! Все-все-все, быстро успокоились. В темпе, не тяните время, так ничего не успеете. Раз, два, три...

— Гоголь смеется над этими «прекрасными» людьми. Что они делают целыми днями? Например, Иван Иванович, что он больше всего любит?

— Охотиться на перепелов! Отдыхать под навесом! Дыни!

— Совершенно верно. Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. А Иван Никифорович? Саша Рудь?

— Иван Никифорович любил закаляться, он велел вытащить во двор ванну и сидел там по горло в воде.

— Ну ты, Саша, сегодня даешь.

— Марина Львовна, почему? Он и чай, сидя в ванне, пил. Поставил туда стол.

— Ладно, Саша, ладно, потом. Оля?

— Он ничего особенно не любил. Целыми днями отдыхал, забавлялся, а ружье проветривал вместе с одеждой.

— Согласна. Но подумайте, зачем вообще в этой повести ружье? Нельзя ли это как-то связать с «Тарасом Бульбой»?

Молчание. Великолепное, обворожительное молчание.

— Хорошо, забудем на время о ружье. Оно нам пригодится позже. А сейчас вспомним, как кончается повесть. Юра, мне очень приятно на тебя смотреть, но если не помнишь, смотри лучше не на меня, а в книгу. Вика?

— Повесть кончается грустно. Время идет, и этот судья уже умер, а они все ссорятся, ссорятся, и дождь льет. Гоголь говорит: «Скучно на этом свете, господа!»

— Саша?

— Я думаю, может быть, Иван Иванович и Иван Никифорович могли бы жить так же весело, как Тарас и как запорожцы. Наверное, поэтому у Ивана Ивановича и шпага есть и ружье. Тарас был самолюбивый, и они тоже самолюбивые. Мне, правда, их жалко. Их, по-моему, бюрократия довела.

— Молодец. Ребята, видите, теперь Саша у нас молодец. (Честно говоря, он и всегда был молодец.)

— Правильно. Они глупы и никчемны. Но, оказывается, у никчемного Ивана Никифоровича хранится ружье, когда-то он не был толстым и даже «готовился было вступить в милицию и отпустил было уже усы». Но что стало с ружьем?

— Марина Львовна, ружье можно смазать маслом.

— Конечно, Юра, ружье можно исправить. А что уже не исправишь?

— Жизни?

— Да, ребята, жизни. Не исправишь жизни этих людей, которую они прожили зря, истратили на бесплодную тяжбу.

— Марина Львовна, а если бы повесть кончалась весело, то читатель не стал бы над ней задумываться, правда? — сделала открытие Вика.— А так как повесть кончается грустно, читатель задумывается: «Почему так грустно кончилась эта веселая повесть?» И вспоминает Запорожскую Сечь и видит, как было лучше свободным людям, чем когда свободных людей нет. Гоголь хотел, чтобы люди задумывались над тем, что всем надо жить на равных правах, как в Запорожской Сечи. Правда?

Умница, Вика, умница. И Саша какой молодец. Замечательные ребята. Трудно поверить, что еще недавно в тех же работах по Гоголю она читала совершенные глупости. Однако нельзя упрощать социальные устремления Гоголя. Почему — она им еще объяснит. Все дело в его таланте. Раскрыв книгу, чуть нараспев, она читала ребятам Белинского: «...Заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слёз глупостями, ничтожностью и юродством этих живых пасквилей на человечество — это удивительно, но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души...— вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия!»

— Видишь, Саша, не зря тебе было их жалко.

Конечно, не каждый день бывали у нее такие прекрасные уроки. Но они бывали. И теперь, нося в себе и этот свой успех с Гоголем и другие, думая о том, как давать шестиклассникам Тургенева и не дать воли восьмиклассникам лермонтовский «Маскарад» («Иван Иванович» тоже не входил в программу, а она впихнула, и как здорово получилось), готовясь к новой постановке в театре и просто бегая по школе, Марина от души готова была утверждать, какая у нее удивительная профессия. Удивительная, прекрасная, идеально человеческая работа. «Чем вы там занимаетесь? Чем гордитесь? Бумажки, бумажки, а у меня живое дело. Масса интересных людей, дети и та же наша завуч, Ирина Васильевна»,— говорила она знакомым.

Но иногда на Марину нападала хандра, жизнь казалась жуткой и беспросветной. Линейки, отчеты, линейки. Самым трудным в ее работе было скрывать от ребят, когда она делает что-то через силу. У Ирины Васильевны этого не было видно. А у нее ребята сразу видели. Ах, если бы за ней был только один, собранный из лучших, любимых детей класс (или пусть два, ну, три класса) и один театр; если бы в ее классах было по двадцать, ну, по двадцать пять — тридцать, но не по сорок же учеников; и если бы не было никаких отчетов,— она бы никогда не хотела уходить из школы. И никогда не жалела бы, что так скоропалительно согласилась стать заместителем директора. А сейчас? Сейчас иногда жалела.

Где живут мои утехи,
Там все горести живут,
И в желаниях успехи
Жесточае сердце рвут.—

Поэт прекрасно понимал это состояние.

8. Какой успех!

Шло время, и, несмотря на огорчения (они неизбежны!), Марина окончательно освоилась со своей новой должностью. Линейки, сборы, собрания — порой она уже чувствовала себя здесь как рыба в воде. Поручала, требовала, проверяла и, что очень важно, ни на минуту не забывала и о любимом, самом духовном своем детище — Театре

на Гражданке. Кажется, совсем недавно Марина создавала свой первый, «лермонтовский», спектакль, а если посчитать, с тех пор прошло уже столько времени — удивительно! Вывести спектакли за рамки просто спектаклей, столкнуть их со сцены в зал, сделать центром вечеров-диспутов, даже комсомольских собраний — вот о чем мечтала теперь Марина. В результате появился пятый в репертуаре их театра спектакль «Монологи» или другое название — «Человек во все времена».

В актовом зале горели теплым пламенем свечи в старинных подсвечниках. Шел импровизированный спектакль. Актеры сидели вперемежку со зрителями тесным полукругом. Легко, как бы сами переходя от одного чтеца к другому, звучали стихи. «Кто этот дивный великан, одеян светлою бронею... Не ты ль, о мужество граждан, неколебимых, благородных» — Рылеева, «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденье, за любовь» — Некрасова.

— Гражданское мужество декабристов. Гражданская лирика Некрасова. За годы, что учитесь в школе, вы не раз слышали это слово: «гражданственность». Примеры гражданских чувств, мыслей, подвигов не раз приводили в сочинениях. Однако задумаемся опять: что значит быть гражданином? Вопрос не простой и не праздный,— мягким, сосредоточенным на смысле голосом вела разговор Марина.

— «Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной, не будет гражданин достойный к отчизне холоден душой,— ему нет горше укоризны...»,— как бы отвечая на ее вопрос, читала Некрасова Лена Обухова.

— «А что такое гражданин? Отечества достойный сын»,— продолжала за Леной Марина.— Нет ничего благороднее, чем быть достойным сыном своего отечества. Ведь это значит принадлежать к числу тех, чьи чувства ответственности, долга столь сильны, что заставляют человека действовать, презирая собственное благополучие. Почему, например, Рылеев написал целую оду гражданскому мужеству? Почему он написал: «Но подвиг воина гигантской и стыд сраженных им врагов в суде ума, в суде веков — ничто пред доблестью гражданской»?

— Потому что гражданин — это этот, как вы говорили, сознательный член общества,— высказался Вася Тюков.— Он не только в военных сражениях, он всегда борется за счастье других.

Васька-двоечник, хоккеист Васька и — «сознательный член общества»!

— Правильно, Вася, верно. Возможность проявления истинно гражданских чувств дают не только времена необычайные, но и наша повседневная жизнь,— обрадовалась Марина.— Сказать в лицо человеку, что ты думаешь о его действиях, если они кажутся тебе плохими. Еще? Какие поступки близки к проявлению гражданственности?

— Выдать на собрании правду,— улыбнулся Дима Напастников.

— Расти образованным человеком,— осторожно вставила Таня Мусина.

— Выбрать себе профессию, с которой больше всего сможешь сделать для человечества,— авторитетно сказал Шура Жемчужников.— Не помалкивать, как некоторые. Уметь отстаивать свое мнение. Двоек не получать...

Рассуждения сыпались, как из рога изобилия. Вот оно, реальное воплощение новых, осенивших Марину идей. Она долго шла к этой постановке. Стремление к идеалу — единственный и вечный путь мастера. По дороге был сделан «блокадный» спектакль — по стихам и дневникам Ольги Берггольц. Они выступали с ним перед людьми, пережившими блокаду. Потом лирическая композиция из стихов, дневников, писем Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова, Бориса Смоленского — «Сквозь время».

Потом, правда, появился спектакль, который несколько выпадал из общего русла. Правил без исключения не бывает. Он назывался «Обозрение-плакат «Наш марш». Четкие звуки маршей, синие блузы шагающих в колонне ребят. То выстраиваясь в виде шестеренки, то замирая пирамидой в форме терриконa, они перечисляли фабрики, шахты, электростанции. Ведущий: «Есть ли у нас возможности для выполнения контрольных цифр на 1931 год?» Хор: «Да, такие возможности у нас имеются!» Ведущий: «В чем состоят эти возможности?» Хор: «Прежде всего требуются достаточные природные богатства». Ведущий: «Есть ли они у нас?» Хор: «Есть!» (Участники поднимают над головой бумажные кубики (у каждого один кубик). На них написано: «Железная руда», «Нефть», «Уголь», «Хлопок», «Хлеб».

Появился этот спектакль случайно — попросили знакомые. У кого-то там было задание организовать посвященный пятилеткам вечер на фабрике. Попросили помочь, и, деваться некуда, Марина села писать сценарий. Что нужно для фабрики? Ну, конечно, побольше цифр, дат и названий. А как впихнуть их все в одно действие? Ее вдруг осенило. В двадцатые годы был театр «Синяя блуза». «Мы синеблузники, мы профсоюзники», оптимистические ритмы маршей, физкультурные построения. Знакомым сценарий понравился: такая тема — и свежо, ново! Но в клубе его не взяли, показался слишком формалистичным. «Одни марши да кубики — этого мало»,— сказали ей там. Не поняли (а может быть, наоборот, поняли?), что она хотела переломить содержание формой в стиле театра «Синяя блуза».

Однако в любом случае они были неправы. Да, Марина полностью отдала себя поискам формы, но разве это предосудительно? Ведь она все равно сделала свой сценарий приподнятым, броским, красивым — чего же боле? Во всяком случае, она искренне этим увлеклась. Выкидывать написанное было жалко, и Марина поставила «Наш марш» с ребятами. Детей, как известно, можно научить всему. Впрочем, вскоре и она и ребята про этот спектакль забыли, они увлеченно готовились к нынешним «Монологам».

— Порядочность, благородство — это не дается от природы, как цвет волос или глаз,— говорила Лена Обухова.

— Нельзя ждать момента, когда ты будешь испытан «на разрыв», надо воспитывать в себе эти качества,— поддерживал ее Шура Жемчужников.

«Как складно, красиво они иногда могут говорить, настоящие ораторы!» — радовалась Марина. Она заранее подобрала для своих актеров лишь стихи, а остальное должно было быть сплошной импровизацией. И урок и в то же время пьеса, героями которой стали не только Рылеев и Некрасов, но и вслух размышляющие об их стихах ребята. Первое действие закончилось, и началось второе, более лирическое, оно было посвящено тому, как жил, о чем думал, в чем сомневался, каким был человек до нас. «Я — это я, а вы грехи мои по своему равняете примеру». Ах, как читал Шекспира Вася Тюков! Любимая его книга «Идем в атаку» (автора, конечно, не помнит), и вдруг в его устах 121-й сонет Шекспира. Это было чудесно, великолепно, необыкновенно. Словно став выше ростом, он читал перед ребятами и сидевшими среди них учителями: «Пусть грешен я, но не грешнее вас». Да, ради этого стоило работать в школе!

— Пожалуй, вы и меня втянете,— сказала учительница математики Нина Васильевна Хотченок. Она вста-

ла и, словно в драмкружке (тридцать лет назад так оно и было), высоким, с выражением голосом стала читать отрывок из «Анны Карениной». Это было, конечно, свидание Анны с сыном. («...Сережа! Мальчик мой милый! — проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тело.— Мама! — проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными местами тела касаться ее рук...») Ни выступление Нины Васильевны, ни тем более прочитанная ею сцена не входили в составленный Мариной примерный сценарий, скорее наоборот, нарушали его гражданственное направление, но ребята слушали с вниманием, а некоторые девочки и со слезами в глазах. Нина Васильевна так этим расчувствовалась, что даже прочитала им в придачу Есенина. Это была «Анна Снегина». («Когда-то у той вон калитки мне было шестнадцать лет. И девушка в белой накидке сказала мне ласково: Нет!») Вот какая была атмосфера. Жаль, конечно, что после выступления Нины Васильевны некоторым девочкам тоже захотелось читать про любовь, а не о месте человека в обществе,— об этом месте когда-то, еще будучи школьницей, Марина так много думала. Но это она, а ее ученики —некоторые из них еще не всегда по-настоящему понимают значение слов: государство, социальный, общество. Государство путают с обществом, а ведь эти понятия хоть и близки и тесно связаны, но разные. Впрочем, не беда, у Марины еще есть время сделать их более развитыми. Главное, что они тянутся, запоминают.

Успех, глобальный, фантастический успех!

— Ирина Васильевна, Адольф Иоганесович! Эллочка! Какой успех! — прыгала на другой день Марина. Глаза у нее были широко открыты, и сердце билось, как сумасшедшее. Тогда она еще не представляла, чем обернется для нее этот успех в будущем.

В нас страсть желание и действие творит,
Она движение сердечное чинит,—

писал Поэт.

9. Полезное увеселение

Беда пришла неожиданно. Однажды Марина вспомнила, что в студенческие годы у нее был знакомый в рукописном отделе библиотеки — милый, предупредительный человек. Они не виделись уже около года, а можно ведь повести ребят к нему в хранилище. Показать им настоящие рукописные средневековые книги — такая возможность! По обыкновению быстро Марина нашла своего знакомого и, хотя тот был не совсем здоров, сумела уговорить его. Когда речь шла о ребятах, она могла добиться чего угодно. Короче говоря, в воскресенье Марина уже ждала своих у входа в хранилище.

День был солнечный, в воздухе пахло весной. Настроение великолепное. Однако прошло десять минут, потом двадцать, а никто из ребят не появлялся. Что такое? Может быть, они перепутали место встречи? Расхаживая взад и вперед возле подъезда, Марина перебрала все возможные варианты. Наконец, замерзла, разозлилась и пошла извиняться перед своим знакомым. Ужасно стыдно. Она ему столько о них рассказывала, какие это умные, возвышенные, интеллигентные дети. Он, больной, встал ради них с постели. Мариночка, здравствуйте, а где же ребята? Где, вот именно где? Не было слов.

Чтобы как-то успокоиться, Марина зашла в отдел редких изданий и попросила журнал «Полезное увеселение». За август 1760 года. Слова с ятями, виньетки заголовков. Когда-то этот журнал был одним из источников ее диплома. Сонеты, стансы, элегии — давно не перечитывала она своего Поэта. Их встреча была случайной, как всякая встреча с любовью. В тех временах, в тех небесах... Марина пыталась вернуть себе настроение прошлых лет, когда она в этих, написанных старинным слогом стихах находила удивительно современные настроения и ритмы. «Равно как в солнечный приятный летний день являет человек свою пустую тень, и только на нее свободно всяк взирает, но прочь она бежит, никто ту не поймает...» Нет, ничто не захватывало и не уносило ее в дивный мир поэзии. Наоборот, она возвращалась все к тому же. Почему эти дети не пришли? Как они смели не прийти? Марина столько для них сделала! Ради них она стала заместителем директора по воспитательной работе, создала театр. Сценарий последнего спектакля писала, например, в зимние каникулы, а могла ведь выпросить у Ирины Васильевны пару дней и съездить в Михайловское. Еще летом познакомилась с одним человеком. Студент, будущий художник. Побывать бы с ним у Пушкина зимой, побродить вдвоем по парку, именно там, у Пушкина, попробовать понять, что она значит для этого человека, что он — для нее. Всем, всем пожертвовала ради этих детей. Даже здесь, в библиотеке, не была целых полгода.

В понедельник перед уроками Марина собрала ребят.

— Как это можно, чтобы учитель, женщина, ждала вас целый час на морозе?

— А что, разве никто не пришел? — удивился Шура Жемчужников.

— А вы этого не знали? Ну-ка, кто был вчера в библиотеке? Шаг вперед.

Они долго переглядывались, молчали.

— Марина Львовна, нам много задали,— попыталась исправить положение Таня Мусина.

— Мать велела с братом погулять.

— А у меня дядя приехал.

— По телевизору был хоккей.

— Видите, мы не нарочно.

— А то, что больной, занятый человек встал ради вас с постели?

— Но ведь каждый думал, что другие придут,— заметил Шура. Видно, он нисколько не чувствовал себя виноватым.

— И это говоришь ты, директор театра?

Марина была вне себя от обиды. Она ждала от них чего угодно, но не этой пассивности, не этих пустых, глупых лиц. Она не стала объясняться дальше, просто хлопнула дверью класса и ушла в 6-й «б» давать урок русского языка. Вторник, среда, четверг. Марина извелась за эти дни, но не склонилась. Не проводила репетиций, даже на уроках никого из «театральных» не вызывала к доске. Что можно сказать людям, которых не уважаешь? Наконец в пятницу на большой перемене к ней подошла целая депутация. Таня Мусина, Лена Обухова — все девочки — и Вася Тюков с Мишей Анциферовым.

— Марина Львовна, мы — куда хотите!

— Мы поняли...

— Мы везде будем ходить!

— Никогда...

— Ни-за-что...

— Пожалуйста, простите нас!

— Хотите, мы с Мишкой пол в зале вымоем? — Это Вася Тюков. Так трогательно, что и обижаться больше невозможно.

— Только не каяться, не каяться! Считайте, что «втык» от меня вы уже получили. И будем сегодня репетировать. Да, а где же остальные? Шура Жемчужников, Дима Напастников, Юра Федосеев, где они?

Пауза.

— Марина Львовна, они не придут,— высказала наконец Таня Мусина.

— Почему не придут?

— Шурик говорит, он полностью с вами во взглядах разошелся. Он говорит, вы видите в театре только саму себя,— объяснил Тюков.

— Саму себя?

— Но вы же правда мало с нами советуетесь.— Это сказала Лена Обухова.

— Ленка!— Таня дернула подругу за руку.

— Что? Правда, Марина Львовна, вы же сказали: в воскресенье идем в библиотеку — и ушли. А, может быть, мы не можем.

— Ленка!

— Шурик сценарий написал,— вступил в разговор Миша Анциферов.

— Какой?

— Не знаю. Он говорит, что вам не покажет.

— Он хочет быть этим, настоящим директором, чтобы и ключи от зала и все у него,— пояснил Вася Тюков.

— Но у меня только одни ключи!

— А он хочет свой театр организовать. Он говорит, что ваш театр — это несовременный. Патетики слишком много.

Удар был ниже пояса. Недавно ушел из театра Коля Горошкин. Тот самый умный, интеллигентный мальчик, которого за его благородную внешность ребята прозвали Печориным. Марина возлагала на него столько надежд!

Это случилось, когда Марина прочитала ребятам сценарий «Нашего марша». Прочитала и стала распределять роли. Толю, конечно, ведущим. «Мы будем говорить о героическом, полном романтики мире». Он может так подать эти слова. И вдруг услышала:

— Я, Марина Львовна, из-ви-ните, уже полгода занимаюсь в художественной школе, потом, вы же знаете, Нина Александровна у нас научное общество организовала при агрофизическом институте. Не успею, не смогу...

В общем, она его отпустила. Тогда и в голову не могло прийти, что, может быть, этот уход не совсем случаен. А теперь, выходит, она видит в театре только саму себя... Ну и ну! Вася Тюков, и тот по-настоящему не осуждал Шурика. Много патетики? Конечно, то был отнюдь не шедевр, но ведь после «Нашего марша» они поставили великолепные «Монологи». Саму себя! Да как они могут говорить такое?

— Марина Львовна, все еще образуется. Я думаю, Шурик вернется! — сказала Таня Мусина.

— И Димка и Юрка тоже вернутся. Ничего у них не получится! — уговаривали свою учительницу ребята.

— Знаете, Димочка просто хочет в институт поступить, на второй год не хочет оставаться,— объяснял Вася Тюков, сам второгодник, которого вся школа знает.

— Ты думаешь, им времени жалко? Нет, они по-своему правы,— не вытерпела Лена Обухова. Как она всегда стремилась к справедливости! — Например, Шурик. Марина Львовна, он директор и хочет, чтобы вы считали его первым. Он...

— Первыми не делают, первыми становятся,— резко оборвала ее Марина. И повернулась и пошла.

— Марина Львовна, куда же вы? Подождите!

Но она не оборачивалась. За что она их сейчас обидела? Впрочем, переживут. Прозвенел звонок. Надо было разбирать с пятиклассниками «Муму» Тургенева. Горе Герасима — она так мечтала об этом уроке. Но теперь урок, конечно, не вышел. Они не хотели понять ни времени, в которое жил Герасим, ни Тургенева, который описывал именно это время. Называли Герасима злым за то, что послушался барыню и утопил Муму, а не убежал вместе с ней, своей любимой собачкой, из города. Ругали Тургенева за то, что он написал такого злого Герасима. Милая, но полная чепуха. А повернуть урок не получалось. Марина дергалась, обличала: «Не Герасим и не Тургенев, вы сами злые». Но ребята упрямились и твердо стояли на своем. Юные максималисты, ах, как она от них устала!

Хотелось пойти к Ирине Васильевне. Почему эти дети могут заставить целый час ждать себя на морозе, краснеть перед знакомыми, а потом еще требовать какие-то ключи (такая мелочность!), говорить, что им нужен свой театр (а этот чей же?), и вообще считать, будто они достигли всего сами. Много патетики? Хорошо, она виновата. Но вы, вы-то чем лучше? Нет, если уж вы такие правильные, то отчего позволили себе не прийти, когда вас ждали? Почему? Откуда? Как? За что они ее так не любят? Хотелось уткнуться во что-нибудь теплое и поплакать. Мечты и — действительность. Неужели так будет всю жизнь?

Равио́ как в солнечный прнятный летиий день
Являет человен свою пустую тень,
И только на нее свободио всяк взирает,
Но прочь она бежит. нникто ту не поймает.
Так счастье я поймать стараюсь всякий день,
Но, ах! хватаю лишь одну пустую тень,—

писал Поэт. Элегия называлась «Какие мне беды»...

10. Адольф Иоганесович! Ах, Адольф Иоганесович!

В тот несчастный день, когда произошел раскол и ее театр покинули почти все мальчишки, Марине очень хотелось пойти к завучу. И все-таки она решила не ходить. Она поплакала в туалете, подвела, как ни в чем не бывало, глаза — и ей уже были не нужны утешения. Пусть даже ее ждет трагическая судьба, все равно нельзя делать из этого мировую трагедию. Другим людям бывает еще хуже. Надо отойти от случившегося на некоторое расстояние, посмотреть так, как, отходя, мы смотрим на картину или скульптуру, охватить в целом, а потом говорить с завучем. Или, может быть, вообще не говорить? Разве это приятно — рассказывать, как от тебя ушли, покинули тебя директор театра Шура Жемчужников, трагик Дима Напастников, второй трагик Юра Федосеев... Однако в школе ничего не скроешь. Еще когда Марина подводила в туалете глаза, Ирина Васильевна уже все знала.

— Марина Львовна? Ну, что там у вас произошло? — поймала она ее в коридоре.

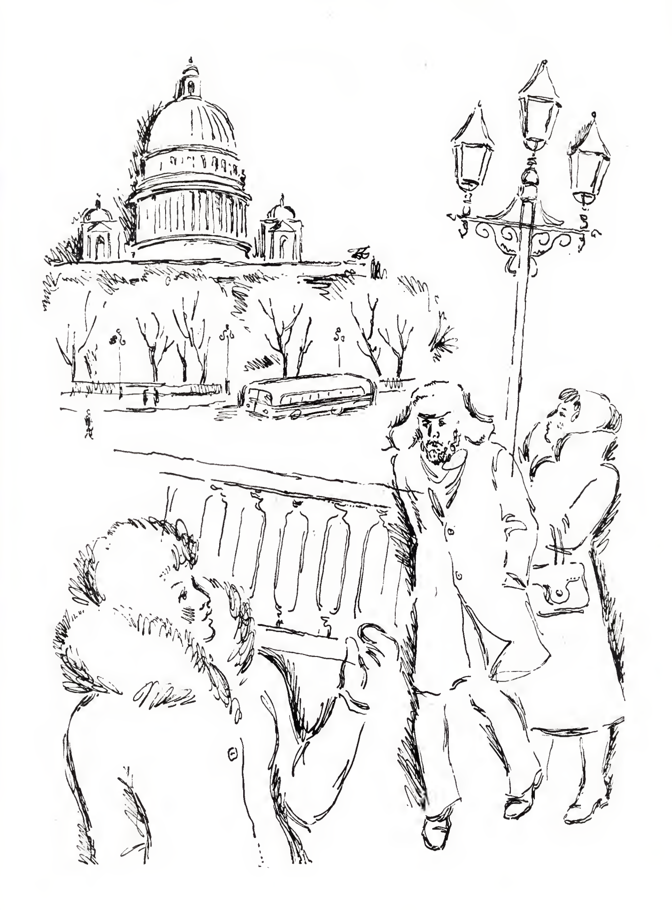
— Ничего особенного. Просто некоторые ушли из театра.

— И это «ничего особенного»?

— Конечно. Большинство-то осталось.— Марине явно хотелось уйти, но завуч ее не отпускала.

— Вы думаете, ничего страшного не случилось?

— Да. Я не хочу, чтобы они возвращались. Они не имеют права вести себя так, будто никому и ни в чем не обязаны.



— И?

— Ирина Васильевна, я не хотела говорить об этом сегодня. Но раз получилось, послушайте, с чего все началось.

Чтобы не мешать дежурным, которые пришли натирать в коридоре пол, они с завучем отошли к окну. Там и стояли: две фигуры в углу большого, широкого коридора. Было тихо, только шуршали щетки о паркет.

— И вы считаете, это началось из-за лени? Они не хотят серьезно работать, изучать историю театра? — оперлись о подоконник рукой, спрашивала Ирина Васильевна. Марина кивала.

— Пожалуй, насчет Димки вы правы. Он действительно больше всего любит внешнюю сторону. Но Шурик? Не думаю.

— Шурик? Он играть не умеет, а хочет быть первым,— обиженно хлопала глазами Марина.— Первыми не делают, первыми становятся. Я зря сделала его директором. Он говорит, что я вижу в театре только саму себя. Что у меня слишком много патетики,— вырвалось у нее. Теперь Ирина Васильевна будет ей сочувствовать.

— Нет, Марина Львовна, вы не только себя хотите видеть в театре. Но, к сожалению, иногда это у вас не получается.— Ирина Васильевна улыбалась. Так трудно говорить, когда от тебя ушли, покинули тебя, а она, всегда такая тонкая, не принимает это всерьез?

— Вспомните, почему ушел из театра Коля Горошкин.— Ирина Васильевна продолжала улыбаться.— Это случилось до того, как они не явились в библиотеку.

— Он сказал, что занят: художественная школа, научное общество при агрофизическом институте.

— И вы этому поверили? Знаете, что он мне сказал? «Марина Львовна читала сценарий «Наш марш», и мне что-то показалось так скучно»,— Ирина Васильевна осеклась.— Марина Львовна, что с вами?

— Ничего,— замерев, сказала Марина. Надо было как-то скрывать свое отчаяние: о н а ее не понимала.— С «Нашим маршем» я ошиблась. Это правда, его не надо было ставить. Но почему они...— обида так и рвалась наружу.— И Коля ваш и эти, почему они не прощают мне никаких ошибок? Я же ведь тоже человек. Говорят, что я им не хочу давать ключи от зала.

— Марина Львовна, не надо. Я знаю, мне тоже приходилось пережить это. Столько им отдаешь, и вдруг они не такие, какими бы хотелось их видеть. Обидно, правда? — Ирина Васильевна решительно взяла ее за руку.— Но, Мариночка, поймите, их интересы не могут замыкаться только на вас. Вы говорите, зачем они бегают, гоняют бессмысленно мяч...

— На улице я еще допускаю. Но почему перед репетицией, в зале? — оправилась Марина.

— Почему, ожидая вас, они не могут посидеть, порассуждать о поэзии — да? Вы хотите быть у них единственной, самой первой. А для них вы все-таки только еще одна учительница — интересная, умная и, между прочим, не очень добрая.

— Недобрая? Может быть. Но, Ирина Васильевна, что я им сделала? Попросили знакомые, и для них написала сценарий о первых пятилетках. Да, в клубе его не взяли, а мне жалко было выкидывать. Но в клубе не взяли «Наш марш» не потому, что он скучный. Им не понравилось другое.

— Вы думаете? Когда смотрела, у меня, признаться, разболелась голова. Жаль, что я вам этого сразу не сказала. Даты, цифры, марши, построения в виде шестеренки, построения в форме террикона — ничего другого там не было.— Ирина Васильевна собиралась с мыслями.— Уж если вы взялись, разве нельзя попытаться сделать какую-нибудь инсценировку. Есть же хорошие книги! А сейчас? Ребята правы. Там было слишком много маршей и слишком мало мыслей.

Она никак не понимала, что Марина пы-та-лась переломить содержание формой... Ну, да ладно.

— Ирина Васильевна, хорошо. Потом у нас был другой спектакль — «Монологи». Он вам так понравился.

— Да, прекрасный был спектакль.— Ирина Васильевна отвернулась к окну.

— А-а-а-а-а,— вдруг как угорелый сорвался с места и вихрем понесся мимо них в сторону лестницы освободившийся от натирки пола дежурный класс.

— В рекреацию, ребята, в рекреацию. Нельзя шуметь. Идут уроки,— останавливала своих обезумевших учеников дежурная учительница. Как здесь говорят: не коридор — рекреация. Первая школа, где Ирина Васильевна слышит это слово, а работала в трех. Она обернулась. Размахивая над головами щетками, стадо дикарей продолжало нестись в сторону лестницы.

— Ирина Васильевна, но почему они ушли, что я им сделала? — не обращая внимания на шум, спрашивала Марина.

— Не знаю. Я думаю, вы, Мариночка, еще слишком высокомерны с ними.

Надо было все-таки успокоить этих человекообразных. Ирина Васильевна вся подобралась, оправила кофту и с суровым, казенным лицом двинулась вперед.

— Что вы имеете в виду? — продолжала сзади Марина.

— Некоторую вашу недемократичность. Демократия,— вы очень любите это слово,— Ирина Васильевна остановилась. Там продолжали орать бледнолицые, а здесь, прислонившись к подоконнику, молча стояла эта большая обиженная девочка с дамской сумкой у колен. В конце концов дежурная и сама справится. Ирина Васильевна вернулась к Марине.

— Признайтесь, вам и сейчас не нравится работать с трудными,— сказала она.

— Но они-то не трудные.

— Все ребята, когда с ними происходит конфликт, трудные. Первыми не делают, первыми становятся. Вы, Марина Львовна, говорите это и о директоре театра Шурике Жемчужникове и о двоечнике Кутепове из пятого класса.

Какие были у Ирины Васильевны мягкие, бархатистые интонации. Какой задумчивый взор!

— Да, я с ребятами на равных, а по-другому мне скучно. Это то, почему из меня учитель никогда не получится,— выпалила Марина.

— Учитель из вас уже получился. Даже заместитель директора по воспитательной работе.

— На полставки.

— Да, а терпимости для этой работы у вас не всегда хватает. Беспощадность. Трудно простить неспособность. Взять того же Шурика. Пусть он плохой актер. Но он пишет хорошие сочинения. И сценарий у него мог получиться интересным. А он даже не хочет вам его показывать. Надо быть проще.

— Не умею, не хочу, не буду! — Марина так ценила Ирину Васильевну, а она... учит! Учит и только.— Проще? Демократичнее? Может, мне вообще только с неспособными и возиться? Как ваша Нина Васильевна, да? Но из всех сильных учителей это единственный учитель, который умеет с неспособными. Она да еще вы,— Марина задумалась.— Ирина Васильевна, интересно, почему так, что слабые учителя обычно любят слабых учеников? Чем

слабее учитель, тем охотнее он работает со слабыми.

«Все-таки очень интересно она мыслит». Ирина Васильевна смотрела на занятую своим открытием Марину и не знала, что ей ответить. Слабые учителя любят слабых учеников потому, что ни те, ни другие не умеют мыслить. Марина Львовна — сильный учитель, ей нужны единомышленники: Коля Горошкин, Шура Жемчужников. Но для них она недостаточно демократична. Коля не хочет играть в плохом спектакле, даже если его сценарий написала сама Марина Львовна. Шурик вообще плохой актер. Они не слабые, и Марина Львовна их за это любит, но они слишком для нее трудные. Чем тут может помочь Ирина Васильевна?

Марина уходила из-под ее влияния. Уходила так, как от самой Марины ушли сначала Коля Горошкин, потом Шура Жемчужников, Дима Напастников. Быть единственной, неповторимой, самой первой? Ирина Васильевна давно знала, что это невозможно,— опыт. Марина Львовна очень увлекающийся человек, она не может с кем-то долго дружить. Зря Ирина Васильевна не могла сдержать сегодня своей улыбки, нельзя было дать почувствовать, что иногда ей трудно принимать Маринины трагедии всерьез. Столько сил, столько времени вложила она в свою ученицу, а теперь наступила пора прощания! Никогда ученики не бывают точно такими, какими бы хотелось их видеть. Обидно, правда?

— Ладно, Марина Львовна, мы еще потом поговорим. Хорошо? Звонит звонок, пора на урок.— Ирина Васильевна взяла с подоконника тетради, указку, портрет Достоевского. Надо было собраться с мыслями, отойти от случившегося на некоторое расстояние, охватить в целом, а потом говорить. Как бы это сделать, чтобы Марина Львовна не совершила ошибки и не ушла вдруг из школы? Прекрасный ведь она для школы человек, идеальный, почти идеальный. Если бы все учителя были такими глубокими людьми... Да, Марина Львовна — прирожденный учитель, говорил сегодня директор Адольф Иоганесович. А конфликт? Растут дети, растет и Марина Львовна.

Ирина Васильевна ушла, а Марина осталась. Ей было не по себе и снова хотелось что-то сказать, доказать Ирине Васильевне. Но что? Она сама четко не знала. Просто это должно было кончиться както не так. И Марина продолжала растерянно стоять возле окна.

— Что это вы, Марина Львовна, задумались? — вдруг услышала она рядом с собой голос директора.

— Я? Знаете, у меня в пятом классе так интересно. Никак не понимают горе Герасима, говорят, что он злой.

— Да? — Он минуту помолчал.— Тогда вот что: пойдемте-ка в буфет чай пить.— Решительно, быстрыми шажками Адольф Иоганесович двинулся в сторону лестницы. И откуда он взялся? Да еще чай пить, надо же! Марине совсем не хотелось сейчас слушать проповеди директора.

— Это конфликт между вами, выросшей, и ребятами, которые продолжали воспринимать вас как старшую подругу. А вы уже не хотели быть подругой, вы стали учителем,— помешивая в стакане, высказывал свои мысли Адольф Иоганесович.— Я думаю, дальше таких бурных переживаний не будет. Я считаю, что ребята, перегорев, признают вашу ведущую роль. Это ваша победа, большая победа, что большинство ребят осталось.

— И театр у нас остался,— кивала Марина.

Какой, оказывается, умный, проницательный человек Адольф Иоганесович! У каждого есть свой путь, и этот свой путь Марина хорошо чувствовала. Если уж быть учителем, то надо вести ребят за собой. Слова директора — самое правильное, что она слышала по поводу своей истории. Оказывается, Марина слишком мало его ценила. Адольф Иоганесович! Ах, Адольф Иоганесович!

Веселостей лишася,
Веселием горю;
Бедами отягчася,
В бедах утехи зрю,—

писал Поэт.

II. Ну, прости!

(От автора)

Когда я приехала в Ленинград, в школе на Гражданке был праздник. Вешали стенды, бегали ребята с словыми гирляндами, пробовали микрофон. Чтобы не мешать, я решила пока посмотреть школьную газету. Она висела как раз напротив актового зала. Пыталась угадать, что здесь написано учениками Марины, и, как потом выяснилось, не ошиблась. «Школа в селе Грузино, куда мы ездили с шефским концертом, просто прелесть: чистые рекреации, всюду цветы, красота, благоразумие». Кто еще мог так выражаться?

— Дружина, к построению на торжественную линейку при-готовить-ся! — раздалось из репродуктора.— К выносу знамени стоять смир-но!

Застучал барабан. Мимо по коридору к дверям зала проплыло знамя, за ним барабанщик в новеньком галстуке, за барабанщиком — девочка с закинутой в салюте рукой.

— Привет нашему дорогому го-стю!..

Отирая затылок платком, в зал прошел генерал с синими лампасами. Раздались рукоплескания.

— Ну как они? Хорошо несли знамя? — подошла ко мне Марина. До этого мы с ней никогда не встречались, но уже давно переписывались.— Скорее в зал, а то ничего не увидим!

Мы сели у входа, на последнем ряду стульев. Отсюда хорошо было видно и одетых в белые рубашки ребят, и раскрасневшуюся пионервожатую с микрофоном в руке, и генерала на сцене. Он как раз начал свое выступление. Марина быстро вытащила из сумки очки и, протерев, посадила их на нос. Затем уткнулась в происходящее.

— Что за безобразие? — подпрыгивала она на стуле, когда барахлил микрофон.— Почему Тюков его как следует не наладил?

Пять лет получала я полные переживаний Марининь письма (сначала еще студенческие), статьи, эссе, стихи в стихах и стихи в прозе и представляла ее себе не совсем такой. Она должна была бы быть тоньше в талии, быстрее в движениях. А тут строгий голубой костюм, облегающий крупную фигуру, старинный кулон, квадратные очки в тонкой оправе — да, это была настоящая учительница. Гораздо больше учительница, чем я предполагала. Наконец линейка закончилась. Сказав несколько слов пионервожатой, Марина тоже освободилась. Оказывается, она сегодня утром опоздала, и девушке пришлось работать за двоих: репетировать шаг со знаменосцами, менять ведущего. Утром Марина была на похоронах руководителя литературного клуба «Дерзание». Она хоронила человека, которому когда-то, еще школьницей, приносила первые статьи о своих поэтах, первые стихи.

— Никак не могу прийти в себя. Ему было только тридцать восемь.— Марина медленно убрала в су-

мочку очки и задумалась.— Я никогда раньше не чувствовала, как летит время. Все наши там были. Мы его так любили!

Она тряхнула головой, и мне стало видно, как она устала, и как трудно ей говорить, и как хочется домой. Мы решили встретиться завтра. С утра, благо, это будет воскресенье, Марина покажет мне город.

— Прожить полжизни и ни разу не побывать в Ленинграде? — Прощаясь, она укоризненно покачивала головой.

На другой день утром, точно в девять, Марина была у входа в гостиницу. Ее большая, в ярком малиновом пальто фигура сразу бросалась в глаза. Рядом, притопывая, стоял худенький, с бородкой, молодой человек.

— Игорь, художник, студент последнего курса. Очень хорошо знает город,— представила его Марина. Игорь держался спиною к ветру, но это не помогало, было очень холодно.

— Давайте начнем с улицы Росси. Классическая простота и одновременно такая возвышенность.— Марина кутала нос в пушистый, из серого песца воротник.

— Но почему не с Растрелли? — подпрыгивал художник.

— Потому что твой Растрелли, по-моему, провинциален. На его зданиях слишком много завитушек. Нет строгости.— Она глубже натянула серую шляпу и решительно потащила нас вперед. Шляпа у Марины тоже была из песца. Обилие песца (она называла его недопеском: ни белый, ни голубой) делало ее представительной дамой. Только развевающиеся на ветру брюки клеш несколько скрадывали эту представительность.

В городе стало совсем пасмурно. Ветер усилился, полетел мелкий колючий снег. Все мы быстро замерзли. Но Марина продолжала тащить нас вперед, лишь шляпу натянула еще глубже на уши. От улицы Росси она шла к Медному Всаднику. И это длилось уже более двух часов. Лицо у нее посинело, голос охрип, а она словно не замечала, все показывала и говорила, шла как ни в чем не бывало — через огромное, забитое снегом Марсово поле, в центре которого горели кирпичным цветом фонари, мимо облупленного, обдуманно неприметного здания Третьего отделения.

— Собственной Его Императорского Величества канцелярии,— презрительно бросала она.— А, между прочим, рядом с этим полицейским участком, в доме Николая Тургенева, Пушкин написал свою оду «Вольность».

Одной рукой Марина прикрывала от ветра лицо, другой указывала дорогу. Людей вокруг было мало. Ветер стал еще сильнее. В рукава, за воротник, в ботинки набивался и медленно таял там снег. Надувались пальто. Наконец, замерзшие, мы, казалось, уже не шли, а летели.

— И все-таки это прекрасно! В такую погоду особенно ясно видно, чего стоил этот город. За-мы-сел Пет-ра,— размахивая руками и песцами, летела впереди нас Марина. Она выглядела очень сильной. Не только нас, но и целую свою школу, наверное, могла утащить сейчас за собой. Терла щеки, отряхивала с воротника и шляпы снег, но не бросала своего замысла: к Всаднику надо прийти через весь начатый им город. И вот мы пришли. Застывшие в воздухе копыта. Пятна на Всаднике, медь зеленеет от времени. Стремительно простертая вперед рука. И ни души рядом. Кому охота гулять в такую погоду?

— Посмотрите, какое небо! — придерживая шляпу рукой, запрокинула Марина голову.— Серые, зеленые, с голубизной в разрывах, посмотрите, как мчатся над городом эти холодные тучи! Представьте, как це-лый день стояли вот на таком ветру декабристы. Из шести орудий ударил огонь. Появились раненые. Несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, другие ползли. Некоторых из добравшихся на тот берег, говорят, втащили к себе на двор кадеты. На той стороне реки был Первый петербургский кадетский корпус. Мальчики пытались помочь раненым, делали им перевязки, добыли на кухне еду. Но на другой день раненых у них забрали. Глухая была пора.

Она замолчала. Скованная льдом, лежала впереди Нева. За ней сверкал шпиль Петропавловской крепости.

— Итак, через город мы пришли к Петру, а от Петра к декабристам. Экскурсия закончена.— Теперь Марина улыбалась. Она не могла просто показывать. Она нас учила, как на уроке. Даже ветер и тот использовала в своих целях.

— А как вы думаете? Каждому уроку должно соответствовать все, даже одежда,— говорила она.

Мы сидели в кафе и блаженствовали. Тепло, народу немного, официантка вежлива, обед горячий. На столах горят разноцветные лампы, синие, красные, лиловые. Что еще надо?

— Когда в восьмом классе я вела Пушкина, обязательно надевала на уроки то шаль, то кулон с прозрачным камнем, то блузку,— продолжала свою мысль Марина.— А когда мы говорим о трагической любви и тому подобном, я бываю в строгом платье с закрытым воротником.

— Стоячим? — спросил художник.

— Да, стоячим. Ты его знаешь, то, черное.— Осторожно дуя на ложечку, она пила кофе.— Конечно, у меня бывали и накладки. Например, я говорю ребятам про голубой цвет в стихах Блока. Цвет надежды, дороги, дали. Цвет, который много обещает и мало дает. И вдруг слышу смех на последней парте, где сидит Ирина Васильевна с методистом.

— Понятно, ты была в голубом,— заметил художник.

— Нет, на мне была серая юбка, серая кофта и голубой шарфик.— Разведя перед лицом руками, она показала, как он был завязан. Мы засмеялись.— Завтра у меня факультатив по искусству Древней Греции, и я опять буду в черном платье.— Марине явно нравился этот разговор.

— А почему не в белом? — рассеянно спросила я.— В Греции носили белые туники.

— Как вы угадали? — оживилась она еще больше.— Я давно мечтаю сшить себе тунику. Только не белую, а голубую. Голубую тунику из голубого нейлона.

— Тунику из нейлона? — спросил художник.

— Но ведь не из крепдешина же! — Марина подумала.— Креп-де-ши-новая туника. Нет, не звучит. А нейлоновая в моем стиле. Она будет у меня легкая-легкая.

— Учительница в нейлоновой тунике,— сказал художник.

— Нет, я не хочу быть учительницей. Я хочу быть режиссером, который ставит на уроках спектакли.

На следующий день мы опять встретились с Мариной в школе. Уроки кончились. Дежурные убирали оставшиеся от субботней линейки еловые гирлянды. Натирали полы, вешали на стену новый выпуск газеты. На блестевших свежим глянцем фотографиях видно было и генерала на сцене и приподнявшуюся над своим стулом Марину — «Микрофон сломался!»

— Как они плохо снимают. Всегда схватят в самый неподходящий момент,— отвернулась она от газеты.— Пойдемте лучше ко мне.

Прижав к боку пачку тетрадей, Марина вела меня в свой кабинет. Где еще можно уединиться в школе?

— Там в футбол гоняют, а мы репетируем. Ужасно мешает,— распахнула она дверь одного из классов. Это и был ее кабинет, рядом с физкультурным залом. Здесь Марина занималась со старшеклассниками литературой, и здесь же стоял шкаф с ее любимыми книгами по искусству, висел портрет ее любимого режиссера Мейерхольда и фотографии сцен из ее любимых спектаклей. Марина села за стол, я — на первую парту перед ней.

— Ну как, ничего? Мы хотим сделать здесь нечто вроде малой сцены для диспутов, просмотров.

Сегодня она была в черном, очень идущем к ней платье со стоячим воротником, том самом, которое обещала вчера надеть для Древней Греции,— высокая, стройная, действительно словно сошедшая со сцены. Если бы только не потрепанные тетрадки у нее на столе и не заляпанная мелом доска.

— К детям надо идти от доброты, ласки, от того, что ребенку хочется, а мы часто идем от принуждения — должен!

Она стала проверять тетради. Что-то подчеркивала, удивленно вскидывала брови, ставила крючки.

— Как здорово было в школе у Сухомлинского! Когда у него происходил с ребятами конфликт и они были недовольны, дети ставили в вазу фиолетовую хризантему.

На серой, в кляксах промокашке она нарисовала вазу и в ней большой цветок. Я вспомнила тунику.

— А если бы они ставили зеленый кактус?

— Кактус? Нет, не звучит,— она не обиделась, но и не улыбнулась.— В школе все должно быть красиво. Это же страна Детства! Ребята ежедневно должны открывать в нас необычное. Между прочим, меня и в школе за это не любят: необычное.

— А Ирина Васильевна, а Адольф Иоганесович?

— Ирина Васильевна? Ну что вам сказать про Ирину Васильевну? Сначала была Коммуна Юных Фрунзенцев, туда еще иногда ходила со мной мама, потом клуб «Дерзание», это уже более серьезное увлечение, потом институт: Альфонсов, Западов, потом она.

— А потом Адольф Иоганесович?

— Нет, с Адольфом Иоганесовичем проще. Меньше личного. Он для меня идеал трезвости! А Ирина Васильевна была кумиром. Но вдруг я увидела ее обычность и, нет, не разочаровалась, я и сейчас люблю ее, но...— Марина подумала и решительно добавила: — У нас с Ириной Васильевной произошло то же, что и у ребят, ушедших из театра, произошло со мной. Я сделала их разборчивыми людьми и сама пострадала от их разборчивости.

Она упрямо уткнулась в свои тетрадки. Их надо было проверить до Древней Греции.

— Что вы имеете в виду? — спросила я.

— Спектакль «Наш марш». Ребят надо уважать. Они не обязаны делать то, к чему ты сам не относишься серьезно.

— Но при чем тут Ирина Васильевна? Она ведь говорила то же самое.

— Да, но мне хотелось, чтобы она не так говорила,— смешалась Марина.— Она слишком учительница.

— А вы? Что это вы говорили сегодня на уроке насчет золотых цепей?

— Которые я буду для них заказывать? В шестом классе? — Марина улыбнулась.— Это значит: дуб дубом, только золотую цепь на тебя повесить. Лукоморье-то Пушкина они проходили, должны уметь использовать. Я вообще-то могу и закричать: «Брось эти дурацкие штучки!» Знаете, к этому так легко привыкаешь.

— Но ведь ребята на вас за это не обижаются.

— Вы полагаете?

— Не знаю, у меня было мало хороших учителей.

— А у меня были. И в школе, и в клубе «Дерзание»,— Марина задумалась.— Только чем я делаюсь старше, тем больше мне их делается жалко. Все они так уставали. Тридцать восемь лет одному из них было... И вот уже его нет. С ним ушел целый этап в моей жизни. Пока он был, это время было еще рядом: зайдешь к нему в клуб, и опять девочка. Да, никогда я не думала, что мне придется заниматься вот этим,— показала Марина на тетрадки.— Хотя... Как-то в том клубе у нас был диспут «О преподавании литературы в школе». Мы вовсю ругали учителей. А потом встал приглашенный на этот диспут методист из института усовершенствования учителей — старенький, с усиками. Встал и говорит: «Правильно, литературу преподают вам плохо. Вы способные, умные, эрудированные — да. Но учителем-то никто из вас не станет». И правда, никто из наших ребят в школу не пошел.

— А вы?

— Нет, этот диспут, конечно, ни при чем, но все-таки. Старенький, с усиками... Сейчас мы ставим новый спектакль: «Люблю и ненавижу», «Ты и вокруг тебя» — другое название. Ребята сами пишут сценарий. Какие у тебя в жизни интересы? Считаешь ли ты своих родителей несовременными? Это они предлагают такие темы. Ужасно интересно! Как ты относишься к общественной деятельности? И рядом — почему нельзя бегать на переменах?

Марина достала из сумки папку с разной формы листочками и читала теперь эти листочки.

— Я их верну, обязательно верну в театр. И Шурика и Колю Горошкина. Они посмотрят этот спектакль и вернутся. Если... если я не уйду из школы.

— А вы еще собираетесь уходить? — спросила я.— Когда я была на уроках, мне так хотелось у вас учиться.

— Да, театр, мои уроки, ребята — это единственное, что меня тут держит. Они ведь такие, просто прелесть. Смотрите.

В это время распахнулась дверь, и в кабинет влетел Вася Тюков. В руках у него болтались коньки с большими хоккейными ботинками, волосы еще были мокрые от снега.

— Марина Львовна, я не опоздал?

— Нет, но почему ты в таком виде? Иди, скажи ребятам, что я сейчас освобожусь.

За дверью раздались голоса. Хором тонкие голоса девочек, и среди них гулко бас Васи Тюкова: «Почему, говорит, ты в таком виде?» Марина смеялась. В черном платье со стоячим воротником она должна была сейчас вести занятие по Древней Греции.

— Не уходи из школы,— сказала я.

— Может быть. Но я так мечтаю о свободном времени, когда можно будет засесть и писать то, что хочется,— телесценарий, например. Ведь это моя мечта — телевидение!

— А ребята? А Ирина Васильевна?

— Да, и Ирина Васильевна. Я не знаю. Я так хочу во всем разобраться. И с Ириной Васильевной тоже. Мы с ней родственные души — может быть, поэтому нам и трудно?

— Не уходите,— сказала я еще раз.

— Не знаю. Я подумаю.

— Марина Львовна! — В класс ворвались не желавшие более ожидать ребята.

> Но, ах, я еду... льзя ль снести?
> Я еду... мучусь я... я еду... ну.. прости!

— писал Поэт.



ГАНС ЭГГЕРТ

КАМАЗ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ

Гость «Юности», корреспондент немецкой молодежной газеты «Форум» (ГДР) Ганс Эггерт, в конце прошлого года совершил поездку в Казань и на КамАЗ. Предлагаем отрывок из его путевого очерка, который печатался в двух номерах «Форума».



ПУБЛИЦИСТИКА

Набережные Челны — старый город, но старого уже почти не сохранилось. Это я увижу немного позже. Мы совершим короткую поездку по старым Челнам — своего рода визит вежливости. Мы даже не остановим наш микроавтобус, когда будем проезжать мимо отживших свой век деревянных домов, которые пойдут на снос. Это не имеет смысла. Но это будет завтра, а пока мы едем с аэродрома. В переполненном автобусе слышна не только русская речь: говорят по-грузински, по-узбекски, по-татарски. В Челны приезжает молодежь со всего Советского Союза, чтобы строить КамАЗ.

Мы идем по главной улице к городскому комитету комсомола. Целые кварталы жилых домов. Слева еще виден лес, а в некоторых местах проглядывает степь. Ляйла Валидова, секретарь горкома комсомола, не удивлена нашим визитом. Может быть, сюда всегда приходят так же, как мы, без предупреждения. Ляйла заканчивает несколько телефонных разговоров и только потом выслушивает мою просьбу. Неожиданно возникает Тамара, она будет нашим гидом в Челнах. Двадцать минут на дела организационные. Ляйла — молодая красивая татарка — руководит комсомольской организацией, которая насчитывает 26 тысяч членов. Такой эта организация стала за два года; она увеличивается каждый день. Несколько минут мы проводим у секретаря горкома партии. Тут на гражданина ГДР Эггерта выливается целый дождь удивительных цифр. Каждый день сюда приезжает до 500 строителей со всех концов Советского Союза. Их надо разместить, обеспечить спецодеждой, им надо дать работу.

В новой части нашего города Галле, которая существует уже почти девять лет,—65 тысяч жителей. Новые Челны моложе, а живет там уже больше ста тысяч. За последние два года здесь выстроены квартиры для 35 тысяч жителей. Когда будет пущен автозавод, число жителей города превысит триста тысяч. Это будет в 1974 году.

В новой части Галле за девять лет выстроен один кинотеатр. В Челнах уже сейчас открыто три (Тамара не берется сказать, сколько будет построено еще). Открывается Дворец культуры, скоро будет готов детский театр, уже построен кукольный театр. Здесь будет стадион на 60 тысяч человек, а на днях будет пущен трамвай. Меньше чем через десять дней. А пока не видно электропроводов, в беспорядке лежат бетонные плиты... Мной овладевает сомнение. «Трамвай пойдет»,— говорит Тамара. Я бы с удовольствием задержался в Челнах, чтобы увидеть своими глазами, пойдет ли трамвай в срок. Город они здесь уже построили, город, который я не могу сравнить ни с одним другим, и трамвай у них тоже будет.

После ужина идем в общежития строителей. Парни и девушки живут в комнатах на двух-трех человек, без излишнего комфорта. Это естественно. Конечно, есть читальные залы, есть красный уголок, где стоит стол для президиума, покрытый тяжелой красной скатертью, и довольно внушительных размеров графин с водой... У парней красный уголок сегодня переоборудован — это слышно уже издалека: там танцы. Едва мы входим в комнату, нас оглушает музыка. Три гитары, ударные инструменты, электронный орган. Не прекращаясь ни на минуту, звучит бит-музыка, и резиновые сапоги отбивают такт. Музыка мне знакома, а вот это я вижу впервые: два ряда стульев (друг против друга), у одной стены — парни, у другой — девушки. Это пока. Между стульями танцплощадка 3 на 6 метров. Хихиканье, парни не трогаются с места. «У нас не концерт, мы играем, чтобы танцевали!» — объявляет шеф группы. Конечно, он в резиновых сапогах, с длинными волосами, правда, не до плеч. Два месяца назад он приехал из Казахстана, работает монтером. Ударник этой группы здесь уже десять месяцев, он приехал из Москвы. Свою программу они составляют, слушая пластинки. Играют три раза в неделю.

Вдруг выясняется, что я должен танцевать. Тамара и Вахтанг, мой переводчик, не оставляют меня в покое. Я должен танцевать и произвожу, наверное, довольно смешное впечатление. Здесь не каждый день бывают иностранцы. Совершенно не щадя меня, Тамара танцует со мной. Я вижу, как некоторые ухмыляются. В конце раздается что-то вроде вежливых аплодисментов. После этого атмосфера становится более сердечной. На память об этом вечере мне дарят две книги, разумеется, с надписями. Меня спрашивают о бит-музыке в ГДР. Тут я чувствую себя немного увереннее. Рассказываю о неделе танцевальной музыки, которую проводил Союз свободной немецкой молодежи.

Но мон собеседники лучше звают венгерскую и польскую бит-музыку.

Комеидант общежития и его заместительница показывают мне еще несколько комиат. Я спрашиваю, есть ли здесь парнн, которые проводят свое время на углах улнц или в темных подворотиях. Таких в Челнах, оказывается, нет. Свободвого времени здесь у молодежи достаточно, но его берегут. История прежних крупных строек иаучила: в общежитиях должиы работать клубы и работать самостоятельио, без руководящих указаний, вроде: обязательно делайте так, а ие эдак! Раз в году в общежитии нзбирается новый клубный совет, а старый отчитывается. Рассказывают, что зти выборы проходят очень бурно...

В Челиах пока еще не хватает кафе и ресторанов. Они были построены, но их фуикции изменились: столовые оказались важнее. Питание в них дешево, поэтому туда отправляются ужниать целыми семьями. Это непостнжимо для жителя ГДР, который после конца рабочего дня вливается в поток покупателей, чтобы затем накрыть свой стол за запертой дверью квартиры. А для меня до сих пор удивительио н иепривычно то, что совершенно чужие и незнакомые людн через минуту уже могут оживленно разговаривать друг с другом о чем угодно: о своей семье и о мире. Через минуту они уже называют друг друга по именам. Может быть, это черта национального характера? Но в Челнах живет 60 национальностей, и ннгде, где бы я ни был в зтой стране, я не встречал людей только одной национальности. А может быть, это путь к коммунизму?

Утром осматриваем КамАЗ. Скользко на иеасфальтированных дорогах, скользко и на дорогах, покрытых асфальтом. Гололед, снег, холод. Вахтанг забыл в Москве свою шапку — ему прндется плохо. Сейчас КамАЗ закрыт от нас снежной завесой. Краны похожи на высохшие деревья. Человеку постороннему кажется, что здесь царит страшный хаос. Подавляет грандиозиость размеров. Страшно, должно быть, руководить таким строительством — ведь стройплощадка тут величиной в 70 квадратных километров. Трудно себе представить, что все эти сотни кранов, зкскаваторов, скреперов собраны здесь с одиой и той же целью — чтобы построить КамАЗ.

Наш микроавтобус застревает посреди чистого поля. Эта штука не слишком прнспособлеиа для поездок по полю без дороги. Теперь мы все дружно толкаем автобус. С вязкой почвой трудио справиться. Мы могли бы вернуться назад н сделать небольшой крюк. Но у водителя есть профессиональная гордость — он все-таки добивается своего.

Первый строительиый участок — металлургический завод комбината. Здесь будут работать 15 тысяч человек. Буна (промышленный гигант ГДР), кажется, как раз рассчитана на 19 тысяч человек. Буиа, построеиная почти за три года, здесь была бы только частью всего зтого комбнната.

Бетона здесь не видно. Стальные секцин монтируются вне стройплощадки (некоторые весят 50 тонн!), а потом, мие рассказывают, скадываются, как мозаика. Это хорошее сравиеиие. В поле нашего зрения появляется ремонтно-инструментальный завод. Здесь контуры видны уже более отчетливо. И не только потому, что пе-



...Трудно себе представить, что все эти сотни краиов, экскаваторов, скреперов собраны здесь с одной и той же целью — чтобы построить КамАЗ.

Фото Г. КОПОСОВА.

рестал падать снег. Цех (400 метров в длину и 100 метров в ширину) уже готов. Он закончен за 57 дней. Скоро начнут монтировать ставки.

Мы читаем стихи в стевной газете прямо посреди этого шумного и пыльного цеха. Они называются: «Трамвай в Челнах». Там есть такие строки: «Самых красивых девушек в Челнах мы возьмем в первую поездку...» Стихи среди стальных кранов. Кто эти люди, которые здесь работают? Волшебники они или мастера? Бригада Дергача работает в другом конце цеха. Целый час я задаю членам бригады вопросы. Но можно ли за это время узнать людей? Вглядываюсь в их лица: совсем молодые парни. Вот волевое и решительное лицо, а этот еще совсем мальчик. Все в толстой ватной одежде. Девушка в пушистой меховой шапке, очень хорошенькая. Она портниха из Смоленска. А теперь она водит один из катков. Выкрашенные в зеленый цвет, эти катки похожи на лягушек. Портниха на КамАЗе? Конечно, она здесь больше зарабатывает. Но дело не в этом. Такая стройка овеяна романтикой. Я задаю вопрос насчет зарплаты. Но кровельщики (они же и паркетчики) обрывают меня. «Дело не в зарплате,— говорят они мне,— дело в работе». Вот этот парень из Подмосковья, он не остается на КамАЗе надолго: КамАЗ скоро будет построен, а в этой стране повсюду есть стройки. Он поедет и на Север, этот москвич: «Здесь тоже зимой 35 градусов мороза, так что разница небольшая».

Бригадир этой бригады жеват. Сначала он работал на какой-то маленькой стройке, с 1968-го по 1971-й в Тольятти, а сейчас—здесь. Жена все время с ним. Ребенку два года. В Челнах они живут не в отдельной квартире, кроме них— в этой квартире еще два жильца. Разве они не мечтают о семейном уюте? Да, мечтают. Но это потом. А сейчас главное — завод. Все просто: я должен работать там, где я нужен. И, конечно, зарабатывать. Иногда больше, чем инженер.

Вопрос — ответ, вопрос — ответ. Я сваливаюсь, как снег на голову, задаю свои дурацкие вопросы, задаю их тем, кто на субботнике выполняет план на 200—250 процентов. Что вы делали вчера после смены? Как всегда. Я ходил в кино. Я играл в настольный теннис. Я ходил за покупками. Я спал. Как всегда. Есть ли у вас какие-нибудь желания (это касается занятий в свободное время), которые вы не можете здесь осуществить? Я могу заниматься здесь всем, чем хочу. Почему вы приехали сюда? Тольятти уже построен, и хотя стройки есть повсюду, но эта — особенная. И еще одно: этой стройкой руководит комсомол. О чем у вас шла речь на последнем комсомольском собрании? О том, что до конца срока осталось 57 дней, об этом мы и говорили...

Еще метров пятьсот мы проходим по цеху. С нами бригадир. Здешний хозяин — один из многих — вежлив, он провожает гостей до дверей. Это маленький худощавый человек, ему 28 лет. Выглядит он совсем не так, как иногда представляют себе человека его профессии: громадные ручищи, тяжелая походка. Я мог бы встретить его в коридоре московской гостиницы, и я никогда бы не подумал, что он строит этот гигант — КамАЗ. 130 тысяч человек будут здесь работать.

Ляйле тоже, наверное, лет 28. Ее отец был крестьянином в деревне под Казанью, а потом стал заведовать кафедрой в Казанском университете.

Ляйла Валидова — программист. Сначала средняя школа, параллельно музыкальная, потом Казанский университет, механико-математический факультет, несколько лет работы по специальности на одном из предприятий в Казани, и, наконец, она находит себя на посту секретаря комитета комсомола предприятия. В 1971 году на КамАЗе, чтобы руководить комсомольцами, потребовалась твердая мужская рука, и вот тогда и появилась здесь, в этой суровой местности, Ляйла — изящная, женственная. «Люди строят КамАЗ, КамАЗ делает людей»,— говорит она. О себе она рассказывает мало. А рассказывает, например, о бригадире Кузенцеве, который со своей бригадой добивается одного рекорда за другим (план ленинского субботника они выполнили на 300 процентов). Когда бригадир Кузенцев берет к себе новых людей, он объясняет им: вот так у нас работают, а безделья мы боимся, как чумы. Если хочешь работать с нами, тогда... Два года назад он со своей матерью и с пятью друзьями приехал на КамАЗ. Приехал, не закончив средней школы, не имея профессии. Но КамАЗ делает людей: через два месяца Кузенцев стал бригадиром. Три раза в неделю вечерняя школа. Сначала средняя школа, а потом профессиональное обучение. Это нелегко.

Я спрашиваю Ляйлу, много ли дел у милиции в Челнах. Да, даже очень много: паспорта, прописка, ведь более 500 новых людей приезжает ежедневно. Может быть, она не хочет меня понять? Я спрашиваю яснее, она понимает вопрос. 350 комсомольцев носят повязки дружинников (это и нам знакомо). Конечно, сюда приезжает много разных людей с разными характерами. Но здесь умеют соблюдать порядок.

КамАЗу нет еще и двух лет. КамАЗ — это комсомольская стройка. Это значит, что комсомол ответствен и за экономическую сторону этого огромного промышленного объекта. Есть твердые сроки. Их нельзя выполнить, работая спустя рукава. Первое, что здесь необходимо,— это порядок и дисциплина.

Следующий вопрос, которого мы касаемся в нашем разговоре,— это вопрос об алкоголе. «Сухой закон»,— говорят некоторые из тех, с кем я об этом беседовал. Здесь введена ограниченная продажа крепких спиртных напитков. Эти правила соблюдаются на КамАЗе так строго, как ни в одном другом месте. Ведь здесь очень много молодежи. Приехав сюда, молодые люди вдруг обретают большую свободу, ослабевает их связь с семьей. Конечно, нужно выработать определенные нормы поведения, но ведь существует много людей, которые до сих пор придерживались совсем других норм. Один из встреченных мною жителей этого города дружески толкнул меня и побрел дальше, нетвердо держась на ногах. Но этот человек — исключение. «Нужно бороться против этого»,— говорит Ляйла. И они борются.

— Здесь, в этой глуши, мы строим коммунизм. Это нелегкая задача.

Это говорит маленькая, изящная женщина, сидя за письменным столом. На следующий день я вижу, как она пробирается сквозь снежные сугробы. Я вижу: она здесь командует.

Перевела с немецкого
И. ЩЕРБАКОВА.



как себя найти?

*Меня зовут Виктор.
Я хотел бы задать вам один вопрос.
Когда я учился в школе,
то восемь классов кончил вполне хорошо.
Девятый и десятый класс я почти не учился.
Пока учился, раз десять изменял
выбор профессии.
В 1971 году окончил среднюю школу.
Поступал в строительный (отдал дань «моде»!).
Завалился на рисовании. Работал на заводе.
Потом решил ради интереса поучиться
в училище. Поступил на электрослесаря,
день проучился — перешел машинистом.
Хотелось каких-то новых ощущений.
В марте послали нашу группу
под предводительством мастера
в славный город Саратов.
Стали жить самостоятельно.
Дела шли вроде ничего себе,
если не считать
неустойчивого бюджета.
Но вот подошло как-то незаметно лето.
Сдали экзамены. И... одни сразу уехали домой
(я забыл написать, что жил на Урале
в городе Губахе).
Некоторые, в том числе и я,
остались. Почему остался?
Тогда казалось, что на то есть причины.
А сейчас подумаешь,
даже и неясно, почему.
Решил тогда заняться делом.
Написал рассказ.
Много ошибок и мало хорошего.
Сейчас опять пробую.
Нарисовал с десяток карикатур.
Разослал по газетам и журналам.
Ни ответа, ни привета.
Кидался из одной крайности в другую.
Хотел поступить в художественное училище.
Документы из Губахи не выслали.
Пришлось ехать за ними.
Пока ездил — экзамены кончились.
Стал ходить в секцию борьбы.
Не понравилось. (Впрочем, моя профессия
мне тоже не нравится.)
Была у меня подруга.
Но разошлись у нас взгляды на жизнь.
Теперь вот готовлю приемную работу
в Московский заочный народный
университет искусств. Но*

*все равно что-то тревожит. Что-то все нужно? А что? Не могу понять.
Да и с работой неладно. Работаю, стараюсь. Со стороны, если смотреть, вроде бы все нормально. А мне кажется, что это не моё место...*

*В общем, стараюсь.
Но все равно неудовлетворенность собой.
Вроде бы сидит внутри меня какой-то дух
и шепчет: «Иди, Витька! Ищи то, не знаю что».
Почему так бывает и как себя найти?
Ответьте мне, пожалуйста.*

Виктор Н.

Саратов.

Меня зовут Михаил. Я хотел бы ответить, Виктор, на ваш взволнованный вопрос. История, которую вы рассказали, напомнила мне мое детство, мою юность. Я не был похож на тех детей, которые в два года мечтают стать пожарными (в то время пожарные ходили в красивых медных касках, как римские гладиаторы), в пять лет хотят стать трубочистами, чтобы законно лазить на крышу, потом милиционерами, в десять — рыцарями из романов Вальтера Скотта, а окончив школу, идут учиться или работать туда, где легче и выгодней. В мое время куда как просто было поступить в какой-нибудь институт, и многие ребята моего поколения шли туда сразу после школы.

Моя судьба сложилась иначе. Я беспризорничал. Поздно научился читать. И у меня никогда не было желания стать чем-нибудь особенным. Я не знал, что искал. Я, как и вы, работал слесарем, токарем, сверловщиком, учился на вечернем рабфаке авиационного института. Но в этот институт, хотя тогда это было модно («Первым делом, первым делом самолеты...»), все же не пошел. А поступал на архитектурный факультет строительного института. Я думал, что умею рисовать,— мне иногда удавались портретные наброски. Но на первом же экзамене по рисунку я, как и вы, чуть не провалился. Подошел ко мне профессор, остановился позади меня и как рявкнет: «Молодой человек! Вы когда-нибудь любили? Разве это женское тело? Это доска!» Так я понял, что рисовать еще не умею, а что должен учиться.

Но, окончив институт, я так и не стал ни архитектором, ни художником. Много лет работал в разных газетах и только потом, уже взрослым человеком, может быть, нашел себя. Впрочем, я и сейчас не очень уверен в этом, хотя и написал два десятка книг. Но о чем я совсем не жалею,— это о том, что не знал сразу, чего хочу в жизни.

А кто знает, чего он хочет?

Во всяком случае, то, что было пережито,— добавьте сюда четыре года Великой Отечественной войны,— это и было настоящей жизнью, биографией, узнаванием людей и самого себя. И, когда мне впоследствии приходилось писать о рабочих ребятах или о матросах, мне не приходилось залезать в справочники и уставы, ибо все это было мне знакомо давно.

Я не знаю, кем вы станете, товарищ Виктор Н. Сколько больших звезд будет на ваших погонах или сколько книг вам удастся написать, какие картины вы создадите или какие машины изобретете и отладите. Но я чувствую, что вы хороший парень и будете хорошим человеком, потому что в вас живет жажда жизни, жажда нужного дела, жажда поиска, без которых невозможно созидание на Земле.

Киев.

С уважением М. ПАРХОМОВ.

А что ответят Виктору Н. те, кто думает иначе, чем писатель Михаил Пархомов!



СЕРГЕЙ СНЕГОВ

проблемы океана — океан проблем

Рисунок Иосифа ОФФЕНГЕНДЕНА.



Эка́я наука ходить и дышать! А если ходить не по чему да дышать нечем? Исследователи океана решают задачу вот с такими простенькими условиями. Вездесущая архимедова сила упрямо выталкивает тебя на поверхность. Почти все существа, обитающие на суше,— и ты, читатель, тоже! — имеют положительную плавучесть, иными словами, не тонут, пока живы, пока не нахлебались воды.

Для подводного «пешехода» с аквалангом за спиной невесомость приятна и непривычна. Свобода парения веселит душу. Поначалу так и хочется лишний раз ощутить свою ангельскую бесплотность. Затаив дыхание, зависаешь между переливающим зеленью и голубизной, пропускающим яркие солнечные вспышки небом и сочной, буйно обжитой землей. Никаких усилий, смотри в оба — вот и вся работа. Что если поднять тот внушительный камень? Нет, без опоры ничего не выйдет — только подтянешься к нему. Встаешь на дно. Вес взят, но серая пелена мути заволакивает окружающее. Несколько шагов вслепую — и нехитрый эксперимент окончен.

А каково работать под водой хотя бы на той же семиметровой глубине? Положим, геологу нужно добраться до коренной донной породы. Приналечь бы на ручной бур, а как — вернее, чем — приналяжешь? Действие равно противодействию. Третий закон Ньютона, попробуй обойди его!

Как и в космосе, невесомость под водой задает множество головоломок. Но в межпланетном пространстве лишается веса все: и работник и его инструмент. А на глубине, к примеру, массивная дрель все-таки упадет на дно да еще и водолаза за собой утащит. Выход один — оснастить ее неким поплавком, а самому прикрепиться к тому, что хочешь просверлить. Иначе дрель превратится в карусель.

В синем мире, непримиримо исторгающем человека, приходится учиться заново пусть не буквально ходить, так плавать (грубо говоря, все равно отталкиваться от земли или от воды), учиться самым несложным делам, вроде заколачивания гвоздей.

И все же эта проблема попроще, чем добиться того, чтобы под водой дышалось так же легко и непринужденно, так же само собой, словно на суше. Способности по желанию оборачиваться рыбой, наверное, суждено остаться мечтой фантастов, смелой, если не сказать даже шокирующей людское сознание идеей некоторых специалистов. Вживленные акульи жабры? Думается, лучше без них. Рискованно. Слишком тонка и замысловата гармония человеческого организма, на отладку которого у природы ушли многие и многие тысячелетия.

Пересечь границу «воздух — вода» и не потерять связи с родной атмосферой. Наверняка неведомые пионеры, додумавшиеся до этого, торопились опробовать первые модели шноркелей — дыхательных трубок, а попросту — камышинку или что-нибудь в том же духе. Их ждало разочарование. Десяток-другой сантиметров глубины — и дыхание стеснялось непомерно. Еще немного вниз — и легким уже не под силу набрать порцию воздуха.

Другой способ — прихватить с собой про запас кусочек атмосферы — воздушный пузырь. С момента рождения этого способа до его осуществления тоже должны были пройти сотни лет.

«Как и почему я не пишу о своем способе оставаться под водой столько времени, сколько можно оставаться без пищи? Этого не обнародую я и не оглашаю из-за злых людей, которые этот способ использовали бы для убийства на дне моря, проламывая дно кораблей и топя их вместе с находящимися на них людьми». Гениальный гуманист Леонардо да Винчи сохранил свое изобретение в тайне, объяснив высокую причину, побудившую его поступить именно так. Знал ли великий итальянец, как каверзно высокое давление воды — невидимая преграда на пути человека в океан? Так или иначе, но можно смело утверждать: изобретение Леонардо было годно лишь для мелководья. Вроде той бочки с оконцем — прообраза водолазного колокола,— из которой-де наблюдал царство Нептуна юный Александр Македонский. Чтобы надежно сдерживать нарастающий напор глубины, человеку предстояло открыть ее законы и неизвестные прежде материалы — скажем, резину.

Каждый десятиметровый слой — тонкая пленка океанской толщи — «весит» примерно столько же, сколько вся атмосфера! Погрузился на десять метров — давление удвоилось, на двадцать — утроилось и т. д. Расчет несложный.

На счастье, наше тело слеплено не из хрупкого теста. Состоящие на 80 с лишним процентов из во-

ды ткани человеческого организма способны выдержать довольно высокое давление, соответствующее немалым морским глубинам. Правда, пока предел нашей механической прочности еще не установлен, но не она препятствует освоению новых океанских горизонтов. Слабое место акванавта, не защищенного скорлупой жесткого скафандра или подводной лодки,— уже упомянутый воздушный пузырь, который он берет с собой. Я имею в виду не только легкие (куда же без них!) баллоны акваланга или атмосферу глубинного дома-лаборатории, но и те превращения, что происходят в условиях высокого давления с газами, потребными для дыхания.

Если вы человек здоровый, полны энтузиазма и располагаете временем, можно так натренироваться, чтобы задерживать дыхание под водой на срок, вдвое-втрое бо́льший доступного простым смертным. Тогда рекорды ныряльщиков, перевалившие за рубеж 60 метров, не покажутся фантастическими.

Итак, вы нырнули, набрав полную грудь свежего воздуха и прихватив с собою увесистый камень. Выбирая камень, будьте осторожны: не польститесь на слишком тяжелый. Скорость погружения ограничена! Хотя бы крепостью ваших барабанных перепонок. Они могут не выдержать резкого нарастания давления на первых метрах, ведь «воздушный пузырек» внутренних полостей уха сожмется.

Но у вас все благополучно: так называемой баротравмы не случилось.

Вниз, вниз! Ноги в ластах работают на совесть. Легкие стараются выжать изо всех шести литров воздуха, уместившихся в них, как можно больше топлива — кислорода. Но вот запас его подходит к концу, и в ваших легких, кроме основного разбавителя кислорода в земной атмосфере—инертного азота, становится все больше углекислого газа. Бросайте камень. Пора наверх. Минута пятьдесят. Почти две! Что ж, неплохо. Конечно, вы не ловец жемчуга. За его три с лишним минуты можно было бы успеть больше, чем схватить первую попавшуюся раковину. Но и три с лишним тоже не век...

Водолазный колокол даже самой первой, несовершенной конструкции несравнимо продлил время погружений. Как-никак в перевернутом вверх дном большущем стакане хранилось воздуха на тысячи глотков. Газовый пузырь снизу подпирала вода. Мышцы дыхательной системы работали без перегрузки, как на поверхности. Сама собой и поэтому гениально просто решилась и такая проблема: человек в колоколе без усилий дышал воздухом, давление которого равнялось давлению глубины.

Капитан Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганьян — создатели акваланга — справились с этой же проблемой лишь в 1943 году. Изобретенный ими клапан позволяет водолазу на любой доступной глубине делать вдох, затрачивая ничтожное усилие. Воздуха из баллонов, где он хранится в сжатом виде, автоматически поступает столько, сколько нужно для нормального дыхания. Легочный автомат даровал исследователю моря долгожданную автономию — никаких тебе шлангов и кабелей, привязывающих к поверхности. Каждый (само собой разумеется, пройдя несложную подготовку) сумеет погружаться с аквалангом. Под его знаком начался новый этап — этап подлинного штурма тайн океана.

Но у давления, словно у Цербера, коварные повадки и цепкие челюсти. Заманивая, глубина готовит удар — кессонную (или декомпрессионную) болезнь. Во время погружения инертный азот насыщает кровь и ткани организма акванавта. Всплыви слишком быстро — и газ начнет выходить из крови и тканей в виде пузырьков — эмболов. Они способны закупоривать жизненно важные сосуды. Последствия неправильного подъема на поверхность проявляются подчас через годы — разрушением костной ткани, самыми серьезными неприятностями.

Предотвратить «кессонку» — прежде настоящий бич для профессиональных водолазов — можно единственным способом: избавляться от повышенного давления постепенно, подниматься на поверхность медленно, не допуская «закипания» крови. Один час работы на шестидесяти метрах стоит шести часов подъема! Дорого. И чем глубже, тем дороже.

Выход был найден и на сей раз. Оказывается, что человеческий организм «впитывает» инертный газ не без предела и что притом полное насыщение не приносит вреда. Акванавт мог бы находиться под водой довольно долго, представься ему возможность отдохнуть и подкрепиться. Так родилась идея подводного жилища. И на морском дне устанавливается один дом за другим — французские «Преконтиненты», американские «Силэбы», советские «Черноморы». Глубины разные — свыше ста метров, конструкторские решения несхожи, но принцип один: колокол на современный лад, комфортабельный и оснащенный сложным оборудованием — в прямом смысле лаборатория. Используя «эффект насыщения», исследователи трудятся в океане по нескольку недель, а декомпрессию — освобождение из-под гнета давления — проходят лишь единожды, в конце подводной командировки. Но избыточное давление воистину злокозненная штука. Оно проявляет себя еще и в том, что начиная с определенной глубины инертный газ перестает быть инертным.

Глубина примерно сорок метров. В поведении аквалангиста вдруг наступают странные изменения. Он будто пьянеет: нарушаются координация движений и логика, возникают галлюцинации. Бурное веселье того и гляди заставит расхохотаться. И так бывало: водолаз выпускал загубник...

Азотный наркоз. Это преображение индифферентного до поры газа навело ученых на мысль подыскать ему замену. Место азота в баллонах аквалангов и атмосфере подводных домов занял гелий. Но, как оказалось, и он становится «наркотиком». Вблизи отметки 300 метров гелий вызывает мелкую дрожь (тремор), обеднение мимики и закостенение мышц. Правда, через некоторое время неприятные явления проходят.

Результаты, полученные в барокамерах, где повышают давление, имитируя погружение, обнадеживают специалистов. Дыша гелиево-кислородной смесью, экспериментаторы уже «покорили» на суше полукилометровый рубеж. Несомненно, в море это будет куда сложнее.

Кстати, у гелиевой атмосферы свои неудобства. Температуру внутри подводного жилища нужно поддерживать довольно высокую, около 30 градусов. Иначе обитатели мерзнут: необычный «воздух» отнимает больше тепла. К тому же он превращает человеческий голос в неразборчивое кряканье. Нужны специальные устройства — дешифраторы, чтобы, переговариваясь с акванавтом по телефону, понять его... В гелиевой атмосфере заурядное замыкание электропроводов вдруг оборачивается вольтовой дугой... Кто-то из постояльцев «Силэба-II» решил проверить, включилась ли электроплитка, и... обжег палец. Спираль не светилась, но была горячей.

Прежде чем конструкторы наберутся глубоководного опыта, они тоже, видно, не раз обожгутся на «земных» мелочах.

Ведутся опыты и с еще более легким и менее плотным газом — водородом. Хотя он и кислород — соседи ненадежные. Чуть поближе к критическому соотношению — и возможен взрыв.

А что если вообще отказаться от инертного газа?

Дышать чистым кислородом? Нельзя. На глубине примерно в 20 метров наступает кислородное отравление. Заменить газ жидкостью — той же водой? Подопытные животные, в частности козы, легкие которых, как ни странно на первый взгляд, ближе всего к человеческим, дышали обогащенной кислородом жидкостью. Но сможет ли человек?

Считанные десятилетия проникновения в океан позволяют сделать очень важный вывод: шельф доступен подводному пловцу. А площадь этого царства, что простирается до глубины 200—300 метров, равна площади африканского материка. Великое поле деятельности!

Пищу для оптимизма дают не только и не столько рекордные погружения — в море на 311 метров (швейцарец Ганс Келлер), на земле, в барокамере, почти вдвое «глубже», — а экспериментальная и теоретическая доказанность того, что человек способен освоиться в агрессивной водной стихии.

В подводных лодках и батискафах пройдены практически все глубины. Но человек упрямо считает покоренными лишь те, куда ступала его нога. Нет, это не только жажда самоутверждения. Действительно, еще далеко до создания (если такое вообще возможно!) механизма, который заменил бы живого, непрочного человека — наблюдателя, мыслителя, творца.

А собственно, для чего нам океан? Рост населения земного шара, отличающий нынешнее столетие, неудержим. И в заботах о завтрашнем обеде человечеству волей-неволей придется навести порядок в океанской кладовой.

Ловлю себя на том, что выразился неточно, ведь от слова «кладовая» попахивает теми не столь отдаленными временами, когда мало кто сомневался в неисчерпаемости пищевых ресурсов моря. Да, ресурсы колоссальны. Биомасса Мирового океана — масса всего, что живет и растет в нем (планктон не в счет), — составляет, по одним данным, 16—18, а по другим — около 30 миллиардов тонн. По подсчетам специалистов ООН, более половины людей на Земле постоянно испытывают чувство голода, в их рационе не хватает белка. Море способно дать 80 процентов белковых продуктов животного происхождения, необходимых человечеству, а дает пока лишь 20—25. Но послушайте биологов. Они категорически предупреждают: при сегодняшнем естественном воспроизводстве рыбы максимальные мировые уловы не должны превышать 100—120 миллионов тонн, а они уже составляют без малого две трети этого предела.

«Дары моря»! Конечно, магазины с таким названием переименовывать не стоит, и все-таки «дары» настраивают на этакий тунеядский лад. На самом деле рыбка дается все труднее и труднее. Девять десятых ее добывается на пятачках традиционных районов шельфа. Основательно истощены запасы таких ценных видов, как сельдь, треска, сардина, нототения...

Как, где, когда и какую рыбу ловить? Точно ответить на это без подводной разведки невозможно.

Закинешь удочку, и то хорошо бы знать заранее, какую приманку нацепить на крючок, какая добыча попадется. Огромный трал — снасть посложнее удочки. Как он ведет себя на глубине? Пустой ли, полный? Калининградские конструкторы рыболовных орудий наблюдали за тралами из батиплана — своеобразного подводного планера — и подметили интересную особенность в поведении рыбы. Она вовсе не пытается прорваться на свободу сквозь сеть, а держится на некотором удалении от стенок трала. Непреодолимым препятствием представляются рыбе струи колеблющейся воды. Тралы, входная часть которых сделана из сетн с крупной ячеей (на опытных образцах сторона каждой «клеточки» переваливала за метр!), оказались уловистей. Ведь сопротивление воды уменьшилось. Удалось увеличить «зев» трала. Он способен теперь поглотить многоэтажное здание.

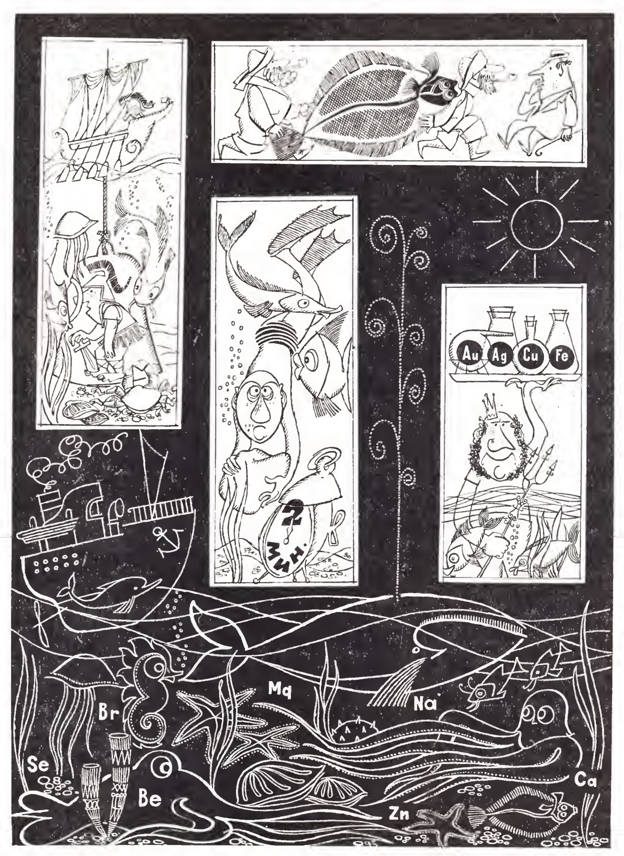
Жак-Ив Кусто писал: «Континентальное плато будет заселено тысячами мирных колонистов... образцовые фермы позволят выгодно заменить рыболовство развитием подводного промысла рыбы и разведением морских животных». И в этом не так уж много фантазии. Правда, в обозримом будущем умиленному наблюдателю вряд ли откроется пасторальная сценка — подводный пастушок, выгоняющий тучное рыбье стадо за околицу глубинной деревеньки; вряд ли художнику-урбанисту доведется опускаться «на натуру» на дно. Жить под водой слишком дорого и неудобно. В обозримом будущем человечеству не окажется тесно на суше. И все же попытки спроектировать подводный город предпринимались. Одна из них — город-спутник Токио. С инженерной точки зрения можно построить город, кварталы которого поднимутся на дне и над поверхностью моря. Но даже по самым скромным подсчетам, сооружение «морского Токио» далось бы непомерной ценой. И главное—жить под водой японцы отказались.

Работа — иное дело. Человек примет самое активное участие в повышении продуктивности океана. И первые шаги уже сделаны. Стоило удобрить воды одного из шотландских фиордов, как «урожай» камбалы резко возрос. Мелкие рыбы, переселенные в культурные угодья, росли в 4 раза, а набирали вес в 16 раз быстрее, чем их сородичи в неудобренной воде. По мнению некоторых ихтиологов, подкрепленному экспериментами, с одного гектара моря можно получить рыбы в два раза больше, чем мяса с гектара лучшего пастбища. К слову, сравнивая море с пастбищем, стоит помнить, что дно способно само прокормить несметные стада. По сравнению с полем, засеянным клевером, с такой же по размерам плантации хлореллы соберешь в 20 раз больше высококачественного корма для животноводства.

Кого удивят сейчас нефтяные вышки в море? А алмазы со дна? Перспективы многих отраслей промышленности, затуманившиеся было угрозой минерального голода, просветляются. Геологи обнаружили целые районы на океанском дне, сплошь покрытые так называемыми железо-марганцевыми конкрециями. Но выгодный способ собрать железный «урожай» еще не разработан.

Подводным геологам предстоит обследовать сказочно богатую и большую страну. Площадь этой скрытой под толщей океана страны вдвое больше поверхности Марса. Для того чтобы выполнять черновые дела вроде сбора образцов грунта, не обязательно спускаться под воду самому геологу. На помощь ему и специалистам многих других профессий придут роботы. Недавно на склонах средиземноморских подводных вулканов испытан робот-геолог «Краб», построенный в Институте океанологии Академии наук СССР. Если прежде, применяя черпаки, драги и тралы, ученые действовали вслепую, то теперь у них появилась возможность брать заинтересовавший предмет прицельно. «Краб» наделен телезрением, гидравлическая лапа его оканчивается клешней-черпаком, которым он действует очень ловко. Во время первого же погружения робот «поймал» хрупкую офиуру — животное, напоминающее морскую звезду с тонкими лучами,— и бережно доставил ее на поверхность. По своему назначению и способностям «Краб» сродни «Луноходу». Только передвигается не сам. Его опускает в нужную точку судно, с которого, глядя на телевизионный экран, роботом командует оператор.

Дно дном, но и саму морскую воду без всякого


Au
Ag
Cu
Fe
2 МИН.
Br
Mg
Na
Se
Be
Zn
Ca

преувеличения можно назвать рудой. Различных солей в ней растворено столько, что они, как подсчитал академик Л. Зенкевич, покрыли бы поверхность земного шара коркой сорокапятиметровой толщины. А если рассыпать всю соль моря по суше, толщина этого пласта составила бы 153 метра.

Одни только реки несут в океан золото, молибден, вольфрам — 16 миллиардов тонн минералов в год. В нем растворено столько серебра, сколько не держало в руках человечество за всю свою историю. А попытки добывать из воды золото того и гляди увенчаются успехом. Грамм драгоценного металла, полученный современными методами из «жидкой руды», уже ненамного дороже чистого золота.

Тяжелой воды, необходимой для энергетического использования термоядерных реакций, хватит на миллиард лет. Таков ее запас в океане. А ценностью в наши дни становится и обычная питьевая вода. И не за горами то время, когда города и целые страны будут утолять жажду из чаши океана...

Сравнительно недавно на дне океана открыты рифты — гигантские трещины и горные цепи, тянущиеся вдоль них. Рифтовые породы гораздо моложе континентальных. Почему? Выдвинуты интересные гипотезы, объясняющие это явление.

Под глубокими расселинами дна, словно под родничком на голове младенца, угадывается биение ядра. Подобраться поближе к нему намечали американские ученые. Был разработан проект «Мохол», который отложен на неопределенный срок из-за дороговизны и многочисленных возражений широкой публики. Среди них, как сообщает Ассошиэйтед Пресс, наиболее распространенными были такие:

— если просверлить глубокую дыру в дне океана, то через нее вытечет вся вода — это все равно, что вынуть пробку в ванне;

— если внутри планета раскалена, то вода, попав туда, образует такое количество пара, что нашу планету разнесет вдребезги;

— под корой Земля полая, как большая вакуумная камера, и если проделать дыру в эту камеру, то всю кору втянет туда — произойдет взрыв, обращенный внутрь;

— там, внизу,— ад, и если вы, господа хорошие, просверлите вашу дыру, то пламень ада вырвется наружу, не говоря уж о всех чертях.

Трудно предположить, чтобы сбылось хотя бы одно из перечисленных предостережений. Но нет сомнения, самый короткий путь к разгадке сокровенных тайн нашей планеты пролегает сквозь океан. И, возможно, сверхглубоководные геофизические экспедиции соберут новые сведения о тектонической деятельности, строении и происхождении Земли уже в недалеком будущем.

Написаны лишь первые строки истории освоения гидрокосмоса. А уже открыт ни много ни мало новый, особый тип животных — погонофоры. Странные существа подняты со дна одной из глубочайших на Земле впадин — Курило-Камчатской. Они живут в трубках, которые делают сами, наделены мозгом, но лишены органов дыхания, органов чувств, нет у них рта и кишок...

Пойман целакант — допотопная рыба, жившая еще 250 миллионов лет назад, одновременно с динозаврами. «Старина четвероног» прежде попадался ученым только в ископаемом состоянии.

Неоглядный простор для хозяйственной деятельности, разгадки научных тайн глобального масштаба — все это океан словно приберегал к началу новой эпохи в жизни человечества. К тому сроку, когда человек научится ходить и дышать под водой.

Ольга Чугай







Середина лета

Что знаю я о лесе, о реке,
О птице, пролетевшей вдалеке,
И о твоей руке!
О мудром от природы муравье,
О колосе, упавшем на жнивье,
О соловье,
Который пел в орешнике вчера!

Что знаю я о пламени костра!
Летучий дым. Слежу его полёт,
И облако кудрявое плывет.
Темнеет лес, еще тая тепло.
Ночная птица пробует крыло,
И вечностью, как воздухом дыша,
В природе растворяется душа.

✪

В ноябре, когда в природе
Замирает все движенье
И планеты примерзают
К веслам старой плоскодонки,
В ноябре, когда лишь ветер
Одиноко рыщет в кронах
И каналы с фонарями
Уплывают в небеса,
Только холод, только холод
Провожает нас с тобою,
Только ломкий шорох веток,
Да буксиров голоса.

✪

Ты погоди —
Все лето впереди!
Бегут беловолосые дожди.
Сто лет прожить!
Загадывай: еще
Не подавилась колосом кукушка,
И лета загорелая макушка
До времени таится под плащом
Зеленых трав...
Пресветлый май стоит,
На тьму и свет неравно поделенный.
И только ель в часовенке зеленой
Грозу давно прошедшего таит.

АНАТОЛИЙ ЮСИН



РАЗ, ДВА, ТРИ...

Сезон начинался безоблачно. Первого августа, когда Валерий Муратов ловил рыбу в устье Москвы-реки, он услышал вдруг по транзистору: «Создан профессиональный конькобежный цирк. Согласие участвовать в нем дали сильнейшие спринтеры мира — Келлер, Линковеси, Берьес, Кеннг, Хяннинен, Блэчфорд. Организатор цирка Йоинн Нильсон послал персональное приглашение советскому чемпиону Валерию Муратову»...

Так ушли все сильнейшие. Из самых быстрых Муратов остался один в мировом спринте. Самый титулованный — третий призер Олимпиады (проигравший лишь ушедшим Келлеру и Берьесу), обладатель серебряной медали прошлогоднего чемпионата мира по спринту (он уступил опять-таки ушедшему Линковеси), конькобежец, личные достижения которого были на голову выше всех, кто остался в мировом спринте... Казалось, что Муратову даже не надо ехать на чемпионат мира в Осло, а медаль и лавровый венок следует заранее переслать в Коломну.

Неужели пробил его час? Муратов долго шел к признанию. Он стал известным спринтером еще при «живом» Гришине, еще по-прежнему могучем, хотя и издерганном вечными напоминаниями о возрасте: «Вам, Романыч, уже за 35?» (А сейчас Атье Кэйлен-Деелстра в свои 35 выигрывает турнир за турниром, бьет мировые рекорды, и никто не удивляется ее долголетию... А Гришина, помнится, чуть ли не обвиняли: «Ты же ветеран!») ...Именно Муратов не дал Гришину последний раз выиграть чемпионат страны в 1968 году.

На Олимпиаду в Гренобль Валерий поехал в ранге чемпиона СССР. И что же? Испытания славой он не вынес — растерялся, занял 18-е место. 37-летний спринтер Гришин был четвертым — и его отделила от серебра лишь одна десятая доля секунды...

Почему так случилось? Гонору в тот год у Валерия было много, а знаний — маловато, опыта — никакого, да и характер... Ну, о характере разговор особый. Как увидел Валерий, что у него поворот не получается, отбросил гордость, подошел к Гришину: «Научи, Романыч!» «А не поздно?» — был вопрос.



Валерий Муратов.

Фото Ю. МОРГУЛИСА.

«Так мне ж всего 21 год!» «А не поздно?» — переспросил Гришин. «Это как к делу относиться»...

Союз тренера и ученика складывался непросто. Вчерашние соперники, они не год, не два присматривались друг к другу. Муратов уже и рекордсменом мира стал и венок «примерил» в Америке—там в Уэст-Аллисе в 1970 году разыгрывался первый — неофициальный — чемпионат мира по спринту. Валерий тогда ни на одной дистанции не победил, но, все пробежав чистенько, набрал лучшую сумму и «примерил» венок, изготовленный в химической лаборатории — имитация лаврового.

— Теперь надо проделать еще большую работу, чтобы уйти вперед! — советовал ему Гришин после победы.

— А зачем? Я чемпион. Пусть другие догоняют, экспериментируют...

Не согласился Муратов с тренером, лишь на 60 процентов выполнил его задание. И вот на чемпионате мира по спринту в Инцеле полный провал...

И тогда-то, в день поражения, Муратов окончательно поверил в своего тренера, убедился, что тот не ревнует его к успехам в спринте.

Олимпийский сезон был удачен — бронза в Саппоро, серебро на чемпионате мира в Эскильстуне... Успехи пошли чередой. Муратову присвоили звание заслуженного мастера спорта...

В начале этого сезона Валерий тихо-скромно жил в Коломне, помогал тренироваться своему брату Юре, рекордсмену страны среди юниоров, доставал лекарства для дедушки, который жарким летом тяжело заболел (дед заменял братьям отца); занимался Валерий и ремонтом квартиры и на рыбалку ездил — благо, что Коломна на трех реках стоит... И спокойно тренировался, готовясь к новому сезону.

Первые старты подтвердили серьезность притязаний Муратова на конькобежный трон. На открытии Медео он первым в сезоне разменял 39 секунд. И в последующих стартах он даже позволял себе проигрывать иной раз Комарову, Кащею и, наконец, брату, знал: к первому воскресенью февраля все станет на свои места... Сообщения из Норвегии, Швеции и Голландии о прикидках спринтеров его не волновали — там побеждали те, кого он прекрасно знал и не раз опережал. Но вот сообщение из Конгсберга несколько его насторожило: в состязаниях сильнейших спринтеров мира (где не принимали участия лишь советские и американские спортсмены) победил норвежец Эфшин...

Какой Эфшин? Откуда появился этот бегун? Спросил Гришина. Тот пожал плечами:

— В 1960 году я бегал с Эфшином. Талантливый такой был мальчик. Но он уже давно бросил коньки. Наверное, этот Эфшин — его родственник?..

Оказалось, не родственник. А тот самый Лассе Эфшин, чемпион Норвегии среди школьников 1959 года, один из кандидатов на медали в спринте Олимпиады-64, вернулся в спорт. Случай уникальный... Поступив в 1963 году в университет, Эфшин почувствовал, что ему трудно, оставаясь в сборной страны по конькам, тренироваться два раза в день и в то же время серьезно учиться. Он составил индивидуальный план подготовки к Олимпиаде, но руководители норвежской сборной предъявили Эфшину ультиматум: «или —или»...

Эфшин, не привыкший, чтобы ему диктовали условия, ушел из сборной. Года три он еще побегал в некрупных соревнованиях, а в 1966 году окончательно повесил коньки на гвоздь. Он был к тому времени целиком захвачен онкологией. Наука занимала все его время. Для поддержания спортивной формы Лассе лишь бегал трусцой... Долгое время провел он в Китае — изучал тибетскую медицину... Научные труды, публикации, диссертации... И вот Эфшин стал уже одним из ведущих онкологов Норвегии.

Что же заставило 28-летнего ученого выйти на лед? Оказывается, он был глубоко уязвлен созданием конькобежного цирка. «Коньки — за тысячи!» — с такой лекцией он выступил еще в августе. «Можно быть специалистом в какой-то области науки или культуры и в то же время показывать хорошие результаты в спорте!» — утверждал Эфшин. «Докажите на личном примере!» — потребовали скептики. И в августе он начал тренироваться.

10 января Муратов и Эфшин встретились в Кортина д'Ампеццо. Эфшин уверенно выиграл 500 метров. Валерий же упал на дистанции. И не просто упал, а разбил себе бедро, и врач снял его с соревнований.

Победа Эфшина в коротком спринте была несколько смазана его поражением на 1 000 метров, где он уступил нашему Владимиру Комарову, с которым бежал в одной паре.

— Прилично я ему привез! — прокомментировал свой бег Комаров.

Через день все сильнейшие спринтеры мира уехали на состязания в Давос. Наши спортсмены остались в Италии. Валерий Муратов лежал в постели (травма ноги оказалась серьезней, чем можно было предположить), когда к нему в номер зашли с тренировки ребята.

— Слышал, что сделал Эфшин? — спросил Юра Муратов.— Тот самый, что два дня назад проиграл Комарову?.. На пятисотке повторил мировой рекорд — 38,0, а на тысяче вообще чудо — 1.17,6! Это надо бежать!.. В сумме многоборья у него фантастический рекорд — 154,400 очка!

— Так что же получается? — спросил Муратов-старший.— Я одну пятисотку еле-еле пробегаю за 38,7, а он шесть пятисоток подряд лупит за 38,6! Вот тебе и ветеран!

Муратов-младший не удержался от иронии:

— Не кажется ли вам, что лед тронулся, господа?..

— Никак не возьму в толк, чем Эфшин бежит,— сказал Гришин.— Лицо у него узкое — волосы легкие, серебристые... А хохолок на затылке как будто чем-то намазан — никак не распадается... По мощи он всем в нашей сборной уступает... Но как бежит, старик!

Но в Давосе отличился не только Эфшин. Вот никому не известный американский школьник Дан Иммерфолл пробегает пятисотку за 38,6. Так в 17 лет не бегал ни один человек в мире. Вот 38,7 фиксирует голландец Иос Валентин... Огромный, длинноногий Валентин был известен в конькобежном мире давно. На дистанции Валентина отличали безупречное чувство ритма и редкостная пластичность. Силы у этого богатыря было, как у Схенка. Но пока в голландской сборной оставались Болс, Феркерк и Схенк, на Валентина не обращали внимания. А он в себя верил. И ждал своего часа. И научился, не теряя своего «я», оставаться в тени. А когда профессионалы ушли в цирк, Иос Валентин почувствовал себя в роли лидера сборной как в своей тарелке...

Вот такой расклад получался перед чемпионатом мира по спринту. Валерий успел пробежать лишь одно многоборье, а его нежданные конкуренты по пять-шесть раз прикинулись. Он по результатам двадцатое место в сезоне занимал, а они — первые места. Муратов надеялся проверить себя на чемпионате страны в Дзержинске, но из-за сильных морозов чемпионат перенесли на март.

— Как ты считаешь, правильно сделали? — спросил я тогда Валерия.

— Если на первенстве мира проиграем, скажем: вот не состоялся чемпионат страны, и мы своих сил не знали... Погода виновата... А выиграем — будем по-иному рассуждать: вот, мол, какие мы дальновидные — не дали ребятам по морозу бежать, все обошлось без бронхитов и воспалений легких... А почему? О первенстве мира думали...

Из Дзержинска Валерий заехал домой в Коломну проведать больного деда, но успел лишь к его последним минутам... Вместе с Юрой рыли могилу, долбили ломами землю, схваченную морозом, как бетоном. Юра все повторял:

— Вот дед и не дождался твоей победы.

— Девять дней будет, когда чемпионат мира кончится,— отвечал Валерий.— Хочется выиграть, но как — не представляю...

И вот Осло. Чемпионат мира. Первую пятисотку Муратов бежал во второй паре. Впереди всех соперников. Казалось, что он разгоняется очень долго, но его начало оказалось самым быстрым — 9,7. И хотя

Муратов захватил лидерство после первой дистанции, Гришин был недоволен.

— Он мог целую секунду сбросить и разменять 39 секунд. Но нервы, нервы...

Справедливости ради надо сказать, что дистанцию должен был выиграть Эфшин — он шел лучше Валерия, но и его подвели нервы — за 30 метров до финиша он споткнулся, чуть не упал, распрямился. Потерянное мгновение, и вот уже рядом Валентин. Так они и финишировали — конек в конек.

На 1 000 метров Муратов снова бежал впереди своих конкурентов. В паре с Пэром Бьерангом, норвежцем, который летом был в конькобежном цирке, но потом разорвал контракт. Муратов понимал, что эта дистанция решает все, и полностью выложился— почти на десяток метров опередил норвежца. У Валерия хватило сил докатить до тренера Кудрявцева, который снимал его бег кинокамерой, и Константин Константинович поддержал лидера — Муратов падал в изнеможении. А затем голландец Валентин превзошел результат Муратова, а вскоре второй голландец, Блейкер, оттеснил Валерия на этой дистанции на третье место...

Все было против лидера во второй день чемпионата: ему достались самые плохие пары, самые невыгодные дорожки. Во втором забеге на 500 метров еще до выстрелов стартеров возникла критическая ситуация. Муратов получил предупреждения за два фальстарта. Теперь, чтобы не быть снятым с турнира, Муратову нужно было засидеться на старте — рисковать он не имел права. Бьеранг ушел вперед. Муратов бросился в погоню. Не догнал. Не хватило семи сотых секунды!..

Но по сумме трех дистанций Муратов оставался лидером, хотя его преимущество перед Валентином измерялось в 0,4 секунды. Вы представляете, что это такое? Сорок сантиметров...

И вот заключительная дистанция. Одиннадцатая пара. Валерий снимает тонкую ледяную крошку с лезвия конька, бросает взгляд в сторону старта, прищуривается — яркое солнце бьет прямо в глаза...

Он бежал в паре с мировым рекордсменом Эфшином. Забег принципиальный. Норвежец стремился во что бы то ни стало выиграть, чтобы поддержать свою репутацию. Гришин советовал Муратову:

— Норвежец попытается одержать над тобой чисто символическую победу. Выиграть лицом к лицу. Но у тебя, Валера, своя цель — не рекорд, а венок. Не обращай на Лассе внимания. Беги, как умеешь. У вас разные дорожки. Слушай только меня.

— А вы кричите громче,—отсутствующим голосом произнес Муратов.

Он проиграл забег, сражаясь до последнего метра. Он уступил лишь неуловимое мгновение в одну сотую. Это даже не конек, а треть конька. Но показанных секунд ему хватило для победы в многоборье.

Норвежский король Улаф, который два дня старательно вел графики забегов, болея за Эфшина, сказал:

— Только парень с характером мог победить нашего Лассе.

Последнее испытание ждало Муратова на банкете. Шейла Янг, чемпионка среди женщин, пригласила его на тур вальса. А Муратов не умел танцевать вальс. Он считал про себя: «Раз, два, три... раз, два, три...» Шейла помогала ему: «Уан, ту, фри... уан, ту, фри...» А конькобежцы всего мира аплодировали Муратову, подбадривали своего чемпиона.

ОТКРОВЕНИЯ МАССАЖИСТА СОБОЛЕВА

У московского массажиста Валентина Соболева сорок три памятных медали высшего достоинства: Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Руки Соболева Юрий Власов назвал золотыми. И многие другие наши прославленные спортсмены считают Соболева соучастником своих побед и рекордов. Каков сегодняшний спорт, если взглянуть на него глазами массажиста? Как спортсмен ведет себя в раздевалке перед началом соревнований? Об этом и о многом другом вы узнаете, прочитав беседу с Валентином Михайловичем Соболевым в редакции «Юности».

Беседу записал спортивный журналист
Игорь МАСЛЕННИКОВ



— У вас дома есть известная книга «Путь к Олимпу», в которой под своими фотографиями оставили автографы многие знаменитые спортсмены. Расскажите для начала историю одного из этих автографов. Того, который вам наиболее дорог...

— Мне все они дороги — вот какое дело.

— Там есть, например, слова Алевтины Колчиной: «Первому моему массажисту. Самому лучшему». А Павел Колчин вам написал: «Всю жизнь помню совместную подготовку. А как было прекрасно!»

— Павел Колчин всегда отмечал в дневнике, как и сколько времени я его массировал и как он чувствовал себя во время массажа.

— А слова Сергея Щербакова: «Мой рекорд, В. М., еще не побит. В этом ты тоже виноват...»

— Знаете, что имеет в виду Щербаков? Он был десятикратным чемпионом страны. Ни один боксер с тех пор не добился такого. Я на Щербакове и начал учиться массажу. Он уже был заслуженным, а я поначалу так хватал его за бока, что он ерзал от щекотки. Но если Королев, допустим, был «мужиком сложным», то Щербаков попроще. Он мне помогал, подсказывал: вот так, говорит, лучше делай. С него и начался весь мой массаж.

— Вы, кажется, сами были прежде боксером?

— Перворазрядником. Я на заводе прежде работал — фрезеровщиком. Потом школу тренеров закончил и специализировался на массаже. Щербаков вскоре стал меня во все поездки брать — я и массировал его и секундировал. Это было давно, сразу после войны. А с тех пор кого из спортсменов я только не

массировал! Я не работал, пожалуй, лишь со стрелками из лука и с конниками.

— Но вашим любимым видом спорта остался бокс?

— Вы меня спрашиваете как массажиста?

— Конечно.

— Всем видам спорта предпочитаю сейчас лыжи.

— Почему?

— Если бегуну прежде всего массируешь ноги, дискоболу — плечо или спину, то лыжнику делаешь общий массаж. У лыжника все мышцы в гонке, ему нужен общий массаж минут на сорок пять. И это гораздо интересней, чем делать частный массаж. Мне нравится прорабатывать разные мышцы — применяешь весь свой опыт.

— А какой вид спорта наиболее сложен для вас?

— Пожалуй, футбол,— как и хоккей, впрочем. Нашим футболистам я помогал на Олимпийских играх в Мельбурне, в Москве с английским «Арсеналом» работал, когда еще приезжал Томми Лаутон. С хоккеистами работал в Кортина д'Ампеццо — тогда еще Бобров, Бабич играли. И в футболе и в хоккее много травм. Эта работа особая. Помню, я разговорился в Гренобле с известным итальянским массажистом, который долго работал с футболистами, а в Гренобль приехал с лыжниками. И мы сошлись на том, что травмы бывают и у лыжников, но лыжников можно массажем вылечить, а футболистов — не всегда. Кстати, первым олимпийским чемпионом в Гренобле — помните? — стал итальянский лыжник Нонес...

— Значит, хоккей и футбол наименее любимы вами?

— Нет, штанга. Крупные, рельефные мышцы штангистов уж очень однообразны.

— Хорошо, зайдем с другого конца. Назовите спортсмена, которого вы массировали с наибольшим удовольствием.

— Конечно, Власова.

— Штангиста Юрия Власова?

— Он очень интересный человек. И сам мне много рассказывал и слушать умел. И потом Власов замечательно расслабляется. А только тому, кто умеет расслабиться, по-настоящему и поможет массаж. Власова, бывало, возьмешь за ногу, а у него уже и спина вся ходит — так расслабился.

— А из лыжников и биатлонистов, с которыми вы сегодня работаете, кто лучше всех расслабляется?

— Пожалуй, Тихонов. Я люблю с ним работать. Он прилетает в шесть утра в Домодедово и сразу звонит, чтобы без пятнадцати восемь я был в Центральных банях.

— Почему без пятнадцати?

— Чтобы занять очередь.

— Вы со всеми ходите в Центральные бани?

— В Центральных банях вентиляция хорошая. В Сандунах, если я двоих отработаю, привет мне будет. Ведра два воды потом выпью. Вот какое дело. А в Центральных я однажды одиннадцать часов подряд массировал — сам потерял пять с половиной килограммов — и нормально. Как я работаю в бане? Отмассирую двоих-троих, и если начинаю чувствовать, что мерзну от нервного истощения, иду в парилку. Прогреюсь и опять берусь за работу. Центральные бани, как спортивный музей. Кого там только не встретишь! Правда, Старостины и вся их плеяда ходили до войны в Сандуны и сейчас туда ходят. Бобров ходил уже и в Сандуновские и в Центральные. А Королев и Щербаков стали ходить только в Центральные. И сегодня Центральные, вне сомнения,— главные спортивные бани Москвы. Недавно ушел на пенсию Василий Васильевич, прежний директор бань. На всех боксерских турнирах он сидел у нас в первом ряду. При нем мне не надо было за пятнадцать минут до открытия занимать очередь. А ребята — еще Королев и Щербаков в свое время — приносили ему прямо в баню билеты на бокс.

— Есть в мире бани, которые для вас лучше Центральных?

— Центральные бани — это вся моя жизнь. Бывает, что я хожу туда два раза в день — утром и вечером. Другое дело, что в мире много хороших бань: старые римские бани, будапештские... Будапештские бани помещаются в громадном здании — там и отель, и ресторан, и всевозможные бильярдные. При банях огромный бассейн. В залах специальная подсветка — моешься и загораешь. Семь парилок. Идете из парилки в парилку, открывая стеклянные двери, и температура все выше и выше. Мы, конечно, за самой последней дверью парились. В Саппоро, на Олимпийских играх, я побывал в японской опилочной бане. Опускаешься по подбородок на четверть часа в круглую ванну, наполненную горячими опилками, симпатичная девушка кладет тебе дощечку под голову, пот со лба вытирает платочком... Поначалу инженер Отака, изобретатель этой сухой бани, никак не мог завлечь в нее соотечественников. Ему неожиданно помог некий владелец скаковых лошадей, который соорудил в своей конюшне такую баню, и вскоре его лошади стали показывать ошеломляющие результаты... Массировать в этой бане нельзя — к мазям и притиркам пристанут опилки,— но вес согнать можно. Следить за сгонкой веса — тоже моя обязанность. До сих пор помню, как два моих борца — Вырупаев и Манеев — «гнали» на Олимпийских играх в Мельбурне первый тринадцать с половиной килограммов, а второй тринадцать; и потом Вырупаев выиграл золото, а Манеев серебро. В той же финской бане в Мельбурне, когда я парился с борцом Саядовым, мы едва не сгорели. Баня перекалилась и занялась сверху, а мы сидим и ничего не подозреваем. Я слежу, чтобы Саядов, как говорят борцы, «пил воду вилкой», взвешиваю его, и он опять лезет на полок,— ему еще надо было «гнать» четыреста граммов. Вдруг влетает полиция, стаскивает Саядова с полка, он возмущается: что за черт, недоразумение какое-то... Они все-таки нас вытащили на улицу, и смотрим: баня-то горит! А Саядов мне говорит: ладно, дескать, не волнуйся, потушат, и я приду вечером и «догоню» эти четыреста граммов...

— Расскажите о своих профессиональных секретах.

— Секреты не секреты, а вот какая история: я убежден, что нет такого средства, которое бы заменило спортсмену массаж. Вы можете отдыхать неделю после турнирных боев, но так не восстановитесь, как после одного хорошего массажа. И еще скажу: никогда и никакая машина не заменит руки массажиста. Физиотерапия — всякие прогревания там и токи — это все полезно, но не то. А такой спортсмен, как Веденин, допустим, вообще не любит токи. Считает, что это ему ни к чему. Веденин даже электрокардиограмму не любит делать. Такая у него особенность. Перед Саппоро я много работал с Ведениным в Цахкадзоре. С ним работать сложнее, чем с другими лыжниками, он парень скрытный, молчун. Но к массажу относится очень серьезно. Понимал перед Саппоро, что без массажа он не сможет так много тренироваться и так быстро восстанавливаться. Если вечером мы работали,— никаких кино, никаких концертов для него не существовало. В первую очередь массаж. А остальное потом, все потом.

— А не припомните случая, когда судьба спортсмена была буквально в ваших руках?

— Судьба спортсмена всегда в руках массажиста, который может или помочь ему в борьбе за победу, или из формы вывести, если сделает не тот массаж. До сих пор восхищаюсь гребцами Сассом и Тимошин-

нинцам, которые выиграли в Мехико золото, хотя в предыдущий вечер некий профессор приказал сделать им массаж головы, чтобы лучше, дескать, соображали на дистанции. А они, естественно, всю ночь заснуть не могли из-за этого. Я потом сказал Сассу: «Как же ты позволил такое дело над собой учинить?..» А у меня был такой случай: на Олимпийских играх в Токио Ирина Пресс за три дня до начала соревнований по пятиборью играла в настольный теннис и как-то резко, неловко махнула рукой. И все — защемила нерв на спине. Ни сидеть, ни лежать, ни спать не может. Выступать, одним словом, совсем не могла. Ее кололи, грели — ни черта. Ну, говорят, последний способ — иди к Соболеву. Я «оторвал» ей мышцу, и она выиграла Олимпийские игры.

— Что значит — «оторвал»?

— Это такой прием — мой секрет, если хотите. Еще давным-давно мне показал его профессор Саркизов-Серазини. И я как-то сразу уловил это дело. Надо взять мышцу и прямо от крестца и до самых лопаток отодрать ее от кости. Как фанеру, чтобы спина трещала.

— А нельзя так совсем отодрать мышцу!

— Нет, это уже проверено. Делать надо, конечно, умеючи. Не тащить мышцу, а подрывать ее, а когда звука уже нет, надо сразу массировать.

— Прием, очевидно, болезненный.

— Так я сразу снимаю боль массажем. Тут же. И спина мгновенно освобождается. Человек как новый. Понимаете? Был другой случай. Перед Мюнхеном. Приезжает ко мне Аржанов, входит, и вижу, он что-то хромает. Отправился, говорит, на тренировку и бежать не могу. Ну я «оторвал» ему тоже, освободил и спину и ногу, и в тот же день он побежал.

— Вам приходилось помогать спортсмену прямо во время соревнований?

— Несколько лет назад, например, в Москве, в финале международного теннисного турнира Метревели играл с французом Дармоном. У нашего игрока была сильно спина потянута, но отказываться от финальной игры в теннисе не принято — играй, как можешь, но только играй, не уходи. Когда противники меняли площадками и останавливались у столика, где стоит вода, лежат ракетки и полотенца, я подходил к Метревели, поднимал ему рубашку и специальными щетками растирал спину. А француз в это время ракетку разглядывал и вообще позволял мне спокойно делать свое дело. Метревели проиграл все же, но достойно. Я штангистов не раз массировал между подходами — они соревнуются долго, сами знаете.

— Власов писал, как вы отважно массировали его на римской Олимпиаде, когда у него на бедре выскочили фурункулы.

— Вообще-то нельзя массировать, когда фурункулы. Можно это дело разнести по всему организму. Но как было Власова не массировать, когда он шел на золото, на великий рекорд шел и очень много тренировался. И, обходя фурункулы, я его массировал.

— Вы нам открыли пока лишь один свой секрет...

— Ну хорошо. Вот наши боксеры всегда заканчивают турниры без синяков, и французы или там испанцы удивляются: как же так, наши все в синяках, а у вас вся команда чистенькая. А я, едва кончится бой, прямо в раздевалке специальной мазью и разными примочками синяки у боксеров снимаю. И особый массаж им делаю. Один только раз за всю мою практику пришлось моему боксеру, Степашкину, после очень тяжелого финального олимпийского боя в Токио укрываться за черными очками...

— У вас небольшие руки...

— Да, у меня руки нормальные. Хорошо, наверно, когда ладонь у тебя как лопата и пальцы длинные, но я и своими руками даже до мышц Жаботинского



Соболев на матче СССР—США оказывает первую помощь Моррису.

добирался. Теннисный мяч, конечно, по утрам сжимаю — кисти должны быть крепкими. И потом я работаю ежедневно, чтобы чувство мышцы не потерять. Мышцы для меня, как для пианиста клавиши,— от них нельзя отвыкать. Извините, конечно, за такое наглое сравнение...

— Но вы же уезжаете в отпуск?..

— Со мной заранее договариваются, чтобы в отпуск я поехал с той или другой командой. Ну, конечно, в отпуске я поменьше работаю, но каждый день работаю.

— И вам никогда не хотелось сбежать на время отпуска вместе с женой на какой-нибудь необитаемый остров, где нет никаких команд?

— А кого бы я на этом острове массировал?

— Жену, например.

— Ну нет, что вы. Это не то. Мышцы не те.

— Вам непременно нужны спортивные мышцы?

— У неспортсмена даже не отличишь на ноге икроножную мышцу от камбаловидной.

— Неспортсмен — это, по вашему мнению, человек, который вообще не занимается спортом?

— Не обязательно. Он может заниматься спортом, но несерьезно.

— А мышцы бывшего спортсмена вас устроят?

— Стоит спортсмену потерять форму, и его мышцы тут же перерождаются. Я знаю одного известного в прошлом бегуна, который еще совсем не стар, а весит сто десять килограммов, представляете?

— Только мышцы великого спортсмена, выходит, достойны вашего внимания?

— Вот выйду на пенсию и буду помогать людям, которые страдают, допустим, радикулитом. Буду с удовольствием работать и с неспортсменами. А сейчас не имею права. Чтобы профессионально не деградировать.

— Неужели вы никогда не сталкивались хотя бы с

одним неспортсменом, мышцы которого вызвали бы у вас уважение?

— Было такое дело. В пятьдесят первом году на Берлинском фестивале, где я был со спортсменами, меня вдруг попросили поработать с Майей Плисецкой. И оказалось, что ноги у нее покрепче, чем у некоторых спортсменов. Плисецкая мне предлагала перейти в Большой театр, но я не мог уже расстаться со спортом, хотя предложение было очень соблазнительное.

— В той книге, где все великие оставили вам автографы, есть несколько неожиданные слова: Игорь Тер-Ованесян называет вас плохоньким массажистом и замечательным психологом...

— Я говорил ему: «Что же ты пишешь такое, Игорь?» А он мне: «Ничего, ничего. Кому надо, тот знает, какой ты массажист, а я хочу таким образом подчеркнуть, какой ты психолог». Вот какая история.

— А вы сами считаете себя психологом?

— В номерах гостиниц, в которых мы живем во время соревнований, часто вешается лозунг «О спорте ни слова». И действительно, перед стартом надо освободить спортсмена от нервного напряжения, отвлечь его, успокоить. И, массируя, я непременно рассказываю спортсменам всякие сказки, небылицы, рассказываю различные истории, которые случались со мной, и спортсмены меня слушают, верят мне, сами делятся со мной абсолютно всем. Я говорил уже, что массажиста не заменит никакая машина. А чтобы руки мои действительно помогли спортсмену, я должен знать не только его мышцы, но и его характер, его склонности, улавливать его настроение. Он должен чувствовать на своих мышцах руки близкого человека, которому можно открыть и душу. Вот еще почему с командой, с которой я постоянно работаю, я готов поехать и в отпуск. Я не имею права надолго расставаться с людьми, которых в решающий час мне придется массировать. Это, наверное, звучит громко, высокопарно, что ли, мне это несвойственно, но я не знаю, как тут сказать проще. На все сборы и соревнования я беру пластинки и проигрыватель. Знаю, кто из ребят какую музыку любит.

— Вы что же, массируете под музыку?

— Под музыку. У меня много пластинок: их еще мой отец собирал. По профессии отец был механиком кассовых аппаратов, пишущих машинок и арифмометров. До революции работал в фирме «Уидервуд» в Зарядье. Он собирал и классиков и модных певиц того времени: Вяльцеву, Панину. Когда я стал ездить по разным странам, коллекция здорово увеличилась. Я иногда на все деньги, что есть, покупаю пластинки. Ребята любят слушать эти рассказы, как я собираю свою коллекцию. Например, как-то в Нью-Йорке пришел я в большой магазин, нажал кнопку и вызвал гида. Выходит рыженькая старушка лет под девяносто, представляется: «Дарья Максимовна». Я говорю ей: «Дарья Максимовна, мне медикаменты нужны для массажа, и еще я пластинки коллекционирую». Купили мы медикаменты, покатили на семнадцатый этаж за пластинками. Я говорю: «Мне нужен Шаляпин, где он плачет,— есть у вас «Тени минувшего», «Любовь прошла»?» А у них оказался только «Борис Годунов». «Нет,— говорю,— «Борис Годунов» у меня есть». Дарье Максимовне было неловко, что так получилось, и она долго рассказывала мне о Шаляпине, как она вместе с ним пела когда-то — она была певицей, в тринадцатом году приехала на гастроли в Америку и осталась там. Очень симпатичная старушка, эта Дарья Максимовна. Вот я массирую ребят и рассказываю им про Дарью Максимовну или про шведского пекаря: перед Греноблем я выезжал с биатлонистами в Швецию. Мы жили и тренировались в маленьком городке Фурудаль, где по поручению местных властей над нами шефствовал, готовил нам трассу один из самых уважаемых людей в Фурудале — местный пекарь. Он рассказал мне, что печет хлеб для всего города вдвоем с женой, никаких рабочих у него нет. Вечером он замешивает это тесто, а рано утром уже встает к печи, чтобы испечь всему Фурудалю хлеб, печенье, пирожные да еще заказные торты. И он мне пожаловался, что в последнее время у него совершенно пропал сон. Совершенно не могу заснуть, говорил, и очень устаю из-за этого. Я его стал массировать, и тут же, прямо на кушетке, он у меня заснул. А когда проснулся, говорит мне: «Ну, знаете, вагон свежести. Свежести вагон». Я еще несколько раз его помассировал, и он уже не знал, как меня отблагодарить. Деньги я, конечно, не взял; тогда у кого-то из ребят он выведал, что я собираю пластинки, и от пластинок я уже не смог отказаться...

— Так сколько же у вас всего пластинок?

— Не считал. Счет — плохая примета. На крупные соревнования, во всяком случае, я беру с собой до пятисот пластинок, чтобы каждому завести ту музыку, которую он любит. Вкусы, знаете, разные.

— Расскажите, кого под какую музыку вы массируете.

— Смирнов Василий Павлович — был такой многократный чемпион страны по лыжам — заказывал только Шаляпина. Власов любил итальянцев. Тихонов предпочитает или романсы, или симфоджаз Рея Кониффа. Боксеры любят что-нибудь ритмичное — чистый джаз. А Веденину, напротив, подавай только мелодию. Кто меня удивил, так это штангист Батищев. Громадный мужчина, тяжеловес, а попросил, знаете что? Вертинского.

— А кто-то, наверное, и не любит музыку?

— Только один человек во всем спорте — биатлонист Ринат Сафин. Перед соревнованиями он так уходит в себя, замыкается, что даже музыка — а я всякую пробовал ставить ему музыку—лишь раздражает его, отвлекает. Он сердится даже на Тихонова, что тот в своей раздевалке поет во весь голос. Тишка — совсем другой человек. На старт идет, а все равно поет. Так он вел себя и в Лейк-Плэсиде, где недавно, второго марта, выиграл чемпионат мира.

— Признайтесь, Валентин Михайлович, вы никогда не завидовали тому же Тихонову, когда он поднимается на пьедестал почета? Ваша участь — быть всегда в раздевалке, всегда за кулисами...

— Я своею судьбою доволен — я всю жизнь в спорте. И знаете, на чем себя иногда ловлю? Рассказываю, допустим, о Веденине и говорю: «Мы бежали»... А я, честное слово, чувствую, что на ринг выхожу с ребятами и на лыжню... А однажды, кстати, меня вызвали и на пьедестал почета. Это было в шестьдесят втором году в Америке на легкоатлетическом матче СССР — США. Американский шестовик Рональд Моррис пошел на мировой рекорд, но не долетел до планки, поспешно сгруппировался и ударил себя коленом в надбровную дугу. Когда Моррис опустился на землю, я оказался рядом, подбежал к нему и быстро избавил его от гематомы. Положил вовремя холод. А когда стали награждать победителей, слышу — вдруг вызывают: «Доктор Соболев». Я говорю, что у нас в команде другой доктор, а я массажист. А меня все подталкивают: иди, иди на пьедестал. И я поднялся на пьедестал, и мне вручили такую же медаль, как и победителям матча.

— У вас есть ученики, Валентин Михайлович?

— Ученики есть, но пока нет времени, чтобы всерьез, не спеша передать им свои знания. Вот выйду на пенсию и надеюсь, что создадут ну, школу не школу, а хотя бы курсы, где я смогу учить ребят искусству спортивного массажа.

ОН ФОТОГРАФИРОВАЛ ЛЕНИНА

Старейший советский кинооператор Константин Андреевич Кузнецов начинал как фотограф и, более того, участвовал в создании фотографической Ленинианы. И Кузнецов, оказывается, еще не написал воспоминаний о том, как он снимал Владимира Ильича.

Я встретился с Константином Андреевичем Кузнецовым и записал с его слов этот рассказ.

— И отец мой, и брат, и дядя были осветителями в кино. Поэтому я часто бывал на съемках. Помню, фирма «Патэ» снимала какой-то фильм. Меня потрясли огромные декорации, расшитые золотом костюмы, царившая в студии суматошная обстановка. Это было в 1914 году. В тот же год, окончив гимназию, я стал работать в кино осветителем. А через несколько месяцев уже был помощником оператора Александра Левицкого. Встреча с тогда еще совсем молодым Александром Андреевичем Левицким — основоположником отечественной школы операторского искусства — стала решающей в моей судьбе. Левицкий и научил меня снимать фото- и кинокамерой, заряжать кассеты, проявлять и печатать.

Помимо работы с Левицким, я делал фоторекламу еще трем операторам. Мне тогда была дана большая деревянная фотокамера на треноге, тяжелая и громоздкая. Но я таскался с ней повсюду, не замечая тяжести. Снимал натуру, людей, портреты — все, что мне казалось важным и интересным. Потом за ночь печатал до ста фотографий. Частенько часов в девять вечера в лабораторию заезжал Александр Андреевич. Смотрел отпечатки. «Здесь,— скажет,— передержка, здесь недодержка».

Наступил семнадцатый год. Я по-прежнему работал помощником оператора и фотографом, только уже в кинокомитете при Наркомпросе. Революция не только не разъединила нас с Левицким, а, наоборот, еще больше сблизила, выявила наши общие взгляды.

Впервые я увидел Ленина во время военного парада на Ходынском поле. Правда, у меня не было задания снимать. Кинокомитет



располагал фотографами постарше и поопытнее меня. И действительно, наш фотограф Григорий Гольдштейн сделал тогда знаменитый снимок Ленина в открытой машине, который стал хрестоматийным. Я же лишь нещадно ругал себя, что в тот день не захватил с собой фотоаппарат.

Впрочем, вскоре мне довелось снова увидеть Владимира Ильича. Это уже было после его ранения. Рабочие и крестьяне очень волновались за здоровье Ленина, и было решено показать Владимира Ильича в кино. Задание на съемку вместе с другими операторами получил и Александр Андреевич Левицкий. Я по-прежнему оставался его помощником. И вот шестнадцатого октября 1918 года мы погрузили аппаратуру на извозчика и поехали в Кремль. От кинокомитета, который, как и сейчас, находился в Малом Гнездниковском переулке, до Кремля было близко. Вскоре наш тарантас уже громыхал по булыжной кремлевской мостовой. Остановились возле открытого автомобиля, стоявшего во дворе неподалеку от Царь-пушки. Установили кинокамеру и стали ждать. В глубине двора показались Ленин и Бонч-Бруевич, который что-то рассказывал Владимиру Ильичу. Они направились прямо к нам. Ленин показал на нас Владимиру Дмитриевичу, и они о чем-то оживленно заспорили. Потом подошли ближе и остановились метрах в десяти. Левицкий крутил ручку кинокамеры. Осенний день был солнечный, теплый. Бонч-Бруевич — в пальто и шляпе, Владимир Ильич — в костюме и кепке. Они говорили еще несколько минут. Ленин снова посмотрел в нашу сторону, улыбнулся, затем повернулся и медленно пошел к дому.

На следующий день я повез отснятую пленку на проявку в лабораторию. Кинокадры, сделанные тогда операторами кинокомитета, теперь можно видеть во многих документальных фильмах о Владимире Ильиче Ленине. Они вошли в золотой фонд советской Ленинианы.

Шло время. Я по-прежнему работал в кинокомитете фотографом. Появился у меня и свой собственный фотоаппарат — немецкая камера «Клап-Аншуц»: раздвижная, ручная, с шестью двойными кассетами. Заряжались они стеклянными фотопластинками. Аппарат был неплохой, хотя вскоре обнаружилось, что он дает засветку. На многих пластинках она была заметна. Но с аппаратурой было тяжело — я и этот-то аппарат купил с большим трудом в магазине на Тверской,— поэтому с дефектом пришлось мириться. Вот этим-то аппаратом я и снимал парад Всевобуча 25 мая 1919 года.

Красная площадь вся запружена народом. Гремит духовой оркестр. Выстроились курсанты. В руках у них винтовки с примкнутыми штыками, а одеты кто во что горазд. Ждали митинга. На нем должен был выступить Ленин. Посреди площади стояла грузовая машина с деревянным кузовом. На нее-то и поднялся Владимир Ильич. Он начал говорить, а я, зажатый толпой, с волнением думал, как бы мне удачнее сфотографировать Ильича. Идя на задание, я всегда получал в кинокомитете дюжину фотопластинок. Столько же было их у меня и сейчас. И каждая из них должна была стать снимком.

С трудом я пробился к импровизированной трибуне. Здесь киношники уже крутили фильм. Снимали режиссер Владимир Гардин и оператор Александр Левицкий. Их картина должна была называться «Девяносто шесть». Загадочное название расшифровывалось просто: девяносто шесть часов требовалось курсанту для прохождения военной подготовки во Всевобуче. Сразу же после учебы он направлялся на фронт, чтобы защищать молодую Советскую республику. Об этом и должна была рассказать кинолента.

Пока Ленин говорил, я делал снимок за снимком. Помогла операторская лесенка Левицкого. Взобравшись на нее, я с более удачной позиции снял Владимира Ильича на фоне здания, в котором ныне находится ГУМ. Потом, когда Ленин кончил говорить, стали выступать другие ораторы. Владимир Ильич отошел, сел на борт машины, слушал. Его лицо, поза, фон — все было очень фотогенично. Я поднял камеру над головой, примерился и щелкнул несколько раз. Когда проявил пластинки и сделал карточки, на снимке оказалась небольшая засветка. Особенности моей камеры давали себя знать. Но засветка была пустячной — снимок приняли. Этот снимок, несмотря на маленький технический дефект, я и считаю своим самым лучшим ленинским снимком.

В тот же день я сделал еще несколько снимков Владимира Ильича. Снял его возле Кремлевской стены. Здесь же стояли Надежда Константиновна Крупская, Мария Ильинична Ульянова и венгерский коммунист Тибор Самуэли. Я был на значительном расстоянии от них, и потому вся группа получилась в полный рост.

В последующие годы мне приходилось не раз снимать Владимира Ильича. Все снимки я сдавал в отдел хроники Всероссийского фотокиноотдела Наркомпроса, как тогда стал называться кинокомитет. Фотопластинки проявлялись, на них ставились специальные номера, а их содержание и фамилия автора заносились в книгу учета. Взамен я получал новую дюжину чистых пластинок. Куда шли наши снимки, где они публиковались, мы часто не знали. Знали только, что многие из них идут за границу, другие печатаются в отечественных газетах и журналах. Но различить их было не просто: в те годы фотографии воспроизводились нередко без подписи автора. Оттого-то историкам раньше, да и теперь очень трудно определить, кому какой снимок принадлежит. Особенно если учесть, что старые книги учета кинокомитета были, к сожалению, утеряны...

Да и сами снимки не все сохранились. Кто в этом виноват и как это случилось, не берусь сказать. Знаю только, что немало и моих кадров Владимира Ильича Ленина не обнаружилось. Их нет даже в архиве. А те немногие, которые сохранились, долгие годы оставались безымянными... Лишь совсем недавно сотрудникам Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС удалось установить имена ряда авторов ленинских фотографий. Так была названа и моя фамилия...

В 1923 году, работая в Госкино, я стал снимать художественные картины. Но с фотографией не порвал, одновременно работал фотокорреспондентом журнала «Красная нива» и «Известий».

22 января 1924 года вместе с ответственным секретарем газеты Виленским мы были на заседании Всероссийского съезда Советов в Большом театре. Я должен был снимать. Заседание долго не начиналось. В зале нарастало волнение: не случилось ли чего? Наконец на сцену вышел Михаил Иванович Калинин и в наступившей тишине глухим, упавшим голосом объявил, что умер Владимир Ильич Ленин.

Виленский сказал мне, сдерживая слезы:

— Едем в Горки.

Мы сели в аэросани и помчались по московским улицам. По пути заехали ко мне домой: взяли две лампы по 300 ватт и захватили моего брата — осветителя.

Всю дорогу молчали. Приехали в Горки часам к десяти-одиннадцати. В комнате Владимира Ильича находились только родные и пять-шесть человек из местных. Ленин

лежал на белой простыне на столе. Скульптор С. Д. Меркуров несколько минут назад сделал посмертную маску Ильича. Нам разрешили на короткое время включить лампы, и я стал снимать...

На следующее утро приехал кинооператор Эдуард Тиссе. Ему разрешили короткую съемку. Я воспользовался этим и сделал еще несколько кадров. Кто-то принес из леса лапник. Его положили на столе вокруг тела Владимира Ильича. В комнате запахло хвоей...

Тогда же в Горках я сфотографировал дом, где жил и умер Ленин. На ступеньках среди хорошо знакомых и незнакомых мне людей — С. М. Буденный и М. И. Калинин. Потом я шел с траурной процессией по аллее парка. В колонне было много местных крестьян, представителей от рабочих коллективов, приехавших из Москвы. Снимать было очень трудно. Стоял лютый мороз. По бокам аллен — снег двухметровой толщины. Чтобы снять панораму процессии, нужно было сойти с дорожки. Я полез в сугроб и тут же провалился почти по грудь. Кое-как устроился возле дерева, навел камеру. В объективе аппарата застыла процессия. Впереди — кучка людей несет венки, дальше — поднятая над головой крышка гроба, еще дальше — гроб с телом Ильича. Над процессией легкая дымка тумана от дыхания людей...

Вместе с траурным поездом я приехал в Москву. Здесь снимал похороны. Сохранились мои снимки, сделанные возле Колонного зала Дома союзов и на Красной площади. На запорошенном снегом деревянном помосте — гроб с телом Ленина. Вокруг, насколько хватает взгляд, люди, застывшие в тридцатиградусный мороз с непокрытыми головами... В те трагические незабываемые дни я сделал более пятидесяти снимков.

Так закончил свой рассказ лауреат Государственной и Ломоносовской премий, заслуженный деятель искусств РСФСР, кинооператор студии «Центрнаучфильм» Константин Андреевич Кузнецов. Почти всю жизнь он посвятил кино. Сотни фильмов сняты им: художественные, документальные, научно-популярные. Но те немногие стеклянные фотопластинки, на которых ему удалось запечатлеть ленинские черты, Кузнецов считает главным делом своей жизни.

Юрий БЕЛКИН

УМЕНИЕ СОБИРАТЬ ЧЕМОДАН



Пианино было соседское. Девочка стояла, придерживая лакированную крышку инструмента, не решаясь присесть на высокий крутящийся табурет, и слушала. Еще и еще раз ударяла по гладкой белой клавише. Оглядывалась на дверь — не идет ли кто. Пианино было соседское, а мама говорила, что чужие вещи без спросу трогать нельзя...

А если бы у соседей оказалось не пианино, а какой-нибудь другой инструмент? Или решили бы они купить, скажем, мотоцикл на эти деньги?

Да, странно, что твоя жизнь может оказаться в зависимости от таких вот мелочей: «если бы у соседей не оказалось пианино»... Просто смешно!

— Нет.— Люба Тимофеева категорична.— Только пианисткой я хотела и хочу быть. Всегда только играть на рояле.

Действительно, сейчас трудно представить, чтобы она занималась чем-то иным. Привычно читаешь ее имя на афишах, узнаешь о ее победах на конкурсах.

Любино детство прошло в Средней Азии, в Таджикистане. Из-за смуглости по-восточному тонкого лица Любу часто принимали за таджичку. Даже имя ее на таджикский перевели — Мухабад. Так она и откликалась на два имени... А потом соседи купили пианино. А потом Люба упросила родителей отвести ее к учительнице музыки...

Дальше — случайности. Одна за другой. Случайно поехав на летний отпуск в Москву, родители Любы опять-таки случайно узнали о некой музыкальной школе для одаренных детей. Решили, чем черт не шутит? Но, приведя дочку на экзамен, предусмотрительно купили назавтра билеты домой. На экзамене, забыв одну пьесу, Люба попыталась извиниться перед экзаменационной комиссией: мол, пьесу забы-

ла оттого, что на поезде долго ехала.

И снова неожиданность: Любу приняли в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Интерната для иногородних учащихся тогда еще при школе не было. Люба осталась жить у знакомой женщины, заботливо относившейся к ней. Но все равно было очень сиротливо в большом и чужом городе. Хотелось домой, туда, где называли ее Мухабад, а во дворе росла касторка с широкими зубчатыми листьями, похожими на кленовые...

Во втором классе Люба вдруг сразу выучила очень много вещей и дала в школе самостоятельный сольный концерт. Даже ее педагог Анна Даниловна Артоболевская была несколько удивлена: до этого девочка не то чтобы ленилась, но была какая-то вялая, очень скучала по дому.

А дальше все пошло уже гладко. Маленькую ученицу ЦМШ стала приглашать для участия в своих концертах Н. И. Сац — создательница знаменитой детской филармонии. Люба выступала вместе со зрелыми мастерами: например, с Д. Б. Кабалевским и его концертах-лекциях для детей.

— Дмитрий Борисович умел обращаться с нами, как со взрослыми,— вспоминает Люба.— Советовался, спрашивал наше мнение — всерьез, заинтересованно. И никогда не было в нем никакого притворства. Конечно, это особый талант — уметь быть вот таким с детьми... Никакого смущения, страха мы рядом с ним не чувствовали. И вовсе не оттого, что не понимали, кто он, недооценивали. Нет, прекрасно понимали. Но он такой добрый, редкостный человек, что нет не только барьера его необыкновенности — даже барьера «взрослости» нет. Потому так и любят, так слушают его дети.

В девять лет Люба исполнила в Горьком Концерт Гайдна ре мажор с оркестром под управлением Н. Рахлина. Это была ее первая гастрольная поездка.

Гастроли... Сейчас Любе двадцать один год, пройдена школа, скоро будет окончена консерватория — она занимается в классе у профессора Я. И. Зака. Но все эти годы привычная жизнь школьницы, студентки прерывалась концертными поездками.

Люба говорит:

— Я научилась за пять минут собирать чемодан...

Она умеет управлять собой и своим временем. Очень быстро разучивает новые вещи, объем ее концертных программ велик.

Уезжая в поездку, научись быстро собрать чемодан... А что такое жизнь гастролера, знаете? Суматоха, вокзалы, аэропорты, возня с багажом, с билетами. А потом, на эстраде, извольте быть выше всех этих суетных дел, забудьте обо всем, приобщайтесь сами, приобщайте других к Великому, Прекрасному, Вечному.

Иной раз кажется — интересная у артистов жизнь: ездят повсюду, смотрят. А сколько времени остается гастролеру, чтобы успеть увидеть людей, дома, улицы города, где ему предстоит дать концерт? Просто крохи. Бывает, приедешь утром — репетиция, прилаживаешься к инструменту, к акустике. Вечером — концерт, и сразу на вокзал, и другой город. Перед концертом, естественно, следует отдохнуть, набраться сил — что и когда успеть? Так вот, Люба Тимофеева успевает. Пойти в музей, и не пробежать, а впитать в себя увиденное. Посидеть на лавочке двадцать минут и приглядеться к прохожим, к ритму, стилю города — когда еще в него попадешь?

— Мне трудно бывает записываться на радио, на пластинки,— говорит Люба.— Нет сцены, нет публики, и все получается по-другому, не так. Иной раз специально прошу кого-нибудь посидеть, послушать—настройщика, оператора. Без слушателей у меня будто что-то внутри замыкается, глухо играю, как автомат.

Да, конечно, хоть и властвует артист над публикой, а сам тоже в большой зависимости от зала. И не только по аплодисментам узнает артист, как принимают, слушают его, но и по тем тончайшим, чуть ли не гипнотическим связям, которые устанавливаются между ним и залом — как ток, как линия высочайшего напряжения.

— Для меня, как, кстати, и для многих наших исполнителей,— говорит Люба,— труднее всего играть дома, в Москве. Здесь знают, что ты есть и что от тебя можно ждать, требовать. Следят за твоим развитием, ростом и срывов не прощают. Получается как с родственниками: своих не проведешь. И потом московская публика уж действительно слышала всех и вся. Трудно ее удивить чем-то. На гастролях чувствуешь себя свободней, раскрепощенней. Особенно это заметно бывает, когда за рубежом играешь русских, советских авторов. Кое-какие грехи тебе могут простить за счет интереса, новизны исполняемого. А дома... Правда, сейчас многие наши отечественные композиторы стали как бы интернациональными. Знатоков их можно встретить где угодно, за океаном, на других континентах. Ведь как вышло с Шопеном? В последние годы на шопеновских конкурсах первые премии получают латиноамериканцы, японцы, а, казалось бы, такая чисто славянская музыка... Но, мне кажется, есть композиторы, настоящее понимание которых приходит по крови, каким-то внутренним родством. Вот наш Чайковский, особенно фортепьянное его творчество. Хотя,— Люба улыбается,— известны и исключения... В общем, трудно об этом что-то категоричное говорить. Я раньше очень много западной музыки играла. А теперь все больше хочется нашу русскую. Вот Рахманинова...

А гастроли...

— Плохо, что в поездках приходится мало заниматься,— говорит Люба.— Ломается рабочий график, не успеваешь сделать намеченное. Ну уж дома наверстываю. Сколько обычно занимаюсь? Да весь день. Сколько есть времени, столько и сижу за роялем. Жалко только, что мало его, этого времени...

И все же, как ни мало его, времени, Люба Тимофеева научилась управлять им. Щедрость и экономность, жадность и сознательное ограничение — только так и можно побеждать.

Люба получает призы на конкурсах в Праге, Монреале, Париже, выступает на многих эстрадах мира, в городах нашей страны.

И еще, когда Любу просят где-то выступить, она всегда соглашается: играет в клубах, во дворцах культуры, в музеях, на комсомольских вечерах. Недавно Люба стала лауреатом премии московского комсомола. Можно только позавидовать тому, как ей удается все это успеть. Но Люба знает секрет, как сберечь время. Она умеет «за пять минут собирать чемодан».

Надежда КОЖЕВНИКОВА

Первая попытка



«Я знаю, что первые рассказы печатаются в одном случае из ста», — пишет мне одна московская школьница. Неправда! Молодые авторы присылают нам столько рукописей, что если бы мы печатали каждое сотое произведение, для остальных материалов в «Юности» просто не хватило бы места. В то же время надо — ох, как надо! — шире печатать первые опыты наших читателей, знакомиться, так сказать, с плодами их самодеятельности... В этих плодах, быть может, еще нет литературного блеска, но зато есть другие ценные качества: непосредственность, искренность, точное знание среды. Да и как этим авторам не знать среду, когда они эта самая среда и есть.

Поэтому я подумала: не попробовать ли этим авторам свои литературные силы на страницах «Зеленого портфеля», а? Предоставим-ка им возможность сделать первую попытку. Как в спорте. Пусть «прыгнут» на сколько могут. Ведь и чемпионы по прыжкам в высоту, бывает, при первой попытке сшибают планку. А уж начинающим сам бог велел... Но прыгнут они раз, другой, третий, набьют бока, падая с высоты, и, глядишь, — разбегутся посильнее, оттолкнутся порезче — и... «Вот это прыжок!» — скажем мы тогда. А пока — первая попытка. Сегодня к планке вызываются школьники.

Галка Галкина

Дорогая редакция журнала «Юность»!

Как-то я сидела и пересматривала номера «Юности». Я очень люблю читать рассказы под рубрикой «Зеленый портфель». И я подумала: а что, если и мне попытаться написать рассказ (ведь печатаются же под этой рубрикой рассказы, написанные школьниками). У меня в голове все время как-то сочиняются сами сотни рассказов, а на бумаге этот будет первым.



Ученица 9-го класса
17-й средней школы
г. Смоленска
Анна ГЛАЗЫРИНА.

ТАК НАЧИНАЮТСЯ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

С самого начала своей школьной жизни, то есть с первого класса, они сидели вместе на одной парте. Витька учился хуже Ляли. Сначала, пока он был еще довольно-таки маленьким, не обогащенным школьными хитростями мальчишек, он не делал никаких выводов из этого. Только иногда переживал, что вот у Ляльки опять «пять», а у него шли «три» или, еще того хуже, «два».

После каждой полученной им двойки Витькина бабушка лежала с мокрым полотенцем на голове и жалобно стонала, а в комнате пахло различными лекарствами. Мама, оставив все домашние дела, сидела с ним вместе над уроками. Но Витька не желал думать над своими задачками и примерами и, глядя в книжку, начинал считать, сколько на каждой странице его любимых букв «о», которые легче всего поддавались его руке и напоминали ему вкусные бублики. Мама наконец выходила из себя и говорила, что это не ребенок, а какой-то истукан. Она вставала и уходила в другую комнату пить бабушкины капли. Тогда за Витьку принимался папа.

В школе Витька слушал учительницу сначала только потому, что ему было интересно, как это один человек мог столько говорить и не просто говорить, а говорить то, что Витьке еще было неизвестно. Но потом ему это надоело, и он стал заниматься посторонними делами. На глаза ему попалась его соседка Ляля. У Ляли был на голове огромный бант, и Витьке пришло в голову, что если его соседку, то есть Лялю, сбросить с пятого этажа, то она наверняка полетит птицей. Но



потом ему стало ее немножко жалко: а вдруг она зацепится за дерево и будет висеть там, как груша, всю свою жизнь?

Во 2-м, 3-м и 4-м классах его почему-то опять сажали вместе с Лялькой. Витька, уже умудренный школьным опытом, понял, что нельзя же получать все время двойки, когда рядом с тобой сидит отличница. И он стал списывать у нее. Правда, двойки по-прежнему были, но меньше. Теперь уже и бабушка реже лежала с мокрым полотенцем на голове, и мама почти не пила бабушкины капли.

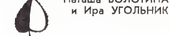
В 5-м классе Витька разболтался. Он проводил свои так называемые научные эксперименты. Он выяснял, насколько крепки у Ляли косички, достаточно ли она вынослива, чтобы сидеть на кнопках Лялька, также набравшись школьного опыта, стала ужасно вредничать в ответ на его каверзы и иногда доходила до того, что Витька не мог больше терпеть такого издевательства над своей личностью, подстерегал ее после школы и уже без всяких экспериментов просто бил. Но бил слегка, только для того, чтобы впредь не вредничала и давала списывать.

Но каждый год 1 сентября они, несмотря на уже установившуюся между ними вражду, шли все к той же парте, которую они отличали по только им известным приметам, и пытались согнать один другого с этой парты. Но старания их были напрасны, и в конце концов, не желая уступать друг другу, они садились вместе.

А может быть, им только так казалось, что парта все та же и каждый из них имеет право сидеть на ней? А может быть, дело совсем не в этом?..

Здравствуй, милая Галиа Галинна!
Сегодня мы подготовнлн первое «произведение» для стенгазеты. Прочитали — понравилось. Прочиталн еще раз — понравилось еще больше. Посмотрели, подумали н решилн послать это в «Юность». Авось, Галиа Галннна оценнт, чего стонт это «творение». На многое ие иадеемся, ио...

Наташа БОЛОТИНА
и Ира УГОЛЬНИК



г. Гомель.

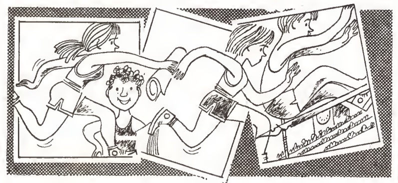
ЧУДЕСНАЯ ПОРА

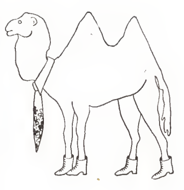
Девятый класс. Клеши и «гаврош», сережки и цветные рубашки а-ля «не гладь меня, мама, горячим утюгом», на голове—завивка, в голове—вакуум... На уроке — «темное царство», на перемене — «шумел наш класс, и стены гнулись»... Гена едет на Вове, Вова — на Саше, Саша наезжает на парту и... Когда из-под нее вылезает Сережа, парта уже не та, что была прежде... Да-а...

Идешь из школы — голова трещит, под ложечкой сосет, ноги подкашиваются: шесть уроков, седьмой — факультатив... Приходишь домой, открываешь дневник: «Что день грядущий мне готовит?» Химия — дебри, физика — темный лес, физкультура — «луч света в темном царстве». Сидишь, зубришь. Выучил — ты царь, ты бог, ты властелин. Не выучил — пеняй на себя.

Смотришь — отец пришел с работы, газету читает. «Эх, папа,— думаешь,— мне бы твои заботы!»

А еще говорят, что молодость— чудесная пора!





МИХАИЛ ВЛАДИМОВ



Рисунок И. САВИНОВОЙ

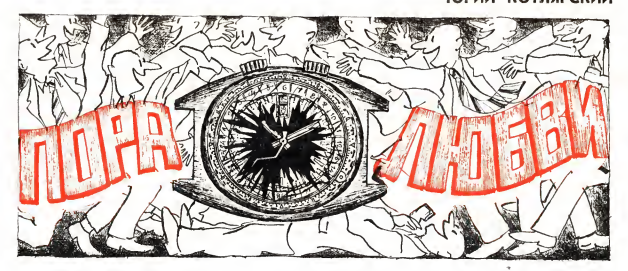
КЕМ БЫТЬ!

Я сижу за оконной рамой,
мне не хочется
шевелиться...
Родила меня —
просто мама,
а могла бы родить —
птица.

(Глеб ГОРБОВСКИЙ.
Из книги «Тишина»)

Родила бы меня сорока,
Из хвоста бы я
Дергал перья.
И стихи выдавал до срока
Заковыристей,
Чем теперь я!
Родила бы меня
Кукушка,
Куковать бы пришлось
Не слишком:
Чтоб издательствам
Не было скучно,
Всем подбрасывал бы
Книжки.
А еще шевельну мозгами,
Представляю себя
Буренкой,
Натуральной, с двумя рогами,
Утконосом,
Газелью тонкой.
Быть я мог бы и просто ламой
Или ламом (мужского пола!),
А могла бы моей мамой
Быть верблюдица —
Факт веселый!
Был тогда б я
не Глеб Горбовский,
Был бы просто я
Горб Глебовский!

ЮРИЙ КОТЛЯРСКИЙ



Наденька, так вы меня любите? — спросил я, трепеща.

— Люблю, конечно, люблю,— ответила Надя.

Я вскочил и принялся бешено танцевать нечто среднее между «Яблочком» и «Танцем с саблями». Потом от прилива внезапного счастья я подпрыгнул до потолка, ухватился за люстру и стал раскачиваться на ней. Крюк, на котором висела люстра, обломился, и я вместе с кучей стекляшек рухнул на пол.

— Ой! — воскликнула Надя.— Бабушкина люстра!

Но я уже не слышал ее. Выскочил счастливый и разгоряченный на лестничную клетку и с разбегу налетел на уборщицу с ведром в руках. Вода разлилась по полу, уборщица чуть не упала с лестницы. «Ты что, ослеп?» — крикнула она, но я пронесся мимо нее, как на крыльях. Грубая женщина. Подумаешь, лужа!.. Знала бы она, что меня любит Наденька!

Во дворе мальчишки строили замок из песка. Переполненный радостью, я вскочил прямо на крышу дворца, превратив его снова в груду песка. «Дяденька, дяденька, что вы делаете?» — зачирикали мальчишки. Я даже не повернул головы. Глупые дети, что значит их замок на песке по сравнению с любовью моей Наденьки!

Любит!.. Любит!.. Я летел вперед, как стрела. На автобусной остановке мне под ноги попалась кошелка, набитая овощами. Я с ходу пнул ее ногой, и по асфальту весело заскакали зеленые огурцы, желтые яблоки и красные помидоры. «Бандит!..» — раздалось мне вслед. Но я не удостоил хозяйку кошелки даже взгляда. Все мои мысли были о Наденьке и о ее любви.

Задыхаясь от восторга, я стремительно летел в сторону березовой рощи. Под желтеющими осенними деревьями на длинной скамейке сидели несколько пенсионеров. Я пробежался по их ногам, как по клавиатуре рояля. Та-та-та-та-та-тинь-тинь! «Держи хулигана!». Скучный народ эти пенсионеры. Знали бы они, как меня любит Наденька!

Я влетел в рощу и, хмелея от бега и восторга, бросился на зеленую поляну! Распластался на душистой траве. Ах, какое это счастье любить и быть любимым! Какое счастье!..

Вдруг я почувствовал, что по мне пробежал некто в ботинках с железными косячками, раздавив на моей руке часы. Я мгновенно вскочил и тут же полетел в пруд, сшибленный еще кем-то, проносившимся мимо. Только я выбрался из воды, как меня на мгновение оседлал здоровенный детина и, спрыгнув, побежал дальше. Я было припустил за ним, но чьи-то пальцы стиснули мой нос так, что из глаз брызнули слезы. Вырвавшись, я схватил с земли огромный сук: «Ну, я сейчас покажу этим кретинам!..»

Но что я один мог сделать! Вокруг меня обезумевшие от счастья скакали стада румяных молодых людей, выкрикивая разные женские имена и на разные голоса повторяя: «Любит!.. Любит!..» Оказывается, я был не одинок... Любили и других тоже...

С таким камнем за пазухой — и не тонет!

Берегите мух! Из них можно сделать слонов!

До каких пор истина будет говорить устами младенца?



ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Сдаю койку. Тел. 32-60. Спросить Прокруста».

«Куплю паром. Тел. 75-48. Спросить Харона».

«Откладывай на завтра, что можешь сегодня!» — плакат в сберкассе.

Владимир КОЛЕЧИЦКИЙ

«Не хочу быть домработницей у мужа!» — сказала она и пошла в домработницы к соседям.

Вал. ДЕВЯТЫЙ

Одних неуспевающих отчисляли из института, другим делали исключение.

В. ЗАВАДСКИЙ

В НОМЕРЕ

На 1—4-й стр. обложки рисунок Виктора ЩАПОВА.

Адрес редакции:
101524, ГСП.
Москва, К-6.
Улица Горького, № 32/1.
Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 1/II—1973 г. А 08058.
Подп. к печ. 15/III—1973 г.
Формат 84×108 1/16.
Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 100 000 экз.
Изд. № 705. Заказ № 160.
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.



В. ПЕТРОВ-МАСЛАКОВ. Цветущий рододендрон.


Цена 40 коп.
Индекс
71120